

С М О Д Н 50 96



Тот, кто поймал Чикатило
взя Чайковская

Фрэнк Феллиппа
Похоронный марш марионеток



(Читайте стр. 26)

5'96

СМЕНА

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ**
Основан в январе 1924 года.

Главный редактор
МИХАИЛ КИЗИЛОВ

Редколлегия:

ВАЛЕНТИНА БОЧАРОВА
ВАЛЕРИЙ ГУРИНОВИЧ

зам. главного редактора
БОРИС ДАНЮШЕВСКИЙ
НИКОЛАЙ ЛЕВИЧЕВ

зам. главного редактора
СЕРГЕЙ ПОПОВ
МИХАИЛ ТЕЛИЧКИН

главный художник
ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВ
ТАМАРА ЧИЧИНА

Оформление
ВАЛЕНТИНА ДАВИДОВА
*Художественно-
технический редактор*
АЛЕКСАНДРА ГУСЕВА

Сдано в набор 27.02.96.
Подписано к печати 17.04.96.

Формат 84 × 108¹/₂.

Бумага «Офсетная».

Печать офсетная.

Усл. п. л. 15,54.

Усл. кр.-отт. 17,64.

Уч.-изд. л. 23,10.

Тираж 79 620 экз.

Заказ № 212.

Цена свободная.

101457, ГСП, Москва.

Бумажный проезд, 14.

212-15-07 — для справок.

250-29-39 — отдел реализации.

250-49-98 — отдел рекламы.

Факс (095) 250-59-28.

Журнал зарегистрирован
в Министерстве печати
и массовой информации
Российской Федерации.
Reg. № 166.

Учредитель — коллектив
редакции журнала «Смена».
Рукописи, фото и рисунки
не возвращаются.

Типография издательства
«Пресса», 125865, ГСП, Москва,
А-137, ул. «Правды», 24.

В случае полиграфического брака
обращаться в издательство «Пресса»;
257-28-30, 257-41-03.

5 (1579) МАЙ

© «Смена», 1996.

4 ПРОЗА

*Владимир Соколов***ПРОДАЕТСЯ ПОЛДОМА** *Рассказ*

158

*Фрэнк де Фелитта***ПОХОРОННЫЙ МАРШ МАРИОНЕТОК** *Детектив*

22 ПОЭЗИЯ

Валерий Краско, Валерия Кудрявцева, Александр Дорин

154

КОНКУРС ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

18 ВРЕМЯ И МЫ

*Николай Гончар***ЧАША ВЕСОВ**

26

*Валерий Майоров***ОРАНЖЕВОЕ ДЕРЕВО**

36

*Ольга Чайковская***ТОТ, КТО ПОЙМАЛ ЧИКАТИЛО**

108

*Ян Мишкулис***ЛЮБОВЬ И ВЗДОХИ**

98 ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

МЕТАФОРЫ БЫТИЯ*Фотовернисаж Валерия Плотникова*

114

Владимир Мотыль: «СУДЬБА ДАВАЛА МНЕ ШАНС»

120

Алексей Владимиров

ФРАНС ХАЛС

134

Василий Филатов

ФРЕЙЛИНА

148

Вера Кошелева

БЕДОВАЯ ДЕВЧОНКА

285

Лиля Байрамова

ЕЛЕНА МАЛИКОВА

■
На 1-й обложке: певица Алена Апина.
(Читайте стр. 148)

Сергей Высоцкий

А ВОРЫ НОСЯТ ФРАК... *В новом остросюжетном романе Сергея Высоцкого лейтмотивом звучит тема борьбы с наркобизнесом. «Капли датского короля» — сильный синтетический наркотик, полученный в ходе экспериментов сотрудником московского НИИ. Когда в ходе следствия милиция заинтересовалась автором «капель», он исчез, а нити преступления потянулись в Чехию, где на знаменитом курорте Карловы Вары отдыхал главный герой романа Владимир Фризе — бывший следователь прокуратуры, работающий в частном сыскном агентстве...*

Юрий Дружников

ВОСПОМИНАНИЯ О ЦЕНЗУРЕ *Заметки писателя о фантазмагориях недавнего прошлого, многие из абсурдных черт которого так быстро забыты нами...*

АНОНС

6906



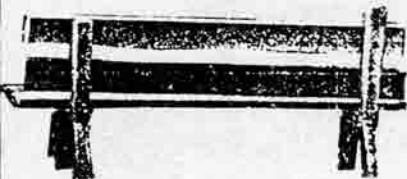
Сделалось тихо. Это липы перестали возить по крыше грузными от утренней грозы ветвями и замерли. Старик прислушался. В мезонине капало в таз, а других звуков не было в сгущавшейся тишине, от которой начинало ломить виски.

И поставил обратно в угол сених косу — опять не получится подкосить прутья по двору лопухи. Стащил резиновые сапоги и в одних носках, на пятках протертых, вернулся в залу.

Блеклый угол неба в окне заливало черничною тьмой. Что за лето дал Бог, грозы катят одна за одной... В несколько приемов он лег на диван, прижался щекой к ледяной коже спинки, сунул под язык дробину нитроглицерина; косясь на чернеющее окно, думал, что нет, никак не поспеть

уснуть. Во сне гроза переносилась легче. Но и жаль было бы пропускать ее, событие жизни, как ни крути, все стремительнее несущейся мимо... вроде поезда, с которого сошел с вещами, — прежде чем всему оборваться окончательной тишиной.

Окно и вовсе смеркло. Кроны над крышей охнули, лохматая ветвь припала к стеклу, словно просила укрытия. Туча с грохотом лопнула прямо над домом, облив его мокрыми молниями, и хлестнули по стеклам скрученные жгуты воды, влекущие обрывки листьев, и раз за разом озарялись стекла белым вздрагивающим страшным огнем, и вдруг над потолком, буквально в мезонине, разразился рев, от которого старик прикрыл глаза. Вся мощь небесного жерла направлялась в него одного, ибо не было в доме другой живой души. Гром рвался, лопался и перекатывался, ветер



ВЛАДИМИР СОКОЛОВ

Проддется ПОДДОМ

тряс стены, с необъяснимой злобой стараясь раскатать их по бревну, и старик напрягался, помогая своему жилью перестоять еще одну бурю, и дом кряхтел тоже, и они не поддавались...

Гроза еще ворчала в направлении платформы, глушила посвист улетающей электрички, а уж солнце во всю силу окатывало мокрый дом и старика на его крыльце, полня двор лиловой испариной. С лип срывались цветные искры и гулко стучали по лопухам, на которых дрожали ртутные озера. И водостоки на углах урчали, вышвыривая из переполненных бочек ряску и говастиков.

Старик спустился с крыльца и обошел свой дом. Стекла в мезонине польхали так, что за их раскаленным сиянием можно было представить что угодно. Накрахмаленный тюль, например (и он там, безусловно, имелся), либо в раздвинутых занавесках темные волосы, голые плечи, улыбки — все женщины дома любили влажный послегрозово́й озон — но вот этого быть уж никак не могло. И не было, конечно.

Сад тоже помнил времена, когда просторный дом с восемью комнатами, включая три наверху, был исполнен жизни. Сад тоже выглядел тогда иначе — и яблони плодоносили, и черемуха светила по ночам. А липы, что теперь нависают над домом, когда-то были все разного роста, ибо высаживались после и в честь рождения очередного чада. Счет начал дед, построивший этот дом, продолжали сыновья с зятьями — где все они? А липы вот до единой стоят, и дом им теперь одинаково по пояс.

Старик шагнул с тропинки в сторону, потрогал ствол своей ровесницы, теплый от напряжения недавней борьбы. Держится. Ну и он обязан, стало быть, еще поскрипеть.

Завершив круг, он поднялся на крыльцо, и тут дверь сама отворилась навстречу. А из сеней выступил незнакомый господин лет сорока, аккуратненький, кругленький, в жмущих очках. С зонта в одной его руке еще текло, пластиковая сумка в другой завершала впечатление безвредности гостя, и все же старик от неожиданности отступил.

— А я в помещение заглянул, извините, — певуче сказал господин. — Звонил-звонил, а дверь и незаперта. Бурла-акин!

Он протянул сливочную ладошку, и старику пришлось опять подняться на крыльцо, чтобы пожать ее.

— На станцию ходим, и то не запираем. У нас пока не шалят. А я Викентий Павлович. Прошу в дом, тем более что заглянули...

— Ах, воздух у вас! — пропел Бурлакин и зажмурился, и носом потянул, попискивая. — Сплошь ионы и фитонциды! Живут же люди, сами счастья своего не понимают!

— Гроза была, отсюда и воздух.

— Грозу я заметил! — сообщил Бурлакин. — Это ж какая энергия в атмосфере, а?

— Не то слово, — поежился старик и первым шагнул в темные сени.

В зале гость огляделся с неподдельным интересом. Все здесь было старое или очень старое: буфет с витыми колонками и гранеными стеклами в дверцах, темный, в трещинах, пейзаж над диваном, обитым еще настоящей кожей, стол на львиных лапах и

грузные стулья вокруг, вытертый персидский ковер на полу, который можно обменять на десяток нынешних, машинных. Однако никакая из вещей не выглядела ветхой. Все могло прослужить еще десятилетия — за исключением, конечно, телевизора в углу, конвейерного выродка.

— Я по объявлению, — сказал Бурлакин, легонечко толкая качалку красного дерева.

— Это я понял, — отозвался старик. Он по очереди открывал дверцы буфета. — Яйца. Тут тоже яйца. Придется яишенкой вас накормить.

— Что, у меня такой голодный вид? Или вы всех кормите, кто по объявлению?

— К нам пока из Москвы доберешься, человек и голодный. Вы ведь из Москвы?

— А, так у меня московский вид?

— Бог вас знает, какой у вас вид. Может, питерский. У провинциалов денег нету, чтобы дома покупать. Вы первый по объявлению.

— Ат-т-лично. Терпеть не могу конкурентов.

— У вас в пакете не помидоры случайно? На станции овощи дешевые, многие сойдут с электрички и сразу берут.

— Я на машине, кормилец вы мой. Но около станции был, машину там же и оставил, на площади.

— Не повредят хулиганы-то?

— Близо не подойдут. Ландшафты ваши не с колес, ландшафты пешочком разглядывать нужно. Золотое у вас местечко. А тут гроза!

— Значит, не помидоры. А то бы салату нарезали.

— Нет-нет, как раз с салатом порядок. Как вы к крабовому относитесь?

Бурлакин поставил на стол свой яркий пакет и начал выгружать из него, близоруко щурясь: консервные банки и баночки, горящие сквозь пластик пласты красной рыбы, пистолет в песочной кобуре, квадратную бутылку виски, корзиночку с неизвестными фруктами, гроздь бананов, несколько запаянных в пленку пачек долларов, полдюжины здоровенных, как ядра, яблок, палку багровой колбасы и уж с самого дна — батон, тоже в пленке и уже аккуратно нарезанный. Пистолет и деньги он сунул затем обратно в пакет и на диван швырнул, словно старые тапочки.

— А вы, — сказал старик, — по всем объявлениям с таким комплектом ездите?

— Такая работа, — сердечно улыбнулся Бурлакин. — Нынче всякий норовит у бедняка отнять копейку. Я ведь к вам с задатком — а береженого Бог бережет.

— А вдруг не договоримся?

— Исключено! — бодро сказал Бурлакин. — Клиент свой выбор сделал.

Покончив с едой, оба некоторое время отдувались и будто даже припоминали, что за дело свело их за этим столом. Виски в бутылке заметно убавилось, причем гость от хозяина не отставал, несмотря на машину, ждущую на площади. Возможно, в машине

его ждал водитель. Ввиду пакета, валявшегося на диване, в этом не было ничего удивительного.

— Ах да, — спохватился Бурлакин, — насчет объявления...

— Пора бы, — сказал старик.

— И я говорю — пора бы дом посмотреть.

— Полдома. В объявлении сказано было — полдома.

— Не будем буквоедами. Если мне понравится половина, куплю и другую.

— Не получится. Продаже подлежит полдома.

— Увы, — вздохнул Бурлакин. — В этой жизни, уверяю вас, продаже подлежит практически все, на что находится покупатель. Ведите меня, Вергилий Павлович.

Из залы в недра дома шел короткий коридор, по две двери с каждой стороны, все заперты — Бурлакин на ходу проверил. Обои в пятнах зимней сырости пучились и шуршали. Бурлакин тыкал пальчиком в пузыри, качал головой. Коридор заканчивался лестницей, охряные ступени которой были осыпаны чистыми каплями. Лестница оказалась страшно скрипуча.

— Страшно одному бывает, а?

Старик, поднимаясь впереди, вроде не слышал, а может, и в самом деле не слышал его. Ступени визжали, как свиньи.

— Продается эта вот, верхняя половина, — сообщил он. — Мезонин!

— Почему бы не назвать ее второй этаж? Дороже б можно взять!

— Что есть, то и продаю!

Лестница кончилась светлым вытянутым узким коридорчиком, освещаемым окном в торце и остекленными по пояс дверями. На площадке стоял переполненный таз, вода в нем вздрагивала, булькала, выбрызгивалась стрелочками света. Слева дверь, справа дверь, прямо дверь, по матовым стеклам движутся тени — вот кто-то изнутри подходит, берется за ручку, но не открывает, отплывает снова, и не сразу понимаешь, что это просто в окнах комнат качаются ветви.

— А впрочем, мезонин звучит вкуснее, — заключил Бурлакин.

Позвонев связкою ключей, старик отпер первую комнату слева. Она оказалась не очень просторна, но от этого глядела как-то по-особому, по-стародавнему уютно. Комод с трельяжем (зеркала окаймлены шлифовкой, этак луночками!), никелированные вензеля кровати, покрывало на ней и подушки с подзорами рিশелье, этажерка с книгами в одном углу, приемник «Ригонда» на жидких ножках в другом — Бурлакин хмыкнул от удовольствия. Незатейливый комфорт шестидесятых, еще в почете фронтовики, целинники и космонавты, но уже катится с Запада тлетворная пена вещизма, в головах бродит сусло из морального кодекса строителей коммунизма, доклада Хрущева, «Ивана Денисовича», а главные споры еще о физиках и лириках... очень, очень занятное помещение.

— Кто в этой комнате жил? — спросил Бурлакин.

— Мой сын. С невесткой.

— Где они сейчас?

— В Америке, где нынче место русским докторам наук...

— А что в поселке делать доктору наук?

— Господь с вами, в поселке... В Москве лет двадцать людей оперировал. Теперь оперирует в Бостоне — неплохо получается, пишет, процент излечения много выше.

— Давайте следующую посмотрим,— сочувственно сказал Бурлакин.

Комната справа была просторнее, в два окна. Здесь когда-то жили внуки, целых трое сыновей его сына — Боже ж ты мой, да было ли это?

— О, какая приличная площадь! — заметил Бурлакин. — Слушайте, а ведь хорошая была бы дача для ваших детей.

— В штате Мэн у них дача,— сказал старик. — Называется ранчо.

И они осмотрели третью комнату, где воспитались в ушедшие времена и откуда поочередно уехали племянницы Викентия Павловича — Верочка за военного вертолетчика замуж, и уже вдова, Надюша на заработки в Турцию, и уже без возврата, оставив по себе прелестный девичий раскардаш — халатики на спинках стульев, засохшие букеты, на стенах россыпь карточек и календарей, занавески раздернуты на стороны... И чем более доволен был увиденным Бурлакин, тем больше он хмурил замшевый лобик и ковырял носком ботинка щели в полу.

Когда же они спустились в нижний этаж, Бурлакин придержал старика за локоть.

— Ну уж и эти комнаты посмотрим, Викентий Павлович!

— А смысл?

— Для общего представления!

Старик поколебался, но ключи все же вынул.

— Да как вы сможете себе представить... Мой отец за этой дверью прожил всю свою жизнь. Здесь родился, отсюда через восемьдесят четыре года и вынесли. Вот как раньше люди умели жить.

Первая дверь направо открыла им большую, затемненную шторами и от этого почти пустую комнату. Хотя на следующий взгляд различалась скромная меблировка — две одинаково заправленные бедные железные кровати, комод с фаянсовым толстым кувшином, в углу отсвечивает в тусклых окладах лампадная горошина, да у стены вытянулись гренадерского роста часы: темное дерево, фарфоровый циферблат, во чреве за стеклом лоснятся гири и неподвижный маятник.

— О, тут у вас интересная штука, антик... — забормотал Бурлакин. — А часики вы зря остановили. Часики должны ходить — для лучшей сохранности.

— Отходились. Это матушки моей еще приданое, я их сам остановил, как она скончалась. В полном разуме — на девяносто седьмом году.

— Прекрасно,— невнимательно сказал Бурлакин,— просто замечательно! — Он уже был в комнате и колупал икону, которую снял с гвоздя. — Н-да, девятнадцатый век, не раньше. Можно сказать, новодел. Зато вот для часов девятнадцатый век — уже кое-что. Специалистам не показывали? Если эти ходики в приличном состоянии... — Бурлакин подергал запертую дверцу и

даже попробовал отодвинуть тяжелый корпус от стены.

— Оставьте часы в покое, — сказал старик. — Пойдемте, я закрываю комнату.

— Да ради Бога, — ответил Бурлакин, утирая внезапно взмокший лоб. — Ну, Павел, ну, Буре — дореволюционный ширпотреб, если хотите знать, массовое производство...

Дверь за ним старик запер на два оборота ключа. Но Бурлакин уже дергал ручку следующей.

— А здесь что было?

— Это вам неинтересно. Дочка моя здесь жила.

— Раз уж начали смотреть, Викентий Палыч! Ничего не буду трогать, честное благородное слово!

За этой дверью комната выглядела жилой, была прилично оставлена, в бликах полировки витал лимонный дух мастики, запахи духов, косметики, вообще молодой свежей женщины.

— А кто сейчас тут живет?

— Уж восемь лет никто. — Старик и сам с недоверием осматривал комнату, словно кто-то мог взять да и выйти из блестящего шкафа. — Но скоро она придет.

— Что значит скоро? Завтра? Через год?

— Большое дело у нее, просто так не бросишь...

— Поет, танцует? Может, шоу-бизнес?

— С чего вы решили?

— Афиши!

Но на самом деле афиш по стенам для такого умозаключения было маловато — две всего. И обе были не афиши, строго говоря, а предвыборные плакаты с толстомордым любимцем интеллигенции. Однако же клубящиеся вокруг него представители электората — в том числе длинноногие девицы и крутоплечие бизнесмены с радиотелефонами — действительно словно бы пели и отплясывали в предвкушении райского рыночного завтра.

— Афиши, скажете... Это, гм, большая политика.

— А я что говорю? Шоу-бизнес! И что, ваша девочка в депутаты выбилась, не дай Бог?

— Может, и выбьется. В переводчицах она у этого, лидера... Весь мир уже объездила с ним.

— Весь мир, кроме отчего дома?

— Да нет, два раза погостила. По целому дню.

— Ну, это хорошо. Не забывают вас дети — пишут, гостят...

Посмотрев на Бурлакина подозрительно — издевается? — старик плечом оттеснил его с порога и запер дверь. Но тот незамедлительно начал дергать следующую и последнюю ручку.

— Здесь такая же комната, как наверху?

— Абсолютно такая же. Пойдемте на кухню.

— Ну, Викентий Павлович! Нельзя же так делать — все показали, а что-то одно нет!

В этой комнате старик прожил с женой тридцать девять лет восемь месяцев и четырнадцать дней — до самой ее кончины. А после похорон ни разу больше сам сюда не входил, и другим не отпирал. Первые годы оттого, что опасался расплакаться в этой комнате, а потом откуда-то взялось, сложилось, окрепло ощущение, что стоит только раз отпереть эту дверь — и под натиском

живых детей и внуков необратимо нарушится расположение предметов, сочетание запахов и пятен цвета, хранящее память о ней. Когда же дом опустел, он начал размышлять на эту тему — что же теперь там, за дверью, ставшей заповедной для него самого, что вообще происходит в заповедниках памяти, если их не тревожить? И постепенно понял, что время движется, хотя и в одном направлении, однако рано или поздно замыкается в круг — но не прежде, чем все забудут, что было в его истоке. И если не тревожить прежнего русла, время обязательно вернется в него забытыми жизнями. Он никому не говорил о своем открытии, не желая прослыть сумасшедшим. Но иногда подходил неслышно к двери, запертой почти семь лет назад, опломбированной по косяку паутиной, и вслушивался. Не слышал ничего. Но несколько бы не удивился, услышав однажды молодой тихий смех новобрачной и крахмальный хруст отворачиваемой про- стыни...

— Пианино там не прячете старенькое? — допытывался Бурлакин. — Внутренний голос подсказывает, у вас могло бы оказаться интересное пианино!

— Идите в залу, настырный человек! — вспыхнул старик. Пианино за дверью действительно было — циммермановское еще, поставщика двора Его Императорского Величества. Но этот-то откуда знает?

В зале Бурлакин тер вспотевшие вдруг ладошки.

— Милейший, к делу, к делу, к делу! Итак, сколько вы желаете за свой дворец? В зелененьких, налом?

— Во-первых, — сказал старик, усаживаясь за стол, — кому я продаю?

— А это имеет значение?

— Ну, подумайте сами. Неужто не имеет значения, кто у тебя живет над головой?

— Абсолютно нет. Потому что никто у вас над головой жить не будет. У вас покупают весь дом, с участком земли, хозяйственными постройками и садом, с вашими роскошными липами — клянусь, их не тронут! — и я прошу вас принять это как основу сделки.

— Вы какой-то странный, извините, — безнадежно сказал старик. — Я продаю полдома. Мезонин. Весь дом я продать не могу, даже если б захотел. Это не просто дом, это рода моего гнездо, сюда вернутся дети...

— Они никогда не вернутся, и вы это знаете, — ласково сказал Бурлакин. — На похороны ваши заглянут, это возможно, ну и заодно толкнут домишко любому, кто окажется под рукой. Задаром. Это вы тоже знаете, потому и дали объявление: за полдома сами-то рассчитываете выручить больше, чем они, чтоб похороны оправдать, — за весь...

— Вот уж вас не касаются мои похороны. Пока я жив, я должен где-то жить. Или нет?

— О чем разговор! — замахал ладошками Бурлакин. — Это входит в условия! Вы получите столько баксов, что купите квартиру где захотите — хоть в Москве! — и еще останется на безбедную

жизнь лет до ста, и детям на приличное наследство хватит. Кстати, если захотите, я же вам и квартиру сделаю — есть такие, пальчики оближешь. Евроремонт!

— Слушайте, вы — маклер, — сказал старик.

— Да. Ну и что?

— А покупатель кто?

— Да какая разница? Считайте, что я.

— Вам и комнаты не продам. Не хочу, извините, чтоб вы здесь жили.

— О! Рылом для халабуды вашей не вышел?

— Характером. Суеты от вас много.

Бурлакин крикнул, мотнул головой, но удержал на самом кончике языка что хотелось сказать. А вместо этого налил по стопке густо-рыжего виски старику и, помешкав, себе тоже.

— Не сердитесь, Викентий Палыч, язык мой столько в жизни мне уже напортил... За ваше драгоценное здоровье.

Старик возражать не стал. Закусил оливками. Кислит приятно, только косточки по протезам катаются.

— Покупатель — человек состоятельный, надежный, — заявил Бурлакин. — Платеж произведет, как скажете. Хотите, рублями, хотите, долларами. Хотите — переведет в зарубежный банк. Сыну вашему или дочке на счет.

— Кто он такой?

— Ну, коммерсант, естественно, кто еще может себе позволить...

— Фамилия? Откуда сам?

— Господи, все вам скажи... Ну, таджик он, Бесланов. Беженец. Это что-нибудь значит?

— Беслан — кавказское имя. Значит, врет. И что беженец — врет.

— Слушайте, — начал снова закипать Бурлакин. — Мы ж с вами не органы, Викентий Палыч, мы — живые люди. Нам какое дело — врет, не врет, таджик, чеченец? Главное для нас — как платит. А это я проверил, сто пятьдесят процентов гарантии. Иначе б и братья не стал.

— Зачем он в глушь, сюда, полез? Чем Москва-то не нравится?

— Нравится! У него там давно квартира, в самом что ни на есть Крылатском! И про дачу не спрашивайте — в Малаховке, три этажа, медная крыша! А сюда он вот зачем полез, если вы такой любознательный: вашу деревообделочную фабрику он купил. И лесопилку. И фактически весь лесхоз. Теперь господин Бесланов для всего района, а не то что для поселка вашего, будет первое лицо. Не национальности лицо, а первое, повторяю, которое рискнуло денежки свои вложить в ваш нечерноземный бардак. Пришел инвестор! С чем и поздравляю.

— Дом-то мой при чем, инвестор-маклер?

— А он тут хочет ставить особняк, Викентий Палыч. Должен где-то жить хозяин, наезжаючи? Управляющего поселит, родню, друзей — таких же беженцев. У них там, знаете ли, нынче жарко.

— Не пойму я вас, — сказал старик. — Пусть ставит где угодно, места хватит на двадцать особнячков, на весь Кавказ места хватит. Что вы от меня-то хотите?

— Липы. Липы, Викентий Павлович, липы. Целый парк, красавицы, ничего подобного в поселке больше нет. Архитектор выбрал ваш участок и уже привязал к нему проект. Так что назад, понимаете, ходу нет.

— Вы все там звезданулись,— засмеялся старик.— Под этими липами я живу, Иванов. Понятно вам?

И неожиданно повалился набок, багровея лицом, по-рыбьи хватая воздух серыми губами.

— Ну, ну, разволновался, разволновался, Иванов ты наш, домовладелец...— приговаривал Бурлакин, сидя на краю дивана. Плавными пассажами он растирал старику плечо, грудь, левую руку и в завершение каждого пасса стряхивал невидимую нечистоту с розовых своих ладошек, и лицо старика светлело с каждым отряхиванием, словно в самом деле Бурлакин смахивал с него бурую могильную влагу. Под головою у него был пакет с пистолетом и долларами.

— Охх-хос-спо-ди...— прошепел старик и разлепил с усилием глаза,— давно так не схватывало... Думал — все.

— А не спешите, Викентий Палыч! — засмеялся Бурлакин, продолжая, однако, свои манипуляции.— Все туда успеем. Есть у нас еще дома дела!

Старик дышал мелко и медленно, но был уже, вне всякого сомнения, по эту сторону и водил глазами по комнате, как бы приветствуя вернувшийся милый мир.

— Нитроглицерин?— спросил он чуть громче.

— Как же! — торжествовал Бурлакин.— Таблеточками вашими вы бы уже архангелов угощали! Экстрасенсорика!

— Вы еще и экстрасенс?

— В основном экстрасенс,— сказал Бурлакин веско.— Маклерство, оно презренного металла ради.

— Ффуу...— Старик не без помощи гостя сел, свесил ноги.— А я полагаю, вы богатые, экстрасенсы...

— Смотря какие. Шарлатаны — да.

— А вы не шарлатан?

— Ну, даете, ну, Викентий Палыч!— воскликнул, вскакивая, Бурлакин.— Неужели нужны еще доказательства?

И старик не успел ничего ответить, как он схватил со стола складной ножик, которым час назад резал хлеб. Лезвие спрятал, зато открыл трехгранное шило, обтер его об рукав, положил на столешницу левую руку ладошкой вниз, примерился и — всадил острое сквозь мякоть, в доску.

Старик крикнул и снова взялся за сердце.

Бурлакин же, не обращая на него внимания, неспешно вытянул шило. Из ладони толкнулась темная кровь. Никак не изменившись в лице, Бурлакин зажал другой ладонью рану и принялся тереть ее такими движениями, словно заталкивал кровь назад в сосуды. Насупленный лоб его блестел испариной. Смотреть на руки, мявшие одна другую, было почему-то приятно.

Скоро Бурлакин перестал пыхтеть и протянул через стол левую руку — красную и заметно распухшую, однако совершенно невредимую. На коже не осталось даже пятнышка.

— Ну? — сказал он строго. — Показать еще?

Старик только замахал на него.

— Верю, верю, а то вы чего-нибудь себе отрежете! Спасибо, что помогли. И все. Я передумал — ничего не буду продавать.

— Так, — сказал Бурлакин. — На колу мочало — начинай сначала.

— Хоть стреляйте с вашего нагана, — упрямо сказал старик. — Хоть бандитов присылайте — не продам.

— Пистолетик не для вас вожу. А бандиты и вовсе не по моей специальности, их другие пришлют, если понадобится. По моей специальности — здоровый смысл. И я действительно не понимаю вас, Викентий Палыч.

— Что же тут не понимать? С прошлого века дом стоит, а я его на разорение отдам? Да вы с ума сошли, если за такое деньги предлагаете.

— Один из нас не в себе, это точно. Ведь не просто деньги — большие, огромные деньги, вы за всю предыдущую жизнь столько не заработали! Ну, хорошо, вам трудно уразуметь такую сумму — о другом подумайте. Вот только что вы одной ногой на том свете побывали. Если б не я — были б там уже целиком. И что? Кому есть дело до истории вашего дома, кому вообще есть дело до истории? Вот я, бывший музейный работник, искусствовед за сто тридцать рублей, могу вам сказать совершенно точно: люди живут сегодняшним днем, в том числе ваши дети. И это нормально! О будущем надо думать, о будущем!

— Вот я и думаю, — сказал старик. — Неужели это непонятно?

Бурлакин помолчал, почесывая в затылке.

— Так, допустим, — сказал он затем. — Есть другая сторона вопроса. Мне неприятно это говорить, но вы должны понимать, что такие люди, как мой клиент, обычно не отказываются от своего интереса — иначе бы у них не было столько денег. Вы сейчас не более чем текущая проблемка, которую надо решить на пути к цели, а они умеют решать проблемы покруче, уверяю вас. Собственно, вы — вообще не проблема. Однажды ночью происходит короткое замыкание в старой проводке, а такие дома горят, как порох, из них выскакивать не успевают, понимаете? Десять минут — и площадка расчищена.

— Липы обожжет, погибнут, — сказал старик. — Смысла нет.

— Смысл — настоять на своем. Вы не знаете этих людей.

— И не хочу знать. Я что-то устал. Мне нужно поспать.

— Викентий Павлович, решается не только ваша судьба.

— Ну да. Вам тоже нужно заработать.

— Само собой, но речь не об этом. Вы думаете только о себе, вам ничего не хочется менять в привычном укладе жизни, и только поэтому... Да неужели вашим детям и внукам хорошие деньги не нужны? Неужели вы всерьез думаете, что кто-нибудь когда-нибудь сюда вернется?

— Это их дело. Но если дома не будет, то и возвращаться будет некуда.

Бурлакин вскочил, описал два витка вокруг стола, вздымая и опуская руки в дыхательных упражнениях, и снова спикировал на диван.

— Гвозди бы делать из этих людей!— страстно сообщил он люстре и повернулся к старику.— Тогда подумайте хотя бы о семейных реликвиях. Для вас ведь это важно — о родителях память, а все пропадет! Вот этот буфетик, качалка, стол чиппендейловский — все в головешки, а? В дым! Да вы вандал, право слово, если собственными руками...

— Руки-то не мой поджигать будут.

— Практически ваши. Вместо того, чтобы принять исключительно выгодный вариант — уж поверьте специалисту!— кочевряжитесь, как девица с комплексами.

— Да как я могу его принять, куда я вещи в городской квартире дену?

— Возьмете самое необходимое, самое для души дорогое. Остальное — продать. Кое-что, например, и я бы у вас купил. Хоть сейчас!

— Помру, тогда и купите,— сказал старик.— По дешевке. Только не пропустите момент.

— Ф-фу!— выдохнул Бурлакин и потряс головой. Достал платочек, аккуратно сложенный, звонко высморкался, посмотрел, что там вылетело, снова аккуратно вложил в карман.— Ну все, моя совесть чиста, Викентий Павлович. Что мог — я для вас сделал. Как экстрасенс, как посредник, как искусствовед в конце концов. Остальное от меня, увы, не зависит.

— Большое вам спасибо,— сказал старик.— И оставьте нас.

Дом как будто вздохнул при его словах. Это липы его огладили, колыхнутые набевшим ветром.

— Сейчас опять гроза начнется,— сказал старик.— Промокнете.

— Да все, ухожу я, Викентий Павлович. По-моему, вы так ничего и не поняли.

— Может быть. Седьмой десяток, мозги уже не те... Вутылку-то заберите, много осталось.

— Вам на память. Хотя, может, и свидимся?

— А приезжайте так — не по делам. Подлечите меня, а я вас покормлю.

— Это вряд ли,— пробормотал Бурлакин, забирая с дивана свой огнестрельный пакет.— Нет, конечно, не свидимся. Прощайте, Викентий Палыч. Приятно было познакомиться.

— Прощай, прощай, мил-человек.

Старик поднялся и следом за гостем через сумрачные сени вышел на крыльцо.

Тр-р-раа!!!— раскатилось над двором, и немедленно хлынул ливень, светлый и густой, шипя по прежним лужам и на глазах распуская их во всю ширину дорожек.

— Вот куда вы меня выгоняете,— нервно засмеялся Бурлакин.— Хозяин, называется.

— Раньше надо было трогаться — уже б в машине сидели. Хотите, переждите здесь. Только в дом, не обессудьте, не пущу я вас больше с деньгами.

— Да подавись своим домом!— в неожиданном бешенстве крикнул Бурлакин и, распахнув над собою зонт, ринулся с

крыльца прямо в кипящую лужу. Но остановился в ней и повернулся, плохо видимый в облаке брызг. — Соблазна все-таки боишься, а? Всем нужны деньги, и тебе нужны, ты такая же шкура, как я! Цену только набиваешь! Что, не так? Тогда имей в виду — клиенту долго ждать не придется. Сегодня и кончишься!

И, как в скверном кино, замерцало при этих словах, полыхнуло и сделалось, будто с неба не ливень валился, а жидкий синий огонь, и в этом озарении они увидели друг друга ясно, точно, отчетливо.

— Продай хотя б полдома! — крикнул с ненавистью Бурлакин. — Ты же дал объявление! — На стеклышках его очков дрожали капли. Не дождавшись ответа, он повернулся и, разбегаясь ногами, затрусил к калитке.

Старик поморщился — ломота за грудиной не проходила — и ступил обратно в сени. Грохнуло так, что стекла задребезжали. Вплотьмах он задел ногой ведро, покачулся, схватился за косяк, что-то опрокинулось на него, немного стукнув по плечу и шее, затем повалилось на пол. По короткому лязгу опознал упавший предмет — коса. Но поднимать не стал. Завтра.

Он вошел в темную уже залу, включил свет и заложил за собою дверь на крюк. Страшно не было, было неприятно, что кто-то может снова войти в дом, в его жизнь, не спрося даже позволения.

Опять полыхнуло в окнах. По шее текло. Он провел ладонью, чтобы утереть дождевую каплю, но пальцы, к изумлению, окрасились кровью. Он повернулся к зеркалу.

В померкшей от времени глубине он увидел седого измятого человека, у которого текла по небритой шее кровь из пореза. Гораздо глубже был рассечен ворот куртки, заслонивший от лезвия сонную артерию. Мельком отметив это обстоятельство, он снова всмотрелся в собственное лицо, словно давно не видел. Боже, как одичал... Люди вон какие бывают — розовые, гладкие, красногубые, а это что за пугало? Эбеновые листья винограда и черномазые купидоны весело вились вокруг венецианского овального стекла, из которого таращился на него бомж не бомж, но уж не домовладелец точно. Кто же примет такого за серьезную проблему? Такому место в богадельне, а то и на помойке.

Но этот-то, экстрасенс, как узнал про косу? И что плохо поставлена?

Он прошел в умывальню, где была и аптечка. Разделся, заклеил пластырем порез, затем умылся холодной водою по пояс. В чайнике вода еще была горячей. Тщательно побрился, растер лицо одеколоном, причесался, чистую рубашку надел. Другое дело. На человека похож.

Под громовые раскаты, перемежающиеся дробью ливня по железной крыше, он без колебаний отпер заповедную комнату — там все было, как было, и никто не появился в ней, кроме серой пленочки пыли на поверхностях; да и не мог ведь появиться, потому что память его не позволяла времени замкнуться. Он снял со стены ружье, достал из ящика стола две коробки патронов. Дверь за собою, однако, запирает не стал — надо будет еще здесь прибратся. В зале проверил ружье. Стволы блестели смазкой,

как новые. Зарядил его, поставил у дивана, в изголовье. Теперь пусть приходят.

Но беспокойство оставалось. И тогда он сходил снова в сени — на этот раз включив предварительно свет, — поставил как следует косу и отпер чулан с хозяйственным инвентарем и после продолжительного ляганья извлек двуручную пилу, которой не пользовался с тех пор, как в поселке появился природный газ. Подернулась ржавчиной, но зубья наточены и разведены как надо, а это главное. Убедившись в исправности инструмента, он аккуратно прислонил его к стене. До завтрашнего дня. Отгрохотал ужасающей силы раскат, растворился в плеске и шипении ливня, но тут опять на крыльце загремело, затопало, и он поздно вспомнил, что не запер наружную дверь — она распахнулась.

Бурлакин стоял за порогом, мокрый насквозь, отдувающий брызги с носа, и вывернутый ветром зонт дыбился спицами над залезанной его головой.

— Викентий Палыч! Вы — живой, — сказал он утвердительно.

— По-моему, да, — согласился старик. — Что, деньги потерял?

— Да провались они совсем... Викентий Палыч, я ведь что хотел сказать-то... Часики ваши — цены им нет. Никакой не Буре, и не слушайте, кто будет мозги вам парить. Это Англия, конец семнадцатого, мастер по фамилии Томпион. Запомните?

— Знаю. Мог бы не возвращаться.

— Да не можете вы знать... вы понятия не имеете, на какие аукционы ваши вещи — некоторые! — тянут. Лондонский Сотбис...

— Все я знаю, что мне нужно знать. А что не нужно, того и знать не хочу. И не суется ты, маклер, ничего из дому никуда не уйдет.

— Я — искусствовед! — обтер лицо Бурлакин. — Что вы смотрите, как на шестерку, как на шакала какого-то? Думаете что, думаете, вот он — решил напоследок свой шерсти клок, антику урвать по дешевке, да? Ошибаетесь, праведник! Я вам совет вернулся дать, и только. Хотите выжить — спилите вы липы к чертовой матери!

— Совет хороший, только и это я знаю. — Старик пощелкал по полотну пилы, отозвавшейся певучим тоном. — Зря, говорю, мокнешь.

— Ну да, ну конечно, — сказал с тоской Бурлакин, опуская растерзанный зонт. — И это вы знаете. Знаете все. Почему?

— Потому что живу. В своем доме. А ты болтаешься, как цветок в проруби, тебе и задуматься некогда.

— Ну да, ну да, — повторил Бурлакин. — Болтаюсь. Но это-то вам откуда известно?

— Прощай, искусствовед, — сказал старик. — Я дверь закрою, извини, сыро уж очень. И поздно.

— Но как же вы один-то? Липы? Одному — невозможное дело.

— Может, хочешь помочь?

— Меня тогда просто прихлопнут, — сказал Бурлакин, вздрагивая от сырости. — В каждом деле свои правила. Хотя... я подумую...

— Бог тебе в помощь, — сказал старик. И плотно закрыл дверь перед гостем, с которого уж натекло на крыльцо.

ЧАША ВЕСОВ

На вопросы «Смены» отвечает депутат Государственной Думы
НИКОЛАЙ ГОНЧАР

18

*Николай Николаевич
Гончар —
уроженец Мурманска.
Окончил Московский
энергетический институт,
кандидат экономических
наук. Был заместителем
председателя,
а затем председателем
Моссовета.
Последние два года
представлял Москву
в верхней палате
парламента —
Совете Федерации,
где возглавлял
Комитет по бюджету.
Избран депутатом
VI Государственной Думы,
член думского
Комитета по бюджету.*

*— Вы, Николай Николаевич,
специалист по бюджету. Как считае-
те, будет ли исполнен бюджет
на нынешний год?*

— Не будет. Хотя все предпосылки для его исполнения мы, депутаты еще прошлого созыва, создали. Мы приняли бюджет до начала финансового года, и он был неплохим... Но 16 триллионов рублей и миллиард долларов на Чечню — этого достаточно, чтобы его «убить». К тому же началась предвыборная популистская гонка — не только со стороны президента, но и со стороны депутатов все чаще звучит: «Давайте примем вот этот закон, облегчающий жизнь народа, и этот, и вон тот!» А есть на них средства? Нет! Все так называемые социальные законы, не подкрепленные реальными деньгами, ухудшают жизнь тех, для кого они с такой помпой принимаются. Потому что покупательная способность

денег зависит от их количества. И чем больше «пустых» рублей в обороте — тем выше инфляция. А инфляция безразлична миллионарам. Она прежде всего бьет по малоимущим слоям — ежедневно, ежечасно.

— Но, к сожалению, логика сейчас такова, что надо принимать социальные законы...

— Это не логика — это политическая конъюнктура! Какая уж тут логика!.. Вы спрашиваете, будет ли выполнен бюджет? Нет! Он и не выполняется. Расходы января составили 30 триллионов, доходы — 15. Вот и весь ответ.

— Многие полагают, что у России свой, особенный путь реформ. Как считаете вы?

— Совершенно свой, особый путь — у каждой страны. Возьмите два азиатских государства — Корею и Японию, соседей, сопоставимых по природным запасам, населению, похожих чем-то по культуре... Но попробуйте японскую схему перенести на Южную Корею — ведь глупость получится! Надо, чтобы метод соответствовал объекту. То есть способ реформ подходил именно этой стране!.. Скажите, что общего между хорошим и плохим водителем?

— И тот, и другой ведет машину...

— Вот! Я неплохой водитель. Я хорошо вожу свою «Волгу». А у моего друга — импортная машина, и если я поведу ее так, как свою, — доеду до ближайшего столба. Когда я кручу у «Волги» руль — он без гидроусилителя, — с трудом вписываюсь в повороты. А если я с той же силой поверну руль в «джипе» — тут же окажусь в кювете.

Дорога у всех стран общая. Последовательность поворотов — одна: рыночная экономика, постиндустриальное общество... Но у каждого — своя машина, и каждый

должен вести ее по-разному — надо уметь водить свою машину!

— Все социологические опросы свидетельствуют: россияне не доверяют власти. Вы же находитесь в коридорах, кабинетах этой самой власти. Как вы чувствуете себя в условиях такого недоверия?

— Я не во власти. Я — у власти, около власти, Государственная Дума, как вы понимаете, никакая не власть. Это своего рода кадровый резерв оппозиции...

Думаю, что мне мои избиратели доверяют. У меня есть основания так считать. В одном и том же районе я баллотировался пятый раз — избирательного округа не менял. У избирателей была возможность много раз сказать все, что они обо мне думают. Мне перед ними нечего стыдиться. Не воровал, не унижался...

У нас в России две власти: есть — «законодательная», а есть — реальная.

— Стало быть, ни у Совета Федерации, ни у Думы власти нет? Она вся в Кремле и в Белом доме?

— В Совете Федерации сидят люди — по крайней мере половина зала, — которые обладают действительной властью в регионах. В этом смысле они — власть.

— Вы избирались по одномандатному округу и все время держитесь наособинку. А чьи взгляды — какой группы, какой партии — вам наиболее близки? К кому вы примыкаете?

— Ни к кому я не примыкаю! Не примы-каю я! У меня есть свои взгляды, а примыкают — к чужим... Я не хочу участвовать в «тараканьих бегах». В Думе если не все время, то по крайней мере первые полгода будут постоянно играть в игру под названием «Давай объединимся с теми-то». А меня избирали конкретные люди. Я брал на себя те обязательства, которые ни-

какая партийная дисциплина не мешает мне исполнить. Когда голосовал против Ильюшенко в Совете Федерации — я делал то, что считают правильным мои избиратели, а не ЦК моей партии или исполком моего движения. Ни у кого ничего не брал и обязан только перед теми, кто отмечал фамилию Гончара в своих бюллетенях.

— *Не тяжело ли вам вот так, в одиночку?*

— А в чем тяжесть?

— *Ну, в коллективе легче...*

— Смотря что; если речь идет о принципиальных вопросах, если вы, допустим, пишете закон о финансово-промышленных группах, то легче — что?..

— *Когда этот закон будет поддерживать группа людей одних с вами взглядов.*

— Когда я пишу закон, меня интересуют вопросы концентрации капитала, производственных мощностей, восстановления производства... А думать, поможет ли этот закон победить на выборах «нашему», — в такие игры я не играю. И не хочу играть.

В парламенте часто бывает так: идет от конкурирующей фракции хороший закон, нужный — но из политических соображений закон необходимо завалить: что ж это мы, мол, будем поддерживать конкурентов! И — заваливают. Я этим не занимаюсь...

— *Значит, и в российском парламенте есть лоббисты, проталкивающие те или иные интересы? Знаете ли вы, кто из депутатов чьи интересы продвигает?*

— Все, кто присутствует там, — лоббисты. А как иначе? Меня избрали в Центральном округе Москвы для чего? Чтобы я отстаивал интересы Центрального округа; и каждый раз, когда в бюджетном комитете ставится на голосование тот

или иной вопрос, кричат: «Э, да тут слишком много всего в пользу москвичей!» А меня для того и избрали, чтобы я отстаивал интересы Москвы. И я буду в Думе доказывать, что для столицы надо сделать то-то, то-то и то-то... Это и есть лоббирование — способ представления интересов. Я лоббирую Москве. И было бы странным, если бы я этого не делал. А столица — это авиационная промышленность, это метро, это концентрация капиталов... Вот я и отстаиваю интересы Метростроя, авиационных заводов...

Другое дело, что достаточно мудрые политики прекрасно понимают: столице не выгодно, чтобы углублялась экономическая пропасть между ней и остальной Россией, чтобы не было вопиющего разрыва в уровне жизни... Московский мэр Лужков, казалось бы, все «рвет» для города. А знаете, насколько он сегодня озабочен тем, чтобы московские деньги вкладывались в российскую провинцию? Лужков, грамотно используя рыночные механизмы, стимулирует московские банки вкладывать деньги в регионы: он понимает, что не должно быть ненависти бедствующих окраин к богатой столице. Сытый город на холме — а вокруг нищие?! Так не должно быть. Лужков это понимает.

— *А вы тоже считаете, что это опасно?*

— Безусловно. Для России очень опасно как социальное расслоение между гражданами, так и экономическое между регионами. Сейчас ситуация еще не стала критической, но, если пропасть между уровнем жизни в столице и регионах будет углубляться, может произойти множество неприятностей. Разве той же Москве нужны трущобы, жилье, сколоченное из жести и ящиков? А ведь если провинция будет по-прежнему нищать, в столицу

устремятся «экономические беженцы»...

— Как вы относитесь к тому, что в России расплодилось множество партий? Десятки карликовых, курьезных организаций не только соперничают на выборах в Думу, но и выдвигают своих кандидатов в президенты...

— Процесс уменьшения количества партий уже идет. В новой Думе их осталось всего четыре. Эта трех-четырехпартийная схема сохранится, и она очень неплохая. Говорят, в России дело кончится двухпартийной системой. Сомневаюсь, что в конце концов это произойдет. Когда политическая система отлажена десятилетиями, — как в Англии, например, — достаточно того, чтобы на одной чаше весов лежала одна гиря, а на другой, в противовес, — вторая. Но когда демократия юная, неустойчивая, все время меняется баланс интересов. Вот ветер подул, и чашечки весов заколебались... И маленькие-маленькие «гирьки»-партии должны быть в «наборе» для того, чтобы сбалансировать политические веса страны. Конечно, четыре десятка партий — это ерундистика, бред! Развитие демократии, я думаю, приведет к тому, что из них выживут три-четыре.

— Говорят, что «политика — это искусство компромисса», и вы производите впечатление человека, который способен его добиваться. А где для вас заканчивается возможность компромисса? Где тот предел, за который вы не можете переступить?

— Чувство собственного достоинства.

— Многие россияне сильнее всего, как свидетельствуют социологи, беспокоят разгул преступности, коррупция. Есть ли у вас предложения по поводу того, как с этим злом бороться?

— Схема-то стандартная, ничего нового здесь не придумаешь: с преступностью можно эффективно бороться только тогда, когда государство в состоянии платить правоохранительным органам больше, чем им платит мафия. Государство обязано достойно содержать не только милиционеров, идущих под пули, но и их семьи, оставшиеся без кормильца.

Однако посмотрим в корень — преступность чем живет? Она живет на деньги, скрываемые от государства. Во многих фирмах сидит так называемый «второй бухгалтер», который считает дебет-кредит не для налоговой инспекции, а по-настоящему. Он знает, как скрыть доходы, увернуться от налогов, кому дать на лапу, как провезти контрабанду... Налоги не платить нельзя. Их платят все — либо государству, либо мафии. Когда государство не умеет их взять — они достаются криминальному миру. Способ свернуть мафии шею известен: неукоснительная, жесткая... нет, даже не жесткая, а жестокая ответственность за неуплату налогов.

— И это все?

— И, повторяю, неподкупность правоохранительных органов. У бандитских группировок — строгая иерархия, разветвленная структура, жесткая дисциплина. Организованы они не просто по национальному принципу, а по родовому, клановому. Профессионалы не без оснований утверждают, что туда очень трудно внедрить агентуру. Но тем же профессионалам хорошо известны методы борьбы с такими группировками.

**Беседу вел
СЕРГЕЙ ЛИТВИНОВ.**

==
*За него, кроме жены, болели
Все литературные друзья...*

*Все, кроме жены, его жалели —
Над лазурной урной голоса,
Все, кроме жены, его любили,
Нелюбовью жен возмущены...*

*Все, кроме жены, его забыли —
Все забыли —*

*все, кроме жены:
Слывший мнительным и нелюдимым,
Наводившим скуку и нитье,
Был он — только для нее — любимым
И любившим
всех, кроме нее...*

ПРИГОВОР

*Десять лет «кликбеза» под надзором
Прописей, карающих нерях
И невежд,
«плюс пять» — поющих хором*

*Я так привыкла обвинять тебя
Во всем, что болью отзывалось в сердце.
Теперь я знаю: и моя вина,
Что не нашли мы путь к заветной дверице.*

*Мы виноваты оба. Что ж, коль так,
Не стоит больше плакать и сердиться.
Теперь, когда меж нами океан,
Я так боюсь опять в тебя влюбиться!*

==
*Я удивилась твоим глазам
И удивленная замерла.
Я никогда не встречалась с тобой,
Не прощалась никогда.
Никогда не смеялась с тобой:
Только над тобой или о тебе,
Но
Глаза твои вечно со мной,
И в уставших днях, и во сне.*

*Спрячь меня. Как конфетку в кармане.
Обожги мои руки в своих.
И в объятьях меня замыкая,
Сохрани от обид.
Спрячь меня.*

АЛЕКСАНДР ДОРИН

В БОЛЬНИЦЕ

*Скупая графика зимы.
В молочной хрупкости окна,
Как оттиск смятою копиркой,
Застывшее переплетенье дней...
Сухая снежная крупа
По холодеющей ладони стекла
Замедленно скользит...
Стекло больничного окна
Как фокусирующая линза —
Через нее все тоньше, резче...
И птицы крик,
И луч случайный,
И скрип спешащих скорых шин.*

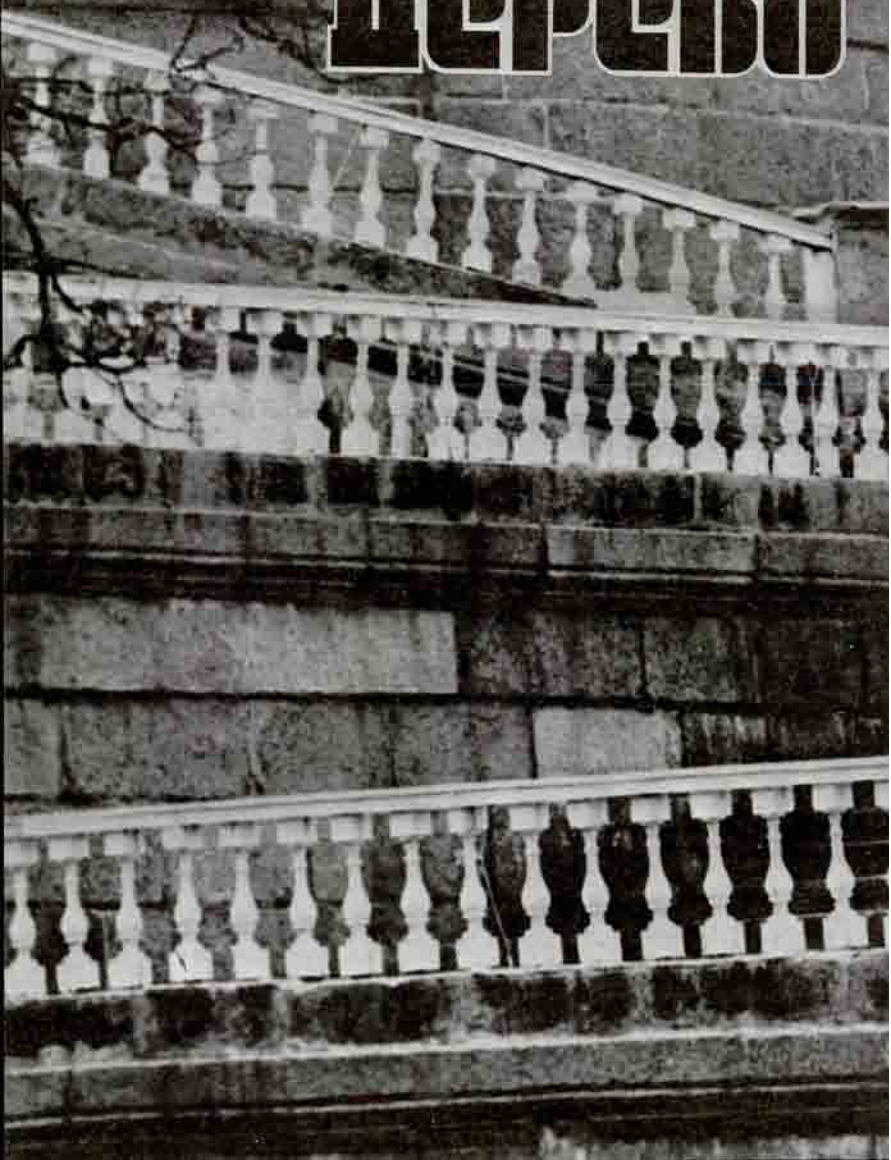
==
*По тверской бульварной кромке
Ветер гонит листьев свору,
Скоро зыбкая поземка
Защекочет, запуржит...*

ОРАНЖЕВОЕ

ВАЛЕРИЙ МАЙОРОВ

Фото ВЛАДИМИРА ЧЕЙШВИЛИ

ДЕРЕВО





Большой дворец, северный фасад (арх. Д. Фонтана, Г. Шадель, XVIII век).

Ораниенбаум — в часе езды электричкой от Балтийского вокзала Санкт-Петербурга. Эта близость к северной столице вкупе с другими факторами сыграла с городом, имеющим почти пятидесятитысячное население, невеселую шутку — здесь нет гостиницы.

Так что пришлось мне (о чем совершенно не жалею) проживать в Кавалерском корпусе — детище знаменитого архитектора Антонио Ринальди.

Корпус строился в середине XVIII века — впридачу к дворцам и павильонам, предназначенным для уединенного отдохновения императорских особ и высочайших дипломатических и светских приемов. Когда высочества наезжали в Ораниенбаум, в Кавалерском корпусе размещался на постой высокородный дворцовый люд. Любопытно бы узнать, кому именно доводилось обретаться на втором этаже в двенадцатой комнате, где я нашел временный приют. Высокое окно моей комнаты выходило на дорожку, которая вела ко дворцу Петра III.

Проводя меня по анфиладе комнат, кабинетов, залов, хранительница дворца Елена Денисова поясняла:

— Это один из первых императорских загородных дворцов, открытый для посещений еще в 1953 году. До этого, правда, с довоенной поры в музейных целях использовался Китайский дворец. Он находится по другую сторону от Кавалерского корпуса.

В отличие от дворцовых ансамблей Гатчины, Павловска, Петергофа и Царского Села, серьезно пострадавших в годы Великой Отечественной войны, ораниенбаумский не был разрушен: летчики люфтваффе предпочитали не появляться в зоне действия кронштадтской

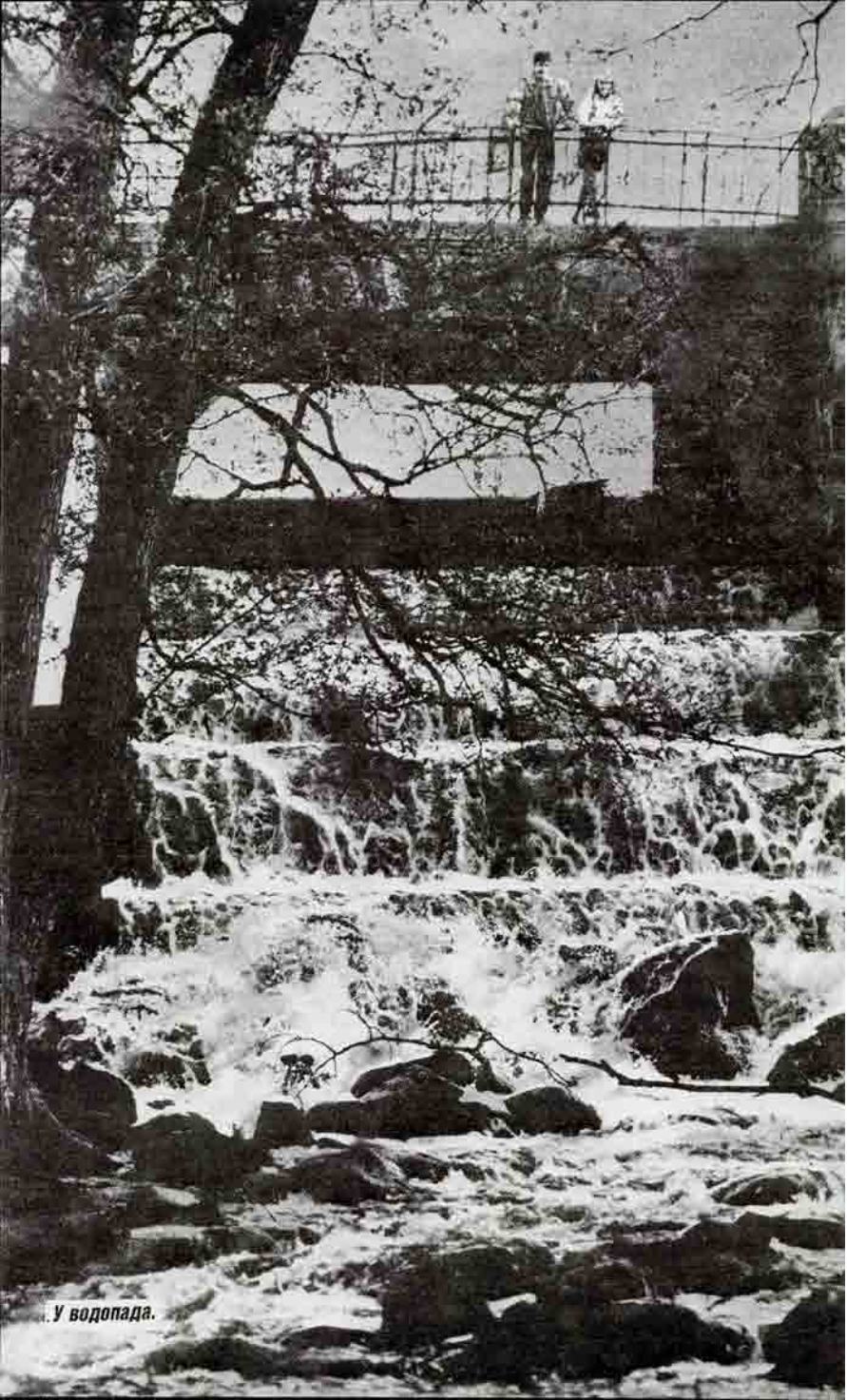
зенитной артиллерии. К тому же и до войны, после октябрьского переворота, здешние архитектурные сооружения не перестраивали, подгоняя под новые цели и нужды...

На старинной литографии — дворец, дугообразно вытянувшийся на косогоре. Парадные лестницы, похожие на раскрытые веера, спускаются в сад, обнесенный с внешней стороны ажурной решеткой, поднятой на высокий гранитный бордюр. Перед садом пристань, к которой причален трехмачтовый парусник с развевающимися выпелами. От пристани в сторону дворцовых ворот отъезжает карета, запряженная шестеркой лошадей.

Так выглядела почти три столетия назад одна из загородных резиденций сына придворного конюха, светлейшего князя и генералиссимуса Александра Даниловича Меншикова.

Здешние земли на побережье Финского залива (с городами Ям и Копорье) достались ему от Петра I в качестве подарка за верную службу и старания. Случился этот государев презент вскоре после того, как был заложен Санкт-Петербург, а заодно с ним и крепость Кронштадт на острове Котлин, призванная служить морским форпостом новой столицы.

В прямые обязанности Меншикова, бывшего ко всему прочему губернатором земель, отошедших к России после войны со шведами, входило осуществлять государственный надзор над возведением и обустройством Кронштадта. Так что не только по ландшафтному обрамлению выбрал умный и расчетливый Александр Данилович место для своей резиденции — дворец на косогоре находится как раз напротив острова, до которого около трех верст водного пути. С косогора хорошо просматривает-



У водопада.



Scott Cameron



В парке...

ся — если, разумеется, нет тумана — силуэт города-крепости с золотоглавым куполом Морского Собора.

От большой воды к дворцу был подведен канал — теперь здесь лишь ров, заполненный водой, заросший, захламленный, пересеченный надвое насыпью железной дороги.

Только в исторических хрониках осталась и оранжерея, где росли померанцевые деревья, чьи плоды похожи на апельсины. Они-то и послужили тому, что Петр (резиденция которого находилась поблизости, в Петергофе) своим скорым и острым умом придумал название для дворцового поселения своего лучшего сподвижника и друга — Ораниенбаум. Что в дословном переводе с немецкого означает «оранжевое дерево».

И оно, что называется, споро пустилось в рост. За какие-то полвека за косогором на лесистой возвы-

шенности образовался целый дворцовый комплекс с искусственными прудами, с дорожками, посыпанными красным песком, лужайками, украшенными мраморными скульптурами.

А поселение простолюдинов, начавшись с четырнадцати изб, в которых проживали крепостные Меншикова, превратилось в город, которому было дано имя, придуманное Петром Великим.

Истории известно, что монархом Петр III был никудышным. За что, впрочем, и поплатился по самому жестокому российскому счету — отсидев на троне год, был свергнут с престола и убит в результате заговора, который затеяла и возглавила его жена, ставшая потом блистательной императрицей Екатериной II.

— Судя по дворцу, — продолжала Денисова, — внук Петра I готовился к долгому царствованию,

хотя был инфантильным, слабо разбирающимся в вопросах государственной и дворцовой политики. О нем нигде не встретишь добрых слов. А мне почему-то его жалко. Видно, по прихоти природы он не унаследовал ничего династического. Был рожден с душой не императора, но романтика, о чем, кстати, говорит и подбор картин для галереи дворца...

Здесь собрано пятьдесят образцов западноевропейской живописи XVII—XVIII веков. Портреты чередуются с пейзажами. Размещены они так, что воспринимаются как нечто композиционно целое. Уникальными коллекциями живописных полотен, скульптурных произведений, изделий из фарфора и хрусталя, лепкой, наконец, архитектурой отличаются и другие сооружения комплекса, открытые для посещения. — Китайский дворец и павильон Каталъной горки.

32

Оба эти творения Ринальди явились в первые годы царствования Екатерины II. Специалисты считают их вершинными образцами дворцово-паркового зодчества — настолько слиты строения с ландшафтом, окружающей природой. Александр Бенуа, художник и авторитетнейший искусствовед, сравнил Китайский дворец с сонатами Гайдна и Моцарта. Смальты для его мозаичных панно изготовлялись на стекольной фабрике, которую открыл в селе Усть-Рудица, что неподалеку отсюда, Ломоносов. Фабрика эта была своеобразной лабораторией, где Михаил Васильевич нарабатывал основы стекловарения. Просуществовала она недолго — всего 12 лет. (Хотя, замечу в скобках, спустя почти два века в пору сталинской борьбы с космополитизмом и западничеством дала удобный повод для переименования города в Ломоносов... Только сейчас возвращено ему историческое имя.)

Сохранился любопытный документ. В 1774 году управляющий Ораниенбаумом граф Сиверс издал распоряжение: «Сим Ораниенбаумской конторе повелеваю подлого народа в серых кафтанах и лаптях отнюдь никуда не пускать».

Нынешний турист — и «в серых кафтанах», и в шикарных одеждах от Версачи — вхож в любой зал исторического комплекса. Это превосходно. Хуже то, что залы эти и весь комплекс в целом со временем ветшают и разрушаются, а достаточных средств на обновление и реконструкцию — увы! — нет и не предвидится...

Директор государственного музея-заповедника Николай Кармазин говорил мне:

— Сейчас только дворец Петра III имеет электроотопительную систему. В зимнюю пору лишь он и открыт для посетителей. Можете себе представить, как выглядят после очередной зимы другие дворцы и павильоны...

Вот уж действительно блеск и нищета дворцов! И тем не менее год назад — реставрационные работы в павильоне Каталъной горки. Их ведет польская фирма «PKZ», основанная в Варшаве еще в середине пятидесятых годов.

Руководитель — инженер Марек Вильга рассказывал:

— Сейчас вместе со мной в Ораниенбаум приехало семь человек. Прежде всего нужно обшить па-

**«Артемида с ланью»
(мрамор, копия, конец XVII века).**

**Китайский дворец; залы...
(арх. А. Ринальди, XVII век).**

**Тихий час
(пруд у Китайского дворца).**

**Интерьер
(Китайский дворец).**









вильон лесами. Отработать возможные технологические цепочки. Короче, сделать так, чтобы в течение семнадцати месяцев, что отведены на реставрацию, не было упущено ни одного дня. Позже подьдет основная группа.

Спрашиваю у Марека:

— А не выгоднее ли рабочих нанимать здесь? Разве у нас нет хороших мастеров?

— Хорошие мастера есть. Но они нарасхват!.. А вообще не обижайся, — продолжал Марек, — но скажу напрямую: русские могут работать так, как никто другой. Если бы не пристрастие к этому самому. — И он сделал выразительный жест, обозначающий у славян «это самое». — С утра пьют, разве так можно, матка боска!..

Что я мог сказать? Разве только сослаться на основателя «Оранжевого дерева», дескать, питье есть веселие Руси... Вот и веселимся по сию пору.

У Ораниенбаума довольно необычный административный статус: он входит в муниципальный состав Санкт-Петербурга. Такое положение дел представляется оптимальным: как-никак санкт-петербургский городской бюджет крепче областного.

— Наш город всегда был дотационным, — говорит заместитель главы городской администрации Галина Вершинина. — Финансировался он, естественно, по остаточному принципу. Крупных производств здесь нет. Судоремонтный и кирпичный заводы до недавнего времени были филиалами петербургских предприятий. Нет и каких-либо процветающих частных фирм — «новые русские» стараются осесть в большом городе. В общем, на налогах с местных производителей и коммерсантов бюджет никак не сформируешь. Держимся на сметном финансировании, что

дает Санкт-Петербургская мэрия.

Дворцы дворцами, а близость Кронштадта наложила на «Оранжевое дерево» устойчивый стальной отблеск. В городе, как сказала мне Вершинина, около сорока воинских частей. Занимают они не самые худшие земли и природные участки. Но арендной платы за них городские власти не получают. Есть закрытые производства и учреждения, входящие в систему ВПК, — пользы от них городу тоже никакой. Одно из таких учреждений размещается... аж во дворце Меншикова!

Вообще, надо сказать, этому зодческому творению не везло больше, чем другим... Вскоре после смерти Петра, в 1727 году, его ближайший друг и сподвижник попал в опалу, был арестован и сослан. Достояние Меншикова перешло в ведение Канцелярии от строений. Содержимое дворца вывезли в столицу. Спустя десять лет в залах, предназначенных для отдыха и веселия, разместили госпиталь. Он просуществовал 9 лет, до той поры, когда Елизавета Петровна подарила поместье и две с половиной тысячи крепостных душ своему племяннику Петру Ульриху Гольштинскому — будущему «краткосрочному» царю Петру III. С тех пор до первых десятилетий прошлого века Ораниенбаум был императорской резиденцией. Затем появился новый хозяин — великий князь Михаил Павлович, потомки которого владели этой сказочной роскошью вплоть до большевистского переворота.

Трудно сказать, что стало бы с дворцами, подходи они по своим конструкциям и планировке для каких-либо прагматических целей. Но все то, что хоть как-то можно было использовать в производственном и коммунально-бытовом плане, новая власть задействовала в полной мере.



*Церковный павильон
в амсамоле Большого дворца.*

Дворец Петра III, например, был обычной «коммуналкой». Кавалерский корпус сменил несколько ипостасей: размещался здесь и приют для сирот, и ПТУ, готовившее швей, и лагерь отдыха «пэтушников». (Лишь недавно, всего пять лет назад, здание это было передано в музейное владение...)

И сейчас еще в некоторых строениях музейного комплекса живет с десяток семей — бывших сотрудников заповедника. Жилье сырое, холодное, без удобств. Но иного нет и вряд ли будет.

Когда мы подъезжали, директор местного краеведческого музея попросил шофера притормозить. Мы вышли из машины у штакетника, за которым громоздился серый куб трансформаторной подстанции.

Шанаев показал рукой на другую сторону:

— Вот как раз напротив этой будки стоял деревянный дом, в котором родился Игорь Стравинский...

С Ораниенбаумом связано немало знаменитых имен, что составляют славу Отечества. Здесь перед отъездом в осажденный Севастополь жил хирург Пирогов, здесь же находилась дача Некрасова. Тут прошли детские годы Ореста Кипренского, автора знаменитого портрета Пушкина. Сюда приезжал работать Саврасов. Подолгу гостил в усадьбе княгини Мордвиновой, супруги морского министра, другой знаменитый художник — Шишкин. (В Третьяковке есть его полотна «Мордвиновские дубы» и «Лес графини Мордвиновой». Дубы, написанные Шишкиным, крепки, зелены и сегодня. К одному качели подвешены, рядом с другим кострища...)

В Ораниенбауме проводились испытания многих видов винтовок — Мосина, Дегтярева, Токаре-

ва, Федорова. Под Ораниенбаумом состоялся первый полет самолета Можайского... Все эти события отмечены теми или иными мемориальными знаками. Равно как и другие исторические факты. Тот, например, что отсюда по льду Финского залива двинулись большевики на подавление кронштадтского мятежа.

Как-то под вечер зашел я в собор Архангела Михаила, высящегося на полпути от вокзала к главным воротам дворцового музея-заповедника.

Был собор этот, названный в память Великого Князя Михаила Павловича, брата Александра I, когда-то деревянным, но вначале нынешнего столетия его перестроили, сделав из кирпича и камня. При новом освящении получил он официальное название — Ораниенбаумский Михайловский — в память трехсотлетия Дома Романовых. В тридцать втором был закрыт. Первый молебен после долгого перерыва был отслужен здесь семь лет назад.

Рядом с папертью — надгробие. На черной гранитной доске золотом высечено: «Князь Георгий Владимирович Голицын. Родился в Тифлисе 20 апреля (3 мая) 1916 г. Скончался 31 марта 1992 г. в Лондоне». Захоронен князь в соборе по его завещанию...

В ожидании всенощной подходили прихожане. Прежде чем ступить в освещенное пространство восстановленного храма, надо было им миновать ямы и колдобины, нерадиво оставленные после ремонта. И сдерживать себя при виде матерящегося пьяницы; и молча чертыхаться, когда над ораниенбаумскими творениями великих зодчих неслось эхо артиллерийской канонады, залетающее сюда с полигона, расположенного неподалеку, за деревней Гостилицы...

ТОТ,

ЧО

ОЛЬГА ЧАЙКОВСКАЯ

36

В 1993 году в Нью-Йорке вышла книга Ричарда Лурье о Чикатило, переведенная затем на многие языки; издана и у нас в издательстве «Олимп». Известна наша тяга ко всему таинственному и кровавому, это непостижимое стремление получить порцию «мороза по коже».

Чикатило (непойманный) вызывал ужас, уже непосильный человеческой душе, где-то во тьме совершал он свои чудовищные преступления, а потом словно бы растворялся в этой тьме. И так шли годы (пока следствие не возглавил Исса Костоев, старший следователь по особо важным делам при прокуроре России). А Чикатило (пойманный) оказался унылым человеком в очках и с портфелем, отцом семейства и даже дедушкой — в этом была загадка совсем иного рода: как могло возникнуть такое чудовище, как могла жить среди людей такая нелюдь, никем не распознанная.

И конечно, всех безмерно интересовал ход следствия и сам следователь.

Еще не видя этой книги, я отнеслась к ней с неким ревнивым чувством. Мне довелось так много заниматься делами, которые расследовал Исса Костоев, что я привыкла считать их уже как бы своим достоянием, собственным «частным владением», и вторжение сюда другого показалось мне покусением на мои исконные права.

Но стоило мне начать книгу и мне стала ясна беспочвенность моих притязаний: Ричард Лурье знает о Чикатило куда больше моего. И дело не только в том, что он владеет огромным материа-

КТО ПОЙМАЛ

ЖАДУЩАГО

лом. — он настолько вжился в этот материал, что смог не только описать события, но и показать (а это самое трудное) зарождение порочной страсти, механизм ее самооправдания и полную ее победу.

Но почему же все-таки, когда я читаю эту книгу, я не могу отказать от впечатления: все так и словно бы не так.

Сперва я подумала, что происходит это от некоторой беллетризации повествования — вот мы видим Чикатило, идущего по следу очередной жертвы, и слышим его мысли, почти опускаем, какая волна на него накатывает; вот нам показан Исса Костоев, в тревожных раздумьях меряющий шагами свой рабочий кабинет. Спору нет, автор вправе позволить себе подобный прием изложения. Но почему же, когда он показывает мне Чикатило в пожаре его страстей, я ему верю, а когда следователь меряет шагами свой кабинет, у меня автору веры нет. Дело, очевидно, не в беллетризации.

Кровоточащая и жаждущая крови душа Чикатило у самого автора вызывает сложные и сильные чувства: тут и профессиональный интерес, и понятное любопытство к монстру, здесь и отвращение, смешанное с невольным состраданием (потому что велики муки этого человека), и сознание огромной опасности, от этого человека исходящей. Р. Лурье показывает истинные причины, глубинные, происходящие в душе преступника, который одновременно и боится, и жаждет своих кровавых наслаждений.

Следователь Костоев, разумеется, взят в плане обычной реальной жизни, без всяких душевных борений и бездн. Это разумное

начало, совершенное нравственное здоровье; профессиональная деятельность, в которую он влюблен, находится в полном согласии с законами божескими и человеческими. К своей заветной мечте — найти убийцу! — он рвется всей душой — цельной душой, ничуть не разорванной. Да, он в тревоге, порой в отчаянии, но и тревога эта, и отчаяние определены внешними обстоятельствами.

Я помню, в каждом нашем телефонном разговоре я спрашивала Иску Костоева — что с делом?

— Глухо, — отвечал он урюмо. — Глухо.

И я перестала спрашивать. Нетрудно было понять, как ему тяжело. Каждое новое убийство было для него ужасом, на каждое он ехал, зная, что сейчас увидит такое, чего никогда еще не видали даже такие, как у него, все видевшие глаза.

И перед каждой жертвой он стоял, проклиная себя: эта женщина (девочка, мальчик), она мертва потому, что он, Иску Костоев, не схватил убийцу. А если бы схватил, она сейчас была бы жива и здорова. А он не смог.

При подобных обстоятельствах Р. Лурье оказался в затруднительном положении: трудно строить рассказ на одном и том же многократно повторяющемся сюжете — и опять убийство, и снова мы его не раскрыли, — все это в конце концов может вызвать раздражение читателя.

Словом, Чикатило с его преступлениями оказался автору интересней, чем следователь с его поиском.

Между тем книга называется «Охота на дьявола», а всякую охоту мы, как правило, видим с точки зрения одного из ее участников — либо охотника, либо предмета охоты, и сочувствуем либо той, либо другой стороне. Когда охотники идут на волков, мы обычно на стороне охотников, мы знаем, в чем их цель, оцениваем их смелость, их профессионализм, тревожимся за них (если это действительно охота, а не бойня с вертолетов, как это обычно бывает). Но ведь можно стать и на сторону хищника, как это сделал в своей песне Владимир Высоцкий. «Рвусь из сил, из всех сухожилий», снег, запятнанный неповинной волчьей кровью, и наша радость, когда зверь ушел за флажки и спасен. В истории, изложенной в книге, все симпатии, разумеется, однозначно на стороне охотника, мы горячо желаем ему удачи, мы в досаде, когда зверь уходит за флажки. И тем не менее зверь описан с чувством (не важно каким) и описан ярко.

А охотник?

Ему посвящено множество страниц, не меньше, чем его противнику, но в изложении можно заметить немало недостатков и просчетов, это видно уже в начале книги, самом ее построении. Повествование идет двумя путями (жизнь Чикатило и жизнь Костоева), которые затем сливаются в один путь. Кстати, судьба распорядилась так, что оба они были жертвами советской власти, горестными жертвами с самого детства. Чикатило рос во время великого голода, устроенного Сталиным (когда бытовало людоедство — в книге недаром приведен страшный рассказ матери Чикатило о том, как погиб ее старший сын). Иску было полтора года, когда он вместе со всей своей семьей и всем своим народом

был отправлен в Казахстан — автор стократ прав, рассказывая нам о зверской операции НКВД в феврале 1944 года, когда весь ингушский народ, за исключением тех, кого убили на месте, был погружен в теплушки, чтобы двинуться в дальний путь, который для многих стал последним. Костоев с детства ощутил тяжкий гнет власти (и с детства бунтовал против него — замечателен эпизод, когда одиннадцатилетний Исса бросился с кулаками на мальчика за то, что тот плакал, узнав о смерти Сталина, и сам комендант потащил маленького ссыльного в комендатуру). Страдания, которые он пережил вместе со всем народом, жизнь с клеймом «спецпереселенца», едва ли не «врага народа» — только зная все это, можно понять характер Исы Костоева с его обостренным чувством правды и справедливости.

Эти две начальные жизненные линии, следователя и преступника, опять же изложены неравноценно. Но самое главное заключается в том, что Р. Лурье, излагая другие уголовные дела, расследованные Иссой, все-таки скользит по поверхности — по-видимому, ему не хватает тут фактического материала.

Словом, Р. Лурье многое угадал в Чикатило.

Костоева он не разгадал.

Конечно, и в раннем деле (Гавриловой), о котором рассказал автор, уже виден Костоев, который идет напролом, наперекор следственным штампам и воле начальства (и это чистая правда, что Гаврилова, из камеры смертников вышедшая на свободу, потом, встречая Иссу на улице, падала на колени и обнимала его ноги с криками: «Люди! Вот человек, который спас мне жизнь!» Исса говорит, что это стало его ужасом, когда он, завидев издали Гаврилову, ждал: вот сейчас опять подбежит и станет обнимать его ноги). Но были дела несравненно более сложные, значительные и глубокие. И уж несравненно более увлекательные.

Не могу понять, как автор мог пройти мимо дела Владимира Стороженко — в книге этому делу уделено не более пяти страниц, между тем оно было не только одним из самых интересных с детективной точки зрения — за ним поднимались крупные проблемы. И собственно следственные и важнейшие общеправовые. И общественные. На этом деле, поразительном, как его ни трактуй, пожалуй, легче всего было бы показать, что это такое — феномен Исы Костоева.

Пропуск, который необходимо заполнить.

Да, тогда в восьмидесятых годах, на Смоленск и его окрестности обрушилась страшная беда — стали пропадать женщины, а потом их находили в оврагах, лощинах, на свалках, там лежали они, замученные, поруганные, задушенные, иной раз полгода лежали, иной раз год.

Кто-то нападал на них по ночам в глухих местах, на темных дорогах. Одна женщина сошла с автобуса на шоссе, до дому ей было не более полкилометра, но эти полкилометра она не прошла. Другая погибла и вовсе неподалеку от своего дома. Не только родные убитых, все в Смоленске были близки к безумию, когда пытались представить себе: ночь, пустынная дорога, одинокая женщина — кто-то крадется за ней, нападает сзади (или их несколько, и они открыто преграждают ей путь?) — что в ту

минуту в ее беспомощной душе? Все, что происходило с ней дальше, людское воображение представить себе не могло (полную картину происшедшего знали только судмедэксперты). Такие преступления могли повторяться снова и снова, в Смоленске большой завод, на котором работают по большей части женщины, многие из них живут в предместье или в области — что им делать, когда они в ночной смене? Не у каждой есть кому встретить.

Этот кто-то, охотившийся по ночам за женщинами, стал кошмаром Смоленска.

Потом все как будто прекращалось, стихало, люди начинали понемногу успокаиваться, и вдруг с пороховой быстротой уже летела весть о новой страшной находке.

Местные милиция и прокуратура, хоть и выбивались из сил, ничего добиться не могли. В конце концов дело было поручено Прокуратуре СССР, в Смоленске работала созданная ею следственная группа.

А преступления продолжались.

Вот тогда-то руководство следственной бригадой было поручено старшему следователю при Прокуратуре РСФСР Иссе Костоеву (иначе говоря, следователю республиканской прокуратуры предстало руководить следственной группой прокуратуры союзной).

Когда начальство Прокуратуры СССР поручало Костоеву руководство следствием, ему было сказано:

— Главное тут уже сделано, преступник найден. Остается только его «раскрутить».

— Найден?

Приехав в Смоленск, Костоев принялся читать дело этого найденного. Молодой человек, прокурор отдела общего надзора областной прокуратуры Николай Гончаров, вел свою машину по шоссе вслед за автобусом, а в автобусе ехал некий пенсионер, и пришло в его бедовую голову, что молодой человек этот едет не просто так, а преследует одну из юных пассажирок (пенсионер видел, как они разговаривали в очереди к телефонному автомату). В это время Смоленск переживал одно из очередных убийств, и пенсионеру подумалось, что автобус преследует именно тот самый убийца. Он записал номер машины и сообщил властям. И Гончарова арестовали.

Костоев читал и дивился — ничего! То есть вообще ничего, что могло служить доказательством вины и оправдать арест! Он заявил, что продлевать срок содержания под стражей не станет и что прокурора надо освобождать.

По этому поводу в следственной группе возник конфликт — отметим его, с ним в наш рассказ вторгается его основная тема. Один из следователей (запомним и его) яростно настаивал на вине Гончарова и категорически протестовал против его освобождения. Столкновение стало настолько острым, что Костоев (а он горяч!) в сердцах сказал этому следователю:

— Вы хотите создать громкий липовый процесс — сенсация, мол, убийцей и садистом оказался не кто иной, как прокурор! Не будет процесса, я вам этого не позволю.

А поскольку у него не было времени на распри (а его противника поддержала Прокуратура СССР), он выделил дело Гонча-

рова в особое производство, и таким образом, упомянутый и не названный мною следователь был выведен из костоевской группы и вошел в другую, которая расследование по делу Гончарова продолжала. И вот наша главная тема уже началась, уже пошла.

Речь идет о важнейшем звене системы правосудия — следственном аппарате, о его характере, его задачах, его практике, — а в частности и о том, каким он представляется общественному мнению. Для нашего общества, переживавшего времена террора, когда кабинет следователя был превращен в камеру пыток, эта проблема отнюдь не является академической или второстепенной. Обществу важно знать, каков он, нынешний следователь.

— Все они одним миром мазаны, — сказала мне одна дама, легко сказала, как нечто само собой разумеющееся, всем давно известное, и глаза ее, сроду не выдавшие ни одного живого следователя, глядели ясно. И в ответ на мой изумленный взгляд она прибавила с укоризной: — Вы-то уж это знаете лучше, чем кто-либо другой.

«За что боролись, на то и напоролись», — подумала я, похолодев. Десятилетиями мы, авторы судебных очерков, яростно бросались на сотрудников правоохранительных органов и следователей в том числе, обвиняя их в нарушении закона. Да и как могли мы иначе, если нарушений этих было множество и среди них тяжкие, ломающие судьбы. Любому ясно, что юрист, сознательно ставший на путь беззакония, — это одна из самых страшных разновидностей оборотня, это и доказывать не нужно. А поскольку сталинско-брежневское время оставило по себе не только идеологию, но и кадры, нам приходилось выступать много и резко. Правда, каждый раз, говоря о беззакониях того или иного следователя, я клялась и божилась, что мои обвинения не могут бросить тень на тех, кто профессионально и самоотверженно работает, потому что безмерно трудна работа следователя и вот уж действительно требует человека целиком (с утра до вечера и без выходных). Мои общего вида заклинания не задевали привычных ушей читателя, зато страдания тех, кто годы невинно просидел в тюрьме (и их матерей, их сыновей!), находили в его сердце живой отклик и запоминались.

И вот теперь эта молодая дама как нечто само собой разумеющееся: «Все они одним миром...» Все! Все до единого! Этот наш социологизм в отношении к людям, дубовый, мореный социологизм, который не желает ничего знать о данном живом человеке, но исходит только из его принадлежности к той или иной социальной группе («Все экономисты!», «Все кавказцы!», «Все сантехники!»), как он, честно говоря, надоед, как постыден, вреден и как скудоумен. Если бы еще она была исключением, эта дама, но она не одинока, подобные высказывания приходилось мне слышать в беседах, на встречах, читать в редакционной почте. Но вот что страшно: отнюдь не все те, кто так высказывается о работниках следствия, выражают тем самым свое им неодобрение, напротив, многие убеждены: неважно, каков он и какими методами действует, только бы боролся с преступностью, говорят они, не подзревая (хотя ввиду российского исторического опыта, особенно

недавнего, могли бы сообразить) всей бездонной опасности того, что говорят (одно время бытовала и такая концепция: прокуратура, следственный аппарат — это-де тоже хорошая мафия, так пусть же одна мафия, формальная, сожрет другую, неформальную — сегодня мы видим, что происходит, когда мафия идет на мафию, когда они перемешиваются и уже не разберешь, кто кого и за что застрелил).

Между тем, хотели мы того или нет, авторы судебных очерков в общественном мнении распространили нашу критику, направленную против худших представителей следственного аппарата, на весь этот аппарат. Тень брошена. И нередко людям, работающим на износ, раскрывающим сложнейшие преступления, приходится расплачиваться за портачей, насильников и фальсификаторов, а порой и за безответственные нападки прессы. Тень брошена, а с тем заострена одна из самых существенных проблем нашего права. Наш рассказ об Иссе Костоеве позволит нам во многом беспристрастно разобраться. Итак, смоленское дело.

Анализ материалов давно уже позволил предположить с большой долей уверенности, что убийства совершает один и тот же человек; судмедэксперты сказали: у него четвертая группа крови. По-видимому, в его распоряжении автотранспорт — преступления всегда совершались неподалеку от шоссе. Началась огромная оперативная и следственно-поисковая работа — в распоряжении костоевской бригады и силы были огромные, вся местная прокуратура, вся милиция, общественные инспектора, дружинники. Был составлен фотоальбом вещей (вернее, их аналогов), которые убийца снял со своих жертв, — часы, сапоги, а также золотые серьги кольцами и другие ювелирные изделия. У каждого следователя, каждого оперативника, каждого участкового был в кармане такой микроальбом.

42 Проверка шла глобальная — спецприемники, общежития, рынки, рестораны, кафе, столовые, железнодорожный вокзал, автовокзалы. Сотрудники обходили медицинские учреждения, выясняли, не обращались ли сюда женщины со следами травм (найти бы хоть одну живую!).

Костоев распорядился поднять все прекращенные дела, связанные с нападениями на женщин, все отказные, все приостановленные и посылал их в райотделы с предписанием проверить заново (нет ли там похожих). В связи с этим, скажем попутно, возникло некое напряжение в его отношениях с некоторыми работниками местных правоохранительных органов, которое, как мы скоро увидим, сильно обострится в связи с одним весьма любопытным и трагическим обстоятельством.

Особое внимание было, разумеется, направлено на автохозяева, автобазы, на владельцев частных машин. Проведена была проверка всех без исключения водителей на группу крови (есть предписание Минздрава, чтобы в паспорте водителя на случай, если потребуется медицинская помощь, была указана группа крови, этим и воспользовались для общей проверки); все водители с четвертой группой были под особым контролем.

А следователь из второй группы, имя которого мы не назвали,

по-прежнему занимался делом прокурора, и прокурор этот по-прежнему сидел в тюрьме.

И вдруг Костоев узнал: совершено нападение на женщину, сообщила ее подруга. Неужели наконец-то живая? Жертва нападения, назовем ее К., была в ужасном состоянии, глаза налиты кровью, на шее черные пятна, а говорить не только не хочет, но, кажется, и не может. С ней работала следователь З. Атаманова — на ее такт и опыт Костоев полагался. В конце концов К. рассказала ей, как все это произошло, как она просила преступника оставить ее в живых, а он ответил, что ему в том нет никакого расчета. Помнила она его неотчетливо (он ее почти было задушил и, думая, что она мертва, отволоч в темное место и бросил). Но рассказала она все же немало: высок, на руках и груди татуировка. По ее смутному рассказу был составлен фоторобот, разосланный по всем милицейским отделам.

В одном из райотделов вместе с сотрудниками рассматривал его некий общественный инспектор ГАИ. Он тоже принимал участие во всех поисках, однажды даже стал свидетелем нападения на женщину, была ночь, преступник скрылся, но он успел его разглядеть и мог описать. Теперь он смотрел на фоторобот и усмехался, но ничего не сказал.

Между тем сотрудники показывали потерпевшей К. альбомы особо опасных преступников, и вот наступил день, когда по поводу одной из фотографий она сказала нерешительно: «Вроде похож».

Кто такой? Некий Стороженко, водитель грузовика, дважды судимый (впрочем, еще «по малолетке»). Группа крови? Не проверялся. Как так не проверялся? Выяснили: когда на его автобазе шла проверка, он уволился и поступил на автобазу, где проверка уже прошла.

Это было интересно.

Костоев послал одного из следователей проверить по путевым листам, что делал Стороженко в дни преступлений, проезжал ли вблизи тех мест, где они совершены. К примеру, недалеко от шоссе на Рославль была убита И. — ездил ли в это время Стороженко по шоссе на Рославль? Да, ответил сотрудник, ездил в поселок Гнездово на завод за керамзитом.

Новый фоторобот был изготовлен на основе фото Стороженко.

Когда в райотделе милиции (может быть, даже из-за плеча начальника?) смотрел на новый фоторобот тот самый общественный инспектор ГАИ, высокий, красивый, он уже не усмехался.

Теперь каждое преступление примеряли на Стороженко. Был случай убийства в самом Смоленске, но произошло это в воскресенье, когда автобазы закрыты, закрыта была и та автобаза, где работал Стороженко, но ему-то как раз выписали путевой лист, он возил снег из города. Снова совпадает?

Костоев помнил: в последнем убийстве родные погибшей, воз-

вращаясь домой примерно в час убийства, заметили на шоссе грузовик ГАЗ-93, стоявший на обочине с поднятым капотом. Проверили все машины ГАЗ-93, которые в тот день и час проезжали по шоссе, таких машин оказалось 76, в их числе была и машина Стороженко. Опять совпадает!

Костоев ничего не знал об общественном инспекторе ГАИ (который вместе с сотрудниками милиции рассматривал новый фоторобот и который вполне оценил, насколько фоторобот уже точнее воспроизводит его собственное лицо), но понимал, что надо спешить. Конечно, проще всего было бы предъявить Владимира Стороженко на опознание потерпевшей К., так Костоеву кругом и советовали настоятельно: она его опознает, и все станет ясно! «А если не опознает? — думал Костоев. — Ведь она в темноте его не разглядела, а потом долгие часы в полном беспамятстве лежала в кустах». Было у Костоева и еще одно соображение: предположим, Стороженко признается в этом эпизоде, но от всех остальных отпрется, замолчит, что остается тогда делать следователю? Ведь нужно изобличать его в каждом убийстве, только тогда можно быть спокойным, что по улицам Смоленска не ходит еще один убийца. Нет, пусть лучше не знает, что К. осталась жива.

А следователь, которого мы не назвали, все допрашивал и допрашивал прокурора Гончарова и требовал признания.

44
Можно уже было Стороженко задерживать. И, представьте, как раз в это время к Костоеву прибежали работники местной милиции уговаривать: Стороженко? Да вы что, он у нас проверен-перепроверен, он у нас общественный инспектор ГАИ и вне подозрений, а если он и сидел, так «по малолетке», с кем не бывает?

— Вы хоть с Кировской областью, с колонией, где он сидел, связывались? — спросил Костоев. Сам он уже знал характеристику, которую дает колония: дерзок, опасен, предельно жесток.

Вечером 21 июля 1981 года Стороженко задержали, когда он шел с работы (одновременно на допрос вызвали его жену и брата).

Он пришел спокойный, веселый, улыбался, а когда услышал, по какому поводу его вызвали, рассмеялся не без иронии.

Я могу себе представить эту сцену. Костоева знаю, а преступника видела на фотографии. Когда я эту фотографию разглядывала в Прокуратуре РСФСР, один из сотрудников спросил, посмеиваясь: «Ну, как насчет Ломброзо?» Да, знаменитому психиатру и криминалисту с его теорией преступного типа, обладающего преступным обликом, тут делать было бы нечего.

И все-таки данный случай являл собой нечто невероятное.

В книге Р. Лурье сказано, что Стороженко — законченный славянский тип, на самом деле — интернациональный красавец, хоть в кино, французском или итальянском, его снимай. По виду интеллигентный рабочий, а может быть, и младший сотрудник какого-нибудь института. Впрочем, подобные определения ничего не определяют. Главное: нет никакого сигнала опасности от этого лица, напротив, глаза из-под ровных темных бровей глядят задумчиво и как бы с неким в глубине их вопросом; рот

хорошо, мужественно очерчен, с некоторой тенью горечи, может быть (любая девочка со спокойной душой сядет к такому в кабину — старший брат!).

Подобное лицо — идеальный заслон, если надо скрыть такую вот душу, до краев полную жаждой крови и грязи.

И страх меня взял. Может быть, в наше неестественное время, когда с неба идут ядовитые дожди, а земля рождает ядовитые плоды, может быть, нынче и разорвалась она, связь между лицом человека и его духовным миром, и глаза уже больше не зеркало души, а нечто вроде печных заслонок, но очень маленьких и цветных, назначение которых — надежно скрыть все, что там, в душе, делается?

И вот человек с таким лицом сидел теперь перед Костоевым.

В других кабинетах допрашивали его жену и брата; дома у него шел обыск.

Костоев задавал вопросы самые простые и, если посмотреть со стороны, вовсе безопасные — кстати, в том-то и дело, что следственные ловушки, которые расставляет мастер, опасны для одного-единственного человека на свете — самого преступника, для всех же остальных безопасны; проследите борьбу Порфирия Петровича с Раскольниковым, вслушайтесь в вопросы, которые задает следователь: каждый из них являет собой ловушку, тот же вопрос о малярах, что работали в верхней квартире, невинного он ни в малейшей степени не взволновал бы, а Раскольников мечется, стараясь сообразить, мог ли он видеть маляров, когда приходил к старухе? Ложь как метод следствия должна быть категорически запрещена. Дурацкая ложь следователей-непрофессионалов (на месте преступления, мол, нашли твои отпечатки пальцев или соседи тебя видели, как ты входил и выходил) — это ловушка не для подследственного, а для самого правосудия: человек может «признаться» от страха, а может и просто умереть от инфаркта.

45

— Приходилось ли вам, — спросил Костоев, между прочим, — ездить в поселок Гнездово?

— Ездил, — ответил Стороженко. — Не помню когда, но ездил — через «Красный Бор».

Ни слова больше, а какое напряжение тотчас же возникло! Стороженко уже не улыбался, это следователь усмехнулся про себя: противник, почуяв опасность (Рославльское шоссе!), сообщил, что ехал в поселок другой дорогой, хотя его об этом не спрашивали. Понимает, конечно, что зря поспешил с «Красным Бором». И разом заметался. Но все еще никак не может сообразить, где «засветился» и в чем, но ощущение, что следователь уже знает многое, может быть, главное, в его душе, конечно, растет.

Этого-то Костоеву и нужно.

— Вот вы не прошли проверку на группу крови, — заметил он. — А хотите, я вам скажу, какая у вас группа?

— Скажите.

— Четвертая.

И тут же вызвал к себе в кабинет лаборантку.

Конечно, был тут некий риск, но следователь действительно

был уже уверен. Группа оказалась четвертой. Звонит телефон, следователь Атаманова сообщает: жена Стороженко спокойно, явно ничего не подозревая, говорит, что муж недавно подарил ей золотые серьги кольцами, она их по несчастью сломала и потому отдала в починку.

— Дарили ли вы когда-нибудь жене золотые вещи? — спросил Костоев на другой день.

— Никогда, — ответил Стороженко.

Костоев записывает это его «никогда», дает ему расписаться и только потом знакомит с показаниями жены.

Стороженко говорит, что жена ошибается, что она лжет, наконец, — и знает уже, конечно, что попадает на каждом шагу.

Вскоре будут найдены и мастер, чинивший серьги, и даже ювелир, когда-то их сделавший, — те самые, что были в фотоальбоме, который носили в кармане все оперативники и участковые.

Тут надо особо сказать о тех, кто производил обыск в доме Стороженко. Сотрудники костоевской группы Михаил Люксембург, Валерий Костырев и Григорий Есилевич. Среди хлама и мусора разглядели они оплавленные, обугленные кусочки металла, сперва подумали, что это сгоревшие радиодетали, но потом разглядели — нет, обломки ювелирных изделий.

Костоев сжимал кольцо медленно, он намеренно это делал: боялся, как бы не оборвался разговор. Ему нужно было признание.

46
Ему нужно было признание совсем не для того, чтобы тащить в суд эту «царицу доказательств»; во-первых, для собственной убежденности, а во-вторых, для дальнейшей своей работы, чтобы с помощью признания, разумеется, истинного, а не липового, получить реальные доказательства по всем другим эпизодам. Но кольцо-то сжималось (а в распоряжении следствия были к тому же и другие доказательства, находки, которые смоленские криминалисты зафиксировали еще тогда, когда погибшие были обнаружены, а убийца еще не был арестован).

Признался Стороженко на третий день (это было 23 июня, а принял Костоев дело к своему производству 3 апреля, значит, ему, чтобы поймать убийцу, потребовалось менее трех месяцев (напомним, что сотрудники следственной группы Прокуратуры СССР безрезультатно работали три года).

В книге Р. Лурье сказано, будто бы Стороженко признался, поскольку Костоев дал ему ложную надежду на жизнь и все время эту надежду в нем поддерживал (есть такой прием, на следовательском жаргоне он называется «соской», лучше было бы сказать, «пустышкой»). Нетрудно, однако, убедиться, что не этот прием заставил преступника сознаться; мы видели, он был вынужден признаться под напором следователя, ввиду непровержимых доказательств, ради которых Костоеву и его сотрудникам пришлось порядком поработать. Стороженко был прижат этими доказательствами к стене, и отрицать ему уже было невозможно. Да, Костоев применил прием «пустышки», но прием этот ничего не прибавлял к признанию и тем доказательствам, что были вме-

сте с этим признанием добыты. Тут цель была другая: поддерживая в Стороженко надежду на жизнь, следователь хотел, чтобы тот рассказывал и не останавливался, не замыкался в себе, что неизбежно, если преступник теряет надежду и впадает в отчаяние. Конечно, в приеме «пустышки» та же серьезная проблема — право следователя на ложь.

Но тут, конечно, нет и речи о его праве на ложь, тут другое — право на двусмысленность или, точнее, на недоговоренность. У следователя, как всякому ясно, нет обязанности сообщать подследственному все, что ему известно по данному делу, напротив, многие обстоятельства он утаивает, иначе у него не будет возможности их проверить.

Между тем какие-то психологические приемы в работе со Стороженко были необходимы. Признавшись на следствии, потом в тюрьме, Стороженко впал в состояние такого бешенства, что у дверей его камеры, у «глазка», целые сутки сидел надзиратель — боялись самоубийства.

Придя в себя и убедившись, что деваться некуда, преступник перестроился и стал энергично работать на сохранение жизни (тут и прием с «пустышкой» мог бы работать, но, как мы убедились, в качестве самого второстепенного).

Стороженко рассказывал. Он рассказывал подробно, приводил на места преступления, вспоминал подробности, опознавал убитых по фотографиям — все одиннадцать убийств.

А потом стал рассказывать, как убивал женщину возле озера. Какую женщину, возле какого озера? Костоев ничего не знал об этом убийстве. Двенадцатое?

Как это могло быть, что ему не представили по этому поводу ни единого документа? Что же, в городе никто не пропадал, трупа нигде не находили и у милиции об этом, двенадцатом, вообще никаких сведений нет?

Почувяв неладное, умный Костоев не стал обращаться к местной милиции, но принялся расспрашивать местных юристов, не припоминают ли они подобного дела, и кто-то вспомнил, действительно было убийство женщины возле озера, было и уже прошло через суд.

Суд? Кого же судили?

Убийцей оказался муж, его судили, осудили, он сидит сейчас в смоленской колонии.

Не теряя ни минуты, Костоев помчал на машине в колонию.

К нему вывели невысокого, наголо стриженного человека, в черном х/б, немолодого, очень бледного. Исса представился.

— Что вам от меня еще нужно? — сказал человек. — Я же признаюсь, что убил свою жену, чего вы еще от меня хотите?

Он говорил ровным голосом, изможденное лицо его было недвижно, а Костоев смотрел на него и все про него понимал. Он знал, путем каких страданий прошел этот человек, прежде чем его сломали, и что сейчас делается в его душе: пришел этот следователь с какой-то обычной их ложью, с какой-то новой ловушкой, а значит, и с какими-то новыми муками, сейчас главное — собрать все силы и не поддаться на его провокацию.

Что бы Костоев ему ни говорил, Поляков не верил ни единому

слову — и тому, что будто бы найден настоящий убийца, тоже не верил.

Трудная задача стояла перед следователем, может быть, не легче, чем при допросе Стороженко. Тогда во всеоружии улик он, мастер тактики и натиска, жестко вел преступника к признанию, а тут было совсем другое дело, да и сам Костоев был другим, он жалел этого человека и был совершенно ему открыт. Преступнику он настойчиво демонстрировал, что знает о его преступлениях, чтобы узнать о них все. И Полякову он показывал, что знает всю схему его «признательных показаний», чтобы ее разбить.

И была у Костоева еще одна задача, самая трудная, — узнать у Полякова, кто и как вынудил его признаться, и заставить несчастного назвать имена. Вот это-то и было для узника самым непосильным. В глазах его глубоко жило недоверие — недоверие и страх.

— Вы сказали на следствии, — говорил Костоев, — что бросили нож в озеро, но ножа там не нашли.

Поляков молчал.

— Вы сказали, что незадолго до убийства распили с женой в кустах бутылку вина — не нашли там вашей бутылки. Ни одного доказательства нет.

Молчал Поляков. Он был мертв. Неужто его душу действительно убили?

Я представляю себе эту встречу, спокойные (с глубиной) глаза Иссy и думаю, что они очевиднее слов говорили: я пришел спасти тебя и спасу, что бы ты мне ни говорил, но я должен знать правду.

— У вас было алиби, — продолжал он. — Его затоптали. Разве это не так?

Поляков и тут ничего не ответил. И так молчал всю ночь. Только под утро вдруг заплакал, и тогда стало ясно, что он живой.

Он рассказал, как все это произошло, и назвал имена работников милиции, которые заставили его взять на себя убийство жены (они с женой уже несколько лет жили нерасписанные, а тут как раз должны были расписаться).

Ну, теперь уж этого человека ни на минуту нельзя было оставлять в колонии. Его могли заставить отказаться от только что данных Костоеву показаний, могли натравить на него уголовников, он вообще мог исчезнуть (перевели, мол, в другую колонию, сейчас он где-то на этапе), да мало ли что могло с ним случиться.

В тот день Исса из колонии не уехал, он запросил санкцию прокурора, опечатал и захватил с собой дело Полякова. А самого его — сам лично! — доставил в Минск и оттуда — сам лично! — посадил в поезд в «вагончик» на Москву — до своего освобождения Поляков сидел в Бутырках. Костоев прекратил его дело и возбудил другое, против сотрудников милиции, допустивших беззаконие.

Итак, по всем эпизодам этого дела были получены признания Стороженко, и, честно говоря, я со своим скверным правовым опытом (поскольку в редакцию хорошо расследованные и благополучно завершённые дела никогда не попадают, к нам идет один только следственный брак) не без некоторой тоски подумала, что теперь, когда по некоторым эпизодам доказано, что Стороженко — убийца, остальные эпизоды уже будут доказываться

вообще его «признательными» показаниями. Хотя закон и требует, чтобы каждый эпизод был неопровержимо доказан, следователи часто перестают быть внимательны к отдельным эпизодам, если по делу вообще доказали, что подсудимый — убийца.

Но Исса доказывал каждый эпизод, и я не могу лишиться себя и вас удовольствия рассказать, как именно он это делал.

Сторож водозаборной станции на Днепре рано утром спустился к реке и увидел, что на большом валуне, поднывшемся из воды, лежит узел, явно кем-то принесенный сюда ночью. Узел оказался женской курткой, в которую были завязаны женская одежда и белье. Сторож позвонил в милицию, куда как раз в это же время обратился некто П., жена которого ушла с работы, а домой не пришла.

Он опознал и белье, и куртку, сообщил, что на руке у жены были часы, а в милиции ему сказали, что жена его утонула (как видно, в подробности не очень вдаваясь, иначе сотрудникам отделения пришлось бы ответить на вопрос: если бедная женщина утонула, то кто же связал в узел и положил на валун ее одежду и белье? Самой милиции, как видно, подобный вопрос в голову не пришел).

Через несколько дней какой-то человек, вслед за своей собакой спустившийся в лощину, нашел там труп пропавшей женщины, и было это совсем в другом конце города — загадка, которую никто не собирался разгадывать.

А Стороженко утверждал, что бросил узел с моста.

Костоев настойчиво спрашивал его, не перепутал ли он место, где бросил узел, не запечатывал ли — нет, тот стоял на своем.

Это было серьезное противоречие, которое должно было быть устранено: тот факт, что обвиняемый привел на место преступления, сам по себе неопровержимым доказательством быть не может, у работников следствия столько возможностей подсказать ему и место преступления, и обстоятельства, что никакие понятия, пусть и самые внимательные, тут помочь не смогут (а понятия, кстати сказать, порой бывают вовсе не внимательны, не знают, на что нужно обратить внимание, а зачастую полагают, будто их вообще пригласили для профформы и что властям виднее).

Показания Стороженко необходимо было проверить, не исключена была возможность, что он не убивал, но знал об этом убийстве и по каким-либо соображениям его признавал, а может быть, он убивал не один, может быть, был сообщник, который сам прятал одежду. В таком случае отнюдь не исключена вероятность, что по Смоленску и его окрестностям бродит еще один убийца.

Это значило, что нужно было выяснить, кто отнес узел в другой конец города и положил его на валун.

Исса долго думал над тем, как все это решить, и придумал.

Он распорядился, чтобы подобрали аналогичные вещи, связали в узел и бросили в Днепр с того моста, на который указал Стороженко. Узел, естественно, поплыл вниз по течению, плыл очень медленно, рядом в лодке дрейфовали двое молодых следователей. По берегу шли понятия. Узел не торопился, плыл с достоинством,

следователи в лодке сильно, надо думать, скучали, равно как и шедшие берегом понятия. Так продвигались они весь день.

К вечеру на правом берегу показалась водозаборная станция, а с ней и тот самый валун.

Узел на него ноль внимания. Следователи позвонили с берега: проплываем мимо. Это значит, что задуманный Костоевым эксперимент ничего не доказал.

Но узел стал поворачиваться, вертеться и вдруг, развернувшись, бодро повернул направо и, влекомый каким-то течением, прибыл точно к тому самому валуну.

Цены нет этому следственному эксперименту, так он многозначителен. Я не раз рассказывала его юристам, в особенности когда нужно было опровергнуть теорию, согласно которой истину в ходе следствия и судебного процесса будто бы вообще — в принципе! — невозможно установить. Эта теория идет еще от времен Вышинского, когда ее пытались обосновать, исходя из принципов марксизма, из положений диалектического материализма, согласно которому абсолютной истины не существует, есть только относительная.

Времена были такие, что комичность подобных рассуждений выявлена быть не могла — и вот в печатных и устных выступлениях юристов-ортодоксов можно было услышать, что следствие и суд добывают только сведения об истине, а самой истины добыть не в состоянии. Надо ли говорить, какой вред подобная теория может нанести правосудию, каким оправданием может послужить она следователям, портачам и фальсификаторам, если им сказать, что истина по делу все равно обнаружена быть не может, — в самом деле, зачем тогда трудиться, если можно добыть только сведения о ней, а сведения могут быть самые разнообразные, и «за», и «против», и так, и эдак, критерия истины нет, значит, можно что угодно выбрать и как угодно компоновать и толковать.

Узел с бельем, плывший весь день по Днепру и приплывший, куда следовало, и опровергал, и доказывал.

Предстояло найти часы. Стороженко показал заброшенный колодец, куда их выкинул. В нем стояла густая жижа, следователи (их было трое, тоже все молодые), стараясь не дышать, стали ведрами эту жижу вычерпывать, выкидывали вместе с нею дохлых собак, кошек и прочую дрянь. (Это полезно нам знать, какова бывает работенка, которой приходится заниматься работникам следствия.) Когда они вычерпали слой и добрались до дна, в колодец хлынула вода. Дело, кстати, было в декабре, холод лютый. Пришлось снова вычерпывать до дна, чтобы потом руками копать в грязи, выскивая часы, которых, может, тут вовсе и не было.

Три дня работали они, трое следователей, еду им носили сюда, к колодцу.

И все-таки они нашли их, эти часы, маленькие, дамские, показывающие час и минуту убийства — час сорок пять минут 18 сентября, когда в ночь убийства они остановились. И вновь вме-

сте с этими часами была добыта неопровержимая истина.

А в обвинительном заключении, написанном Костоевым, мы прочтем по этому поводу всего несколько строк: в целях проверки показаний обвиняемого в колодце искали и нашли часы такой-то марки, с таким-то номером на корпусе, опознанные тогда-то родственниками погибшей, такими-то; а календарь на часах показывал 18 сентября час сорок пять минут. Вот и все.

С сапогами убитой тоже пришлось повозиться. Стороженко показал, что спрятал их на свалке, засунув в пустой автомобильный баллон. Огромная городская свалка! Пришлось идти по ней целым фронтом, разгребая и разглядывая. Нашли и сапоги.

Преступнику казалось, он надежно распорядился вещами — что в руку, что на свалку, что в колодец. Ему и в голову не приходило, что профессионалы все это разыщут.

Когда наблюдаешь работу таких следователей, невольно хочется еще раз вернуться к замечательному тезису «все они таковы». Да что общего между сотрудниками костоевской бригады с теми бесстыдниками, которые выбивают признание, которое становится тут главным блюдом, более или менее украшающие это блюдо гарниром из свидетельств, вымученных у запуганных свидетелей, из перевернутых экспертиз. И несут это блюдо в суд, дрожа, чтоб оно не развалилось, если подсудимый от своего признания откажется. Надо ли говорить, что при методах расследования, которыми пользовались Костоев и его товарищи, признание Стороженко само по себе значения не имело (оно, повторим, важно и очень полезно в самом процессе расследования: признаваясь, преступник может раскрыть обстоятельства, неизвестные следствию, но признание само по себе доказательством быть не может) — если бы он на суде отказался от своих показаний, это ни в малейшей степени не поколебало бы систему доказательств, изложенную в обвинительном заключении.

Но постоит, а как же другая бригада, та самая, что вела дело молодого прокурора Николая Гончарова, арестованного по «сигналу» бдительного пенсионера? Она тоже не сидела сложа руки, эта бригада, работала вовсю. Но прежде несколько слов о самом Николае Гончарове.

Он молод, он «силен, как лось», очень спортивен (разряды), выпускник свердловского института. В своей прокурорской работе он не раз вступал в конфликт с местными властями, с коллегами из милиции и прокуратуры, предвидел: с радостью ухватятся за любой «сигнал», — и когда почувствовал за собою слежку и тем более когда его вызвали на допрос, тотчас понял, откуда ветер дует. Но того, что произойдет дальше, он предвидеть не мог, просто не знал, что подобное может с ним произойти.

Источники, которыми я пользуюсь в рассказе о деле Николая Гончарова, — это документы, выписки из следственного дела (а оно велико, 17 томов, я читала их в Прокуратуре тогда еще РСФСР), копии приговора и другие. Но есть ситуации, которые документами подтверждены быть не могут, особенно если дело касается пытки, застенка — на том он и стоит, застенков, что

голоса узников оттуда не слышны, гаснут за глухими стенами. У меня записан разговор с Николаем Гончаровым — этот человек заслужил, чтобы его выслушали.

Когда его арестовали и он отказался признаться в убийствах, как того от него требовали, его бросили в подвал — бросили в буквальном смысле этого слова — на пол ударом сапога. А перед тем сорвали с него одежду, заломили руки за спину, защелкнули наручники — нарочно косо, чтобы впивались, — и вот он на полу в ледяной воде. Несмотря на то, что он «здоров, как лось», он понимает: тут ему не выдержать, хотя бы уж потому, что в скором времени «полетят почки».

Часы ползут или это уже дни ползут? Придет время, и ему швырнут какое-то омерзительное тряпье (одевайся!) и поведут на допрос. Следователей несколько, но среди них явно лидирует один. Пора все же его назвать — это небезызвестный Гдлян, именно так он начинал свою карьеру.

Разговаривал он, продолжает Гончаров, на чистом мате, то впадал в истерический крик («Передо мной министры стояли на коленях и плакали!»), то внезапно переходил к нарочитому спокойствию: «Ну как, признаваться будешь?»

Николай не отвечает, его бьет озноб.

— В подвал! — раздается команда.

И опять ледяная вода и холод до костей. Опять тянутся дни — чтобы не потерять им счет, он делает узелки на нитке, выдернутой из ветоши. За это время атлетическое тело Николая ссыхается в скелет: даже когда приносят похлебку (мука, разведенная водой), он боится ее есть — от нее сердцебиение, адская головная боль, однажды он нашел в ней нерастворившуюся таблетку.

И все же он оставался верен своему решению: не сдаваться.

Так вот и работала эта вторая следственная группа — параллельно Костоевской.

Наконец и эту вторую бригаду посетила удача — признался младший брат Николая Иван, признался в том, будто бы Николай сказал ему как-то, что убивает и насилует женщин. Признался Иван и даже написал «явку с повинной» — в том, что знал о преступлениях брата и не донес властям. «Подумав и осознав всю тяжесть преступления, совершенного моим братом Гончаровым Н. С., я не хочу стать укрывателем этих преступлений, так как вспомнил все разговоры брата, касающиеся факта насилия и убийств». А родителям своим он писал: «Мне прямо говорят, что убивал Николай. Ему докажут эти преступления, и его или признают дураком, или расстреляют, а мне за укрывательство дадут лет пятнадцать. Говорят, что Колька — шпион». Не только угрозы, однако, вынудили Ивана признаться, он рассказывает, что ему были предъявлены заключения экспертиз: на убитых женщинах нашли волосы, светлые, принадлежащие Николаю! (Кстати, Стороженко черноволос.) Можно предположить, что и в его похлебку попадали таинственные таблетки.

А Костоеву предстояло провести опознание вещей, которых было тем более много, что преступнику они должны были быть показаны в числе других, нейтральных, среди которых он должен

был опознать «свои», снятые с убитых. И Костоев решил провести это опознание следующим образом: он попросил у торга тридцать манекенов. Зрелище получилось нетривиальное. Искусственные дамы с их выставленными коленочками, жеманными пальчиками и локонами, опускающимися на глаза, стояли в платьях и шубках мертвых женщин.

— Да он у тебя с ума сойдет, — говорили Костоеву.

Но Костоев своего подследственного знал (и я сомневаюсь в правильности слов Р. Лурье, когда он писал, что Исса в ходе следствия Стороженко едва ли не полюбил). Тот с ума отнюдь не сошел, а двинулся по рядам, безошибочно узнавая вещи (и даже заметил подмену сапог — на той, сказал, были более ношенные). Ничто не дрогнуло в его красивом лице. Была тут некоторая забота, видно, хотел ответить правильно, была доля любопытства и больше ничего.

Что такое был Владимир Стороженко, видно из эпизода, который описан в книге Р. Лурье, но, как мне представляется, недостаточно динамично, во всяком случае, не с той долей свирепости, какой он отличался. Было это в московской тюрьме, куда Костоев перевел Стороженко. Тот сидел в комнате, где происходят встречи со следователями и адвокатами, и «выполнял 201-ю», иначе говоря, том за томом знакомился с материалами своего дела. При этом присутствовали: его адвокат, следователь из группы Костоева, которому нужно было уточнить некоторые детали, ну, и, конечно, конвой. Стороженко читал спокойно, но вдруг вскочил с перекошенным от ярости лицом: только сейчас, из материалов дела, он узнал, что арестован его брат. Костоев об этом не сказал — значит, скрыл. Стороженко был в бешенстве, конвой никак не мог с ним справиться.

— Где Костоев? — рычал Стороженко. — Я его убью! Я ему горло перерву.

Когда Костоев, которому сообщили, что происходит в «Матросской тишине», примчался в тюрьму, Стороженко с невероятными усилиями был заперт в своей камере.

А Костоев потребовал, чтобы подследственного вернули. Ему ответили: невозможно. Стороженко сейчас слишком опасен.

Но Костоев не мог допустить, чтобы подследственный остался в подобном состоянии. Он должен был с ним объясниться.

— Приведите, — приказал он.

Стороженко шел тюремным коридором в наручниках, его вели шесть человек. Он дрожал, как конь, рвался, рычал и таким предстал перед Иссой.

— Снимите с него наручники, — приказал Исса.

— Нельзя этого делать, — ответили ему, — нельзя, вы же сами видите.

— Снимите, — повторил Исса.

Приказание его выполнили.

— А теперь оставьте нас одних, — сказал Костоев.

И это они через силу выполнили.

И вот они стояли друг против друга, преступник и следователь.

— Ты же хотел меня убивать, — сказал Исса. — Давай убивай.

Преступник тяжело дышал, молчал, не двигался.

— А если бы я тебе сказал об аресте брата? Мне бы это ничего не дало, а тебе причиноло бы лишние и бессмысленные мучения. Стороженко молчал.

— А может быть, — повышая голос, сказал Костоев, — ты хотел расплатиться со мной за то, что я перевел тебя сюда, в Москву, потому что там, в смоленской тюрьме, тебя могли убить? Или за то, что я организовал охрану твоей несчастной жены, с которой толпа собиралась расправиться? Что же ты меня не убиваешь — вот я.

Стороженко упал на стул, уронил голову на руки. Припадок проходил.

Дело его было направлено в суд. Начался знаменитый процесс.

Ну, а Николай Гончаров — вы думаете, его выпустили? Ничуть не бывало. Он по-прежнему сидел в тюрьме, как и его брат Иван. Уже Стороженко осудили, уже приговорили к расстрелу, может быть, уже и расстреляли, а братья Гончаровы все сидели и сидели. Прокуратура Союза продлила срок содержания под стражей — это невероятно, но это именно так: зам. генерального прокурора страны продлил этот срок.

А потом Николая судили. За что же?

Ему предъявили разом двадцать (именно двадцать, не больше и не меньше) обвинений. Судили его за то, что он, вступив в преступный сговор с родной матерью, способствовал повышению ее пенсии и тем самым «хищению государственных средств» (мать Гончарова Мария Романовна всю жизнь вкалывала в колхозе, мы помним, каковы были тогда колхозные пенсии, речь вообще шла о копейках — мы уж не говорим о том, что самого преступления, сговора, хищения вообще не существовало, — тем не менее следователи этой второй группы таскали ее на допросы, орала на нее, грозили арестом, она возвращалась домой едва живая). А еще судили Николая за то, что он якобы присвоил себе изъятый у браконьера старый бредень (Николай утверждает, что у него по этому поводу изъяли его собственный новый и выдали за старый), при всех условиях присвоение бредня доказано не было. Количество подобного рода статей показывает намерение этой группы следователей из двадцати рябчиков сделать одну цельную лошадь. Судили Николая также и за нарушение правил уличного движения, будто бы приведшее к какой-то аварии; за то, что «склонял должностных лиц к подлогу» и вследствие чего получил бюллетень (Бог знает почему объявленный следователями незаконным) и тем самым «нанес ущерб государству» в размере 47 рублей.

Вовсе дохлыми были следовательские рябчики.

Эпизод по обвинению в получении взятки разрабатывал сам Гдлян, как известно, большой специалист в этом деле.

В суде дело развалилось (из двадцати эпизодов судьи оставили шесть, да и то, подозреваю, чтобы можно было не оправдывать подсудимых — оправдательных приговоров в те времена наша юстиция не знала). Но самым жалким и даже комическим образом развалился именно эпизод со взяткой, разработанный Гдлян

ном. Предполагаемый взяточдатель подробнейшим образом рассказал на суде, как шел в кабинет прокурора Гончарова давать ему взятку, где был поворот коридора, где дверь, но оказалось, что в здании, уже после описываемых событий, произошла перепланировка, и судья под смех зала спросил несчастного, как удалось ему проникнуть в кабинет прокурора Гончарова напрямик через печь.

Николай и его брат получили уже отсиженное (верный знак, как правило, того, что подсудимые были невиновны и просидели зря). Вышел Иван, не выдержавший нажима, сломленный, помнящий, что предал старшего брата своей «явкой с повинной» (да только он ли в этой «явке» виноват?). Вышел Николай — не сломленный. Правда, веру в правосудие, в людей он потерял окончательно, когда оказалось, что никогда не сможет он добиться правды и наказания виновных в беззакониях. Но в жизнь он вернулся.

И твердо убежден, что, не будь Иссы Костоева, быть бы ему, Николаю Гончарову, расстрелянным.

Я тоже так думаю: прошло бы еще с полгода, и Гончаров, может быть, признался бы во всех двенадцати убийствах (может, и в тринадцати — пятнадцати), если бы над смоленской прокуратурой «висели» (есть жаргонный термин — «висяк») еще какие-нибудь убийства; и на место преступлений его бы выводили, и на видео бы снимали, а он стоял бы с вытянутым пальцем, здесь, мол, я ее убил. А впрочем, сознался бы он или не сознался, его все равно судили бы как убийцу и садиста. И в городе проклинали бы его (удивительно, как в подобных случаях бывают доверчивы наши люди — знают о массовых беззакониях, о пытках, не раз читали в газетах о случаях, когда бывал казнен невиновный, и все-таки верят, так хочется им, чтоб убийца был схвачен и казнен).

А Стороженко сидел бы в зале суда и слушал — вполне со знанием дела.

— Сколько буду жить, — сказал мне при встрече Николай Гончаров, — буду помнить, что жизнью своей я обязан Костоеву.

Вот каким значительным и емким оказалось дело смоленского убийцы. И Костоев предстал перед нами победителем. Если представить себе все те силы, против которых он борется (и о которых мы еще не раз будем говорить), неким дьявольским началом, то Исса, вне всякого сомнения, стоит в рядах сражающегося рыцарства неким Георгием Победоносцем.

Между тем смоленская история еще не кончена. Более того, нам предстоит познакомиться с одним из эпизодов ее, быть может, из всех других самым значительным.

Вы помните, конечно, эпизод, когда Стороженко, рассказывая о своих преступлениях, упомянул убийство женщины у озера, двенадцатое по числу, о котором Костоев ничего не знал и обнаружил, что за это убийство был осужден муж убитой — ни в чем не повинный Поляков. Прекратив его дело и освободив его самого, Костоев тогда же возбудил дело против работников милиции, которые заставили несчастного человека, только что так страшно

потерявшего жену, еще взвалить на себя ее убийство. Возбуждение уголовного дела против сотрудников правоохранительных органов — шаг в то время редкий, а для нас очень важный, потому что перед нами раскрывается новая грань личности следователя Исы Костоева — его масштаб как юриста-профессионала, ну, и как гражданина тоже.

Борьба Костоева с преступностью внутри правовых органов — важная составляющая в его профессиональной деятельности.

Читаю первый том дела о нарушении законности со стороны работников милиции. З. Атаманова (она работала в следственной группе Костоева, это ей потерпевшая К. поведала свою страшную историю, это ей жена Стороженко рассказала о серьгах кольцами) знакомится с делом слесаря дома-интерната Полякова В. Ф., который обвинен в том, что публично ругался нецензурными словами (удостоверено двумя свидетелями), и получил за это 15 суток. Вместе с понятными Атаманова осматривает журнал учета лиц, содержащихся в спецприемнике, и убеждается, что слесарь Поляков в этом журнале не значится.

Человек несведущий перелистывает эти страницы равнодушной рукой. Ну, сквернословил слесарь, ну, не значится в спецприемнике, но опытный юрист тотчас наводит уши: куда же делся Поляков? Если он получил 15 суток, он должен быть водворен именно в спецприемник.

Из дальнейших документов становится ясно, что Поляков почему-то оказался не в спецприемнике, а в ИВС (это то, что раньше называлось у милиции КПЗ.)

Почему? Атаманова отмечает при этом: «В материалах уголовно-розыскного дела отсутствуют данные, кем был задержан и водворен в ИВС Поляков, сколько содержался и кем освобожден, не указано время содержания Полякова, неизвестно также, привлекался ли он к административной ответственности».

Далее идет постановление Костоева. Мы узнаем, что на самом деле слесарь нецензурно вовсе не ругался, что протокол об этом был фиктивен, составил его старший инспектор ОУР Смоленского РОВД. Зачем?

Сам инспектор ответил на допросе — «по указанию вышестоящего лица». А свидетели? Допрошенные, они показали, что подписывали протокол по просьбе того же старшего инспектора, ничего не зная, не ведая и в глаза не видавши Полякова. Но ведь дело по обвинению Полякова прошло через суд! Народный судья показал на допросе, что работники милиции Полякова к нему не приводили, а вместо него просто прислали протокол, на основании которого он, судья, и посадил Полякова на 15 суток.

Вот, оказывается, как такие дела делаются, попросту, по-домашнему. Нужно милиции кого-то арестовать, а что делать, если никаких оснований к тому нет? Придумывают такое вот — нецензурно ругался или провоцировал драку — и через суд оформляют его административный арест.

Ну, теперь, я полагаю, любому ясно: разрабатывая версию Полякова, милиция арестовала его по ложному обвинению в мелком хулиганстве — явное свидетельство того, что работникам подобного толка главное — получить человека в свою полную

власть, взять в клещи. И Поляков очень скоро написал заявление о «явке с повинной» (о, эти «явки с повинной» с их чистосердечным раскаянием, выраженным неизменно одними и теми же словами!), где рассказал, как они с женой шли, зашли в кусты, выпили, она ему призналась, что любит другого, поэтому он ее и убил. Но толком ничего не помнит (у него «психи в голове начались»), помнит только, что ударил ровно три раза, зато точно помнит, куда (чего, кстати, такие «внезапные убийцы», как правило, никогда не помнят, это, конечно, написано по данным судебно-медицинской экспертизы), а потом бросил нож в озеро. Дело отправилось в суд — с какими же доказательствами? Ножа в озере, как мы знаем, не нашли, бутылки в кустах, где Поляков и его жена Таня будто бы выпивали, тоже. В качестве доказательств было признание подсудимого, подтвержденное: 1) свидетельством тестя, что Виктор с Таней жили плохо (мы знаем: они как раз собирались зарегистрировать свой до того не зарегистрированный брак), 2) показаниями соседа, который сказал, что Виктор искал жену, искал, а потом заявил: чего ее, покойницу, искать (слова, конечно, искаженные, Поляков высказал опасение, что его пропавшей жены скорее всего уже нет в живых). Вот и все доказательства. Впрочем, нет, было еще одно, шедшее, по-видимому, за козырного туза: Поляков, признаваясь, верно указал место, что неудивительно, тем более что о нем знали все окрестные жители. Виктор был осужден на восемь лет, и мне интересно было бы знать, как смотрели людям в глаза те судьи, что его осудили.

А уголовное дело относительно сотрудников милиции, возбужденное Иссой Костоевым, к своему производству принял В. Степанов, следователь по особо важным делам той же самой Прокуратуры России, где работал и Костоев.

Кажется, первым следственным действием Степанова было отдельное поручение, направленное им прокурору небольшого городка Ташкентской области. Степанов просил допросить сестру погибшей Тани и узнать, как может она охарактеризовать Полякова; особенная просьба заключалась в том, чтобы выяснить, не присущи ли ему безволие и легкая внушаемость. Честно говоря, такое начало мне не понравилось. Далее я страницы дела уже просто листаю: опять запрос о характеристике и ответ соответствующего учреждения и опять. Поскольку Полякова много мотало по свету и он все время менял места работы, запросы летели в разные концы страны, так что работа шла энергично. Степанов прервал ее лишь затем, чтобы просить вышестоящую прокурорскую инстанцию о продлении срока расследования ввиду его сложности, и затем продолжал, получая на свои запросы подробные ответы. Чего тут только нет: и характеристики (по большей части скверные), и выписки из трудовых книжек, и справки о начислении зарплаты, целые простыни материалов учета.

Не странно ли, однако, что дело о преступлении милиции против правосудия начинается со столь подробной характеристики их жертвы — на 120 страниц.

Читаем дальше, и вот только на 124-й странице наконец впервые возникли имена сотрудников милиции.

Зам. начальника ОУР Смоленского УВД Сергеев — по-види-

тому, то самое «вышестоящее лицо», которое отдало распоряжение об административном аресте Полякова. Тут тоже идут характеристики — на Сергеева и еще двоих сотрудников милиции, но какие прекрасные на этот раз! Все эти работники, все без исключения, пользуются авторитетом, все повышают свою профессиональную квалификацию, все морально устойчивы, все передают свой богатый опыт молодежи (не мрачновато ли это последнее звучит?). Самая блестящая характеристика именно у Сергеева: «отличник милиции», член парткома УВД, уж он-то как бы особенно морально устойчив; и в послужном списке одни лишь награды.

Так. Идем дальше.

Рапорт о том, что Поляков был помещен в ИВС потому, что в спецприемнике не было места (не по злому, мол, умыслу держали его в ИВС милиции — прием достаточно избитый: когда человека незаконно держат в ИВС, всегда оказывается, что ни в тюрьме, ни в спецприемнике, нигде для него не было места).

Но вскоре тревога моя прошла. Следователь установил, что сотрудники милиции Сергеев, Антоненко и Никитин необоснованно заподозрили Полякова в убийстве жены, допрашивали (без протокола!), требовали признания, доводы о невинности полностью игнорировали, грубо нарушив тем самым статью 20 («следователь и лицо, производившее дознание, обязаны принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, выявить как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого обстоятельства», а также «не вправе перекладывать обязанность доказывания на обвиняемого»), статью 52 (права подозреваемого), статьи 102 и 141 (обязательность ведения протокола, который «должен содержать указание на место и дату производства процессуального действия с обозначением времени его начала и окончания и на лиц, принимавших участие в его производстве», подписывается соответствующим строго установленным способом, прочитывается «всем лицам, участвующим в производстве следственного действия»).

Вот как, согласно УПК, обязаны были работать сотрудники милиции, но им соблюдение статей УПК и в голову не приходило.

Разобрался Степанов, разумеется, и в истории с помещением Полякова в ИВС: Сергеев поручил инспектору Задворочному в течение месяца проверить поведение Полякова и в случае мелкого хулиганства добиться его административного ареста (тех самых 15 суток, которые давно уже стали методом расправы или способом добиться признания). Сотрудники милиции, пишет далее Степанов, полностью игнорировали обстоятельства, противоречащие версии убийства, отказались проверить доводы Полякова о его невинности.

Когда Поляков был задержан (с нарушением еще и статьи 122 УПК, которая определяет, в каких случаях власти вправе задерживать подозреваемого, и предписывает: орган дознания обязан составить протокол с указанием оснований мотивов задержания и в течение двадцати четырех часов сделать об этом сообщение прокурору, который «в течение сорока восьми часов обязан либо дать санкцию на заключение под стражу, либо освободить задер-

жанного»), он, Поляков, разумеется, не знал, сколько явных и наглых нарушений закона совершено при его аресте сотрудниками милиции, но он очень хорошо знал, что попал в их полную власть. Посадив его в ИВС, работники милиции приходили сюда неоднократно, требовали признаний, а когда он все-таки отказался, то морально устойчивый Сергеев ударил его ребром ладони по шее.

Удар этот не простой. Мне рассказывали люди, прошедшие подобную «милицейскую обработку», что он следов не оставляет, зато мгновенно отключает сознание, а потом поселяет в душе погибельный страх.

Поляков рассказал также, что Сергеев и Антоненко, особенно активны были эти двое, угрожали отбить ему почки, подвести под расстрел и что у него не было ни малейших сомнений в их способности и возможностях привести эти угрозы в исполнение. Он сразу понял, что с ним могут сделать все, что угодно, и все дальнейшие события, и следствие, и суд (который мы должны, конечно, поставить в кавычки) в том его настолько убедили, что он решил никогда никуда не жаловаться. Всю историю, которую он излагал в своей «явке с повинной», ему, разумеется, продиктовали.

Когда Степанов, допрашивая Сергеева, спросил его, к примеру, о фиктивном протоколе и водворении Полякова в ИВС, тот ответил, что действительно отдал распоряжение инспектору Задворочному добиться административного ареста Полякова, но только в том случае, если тот действительно совершит мелкое хулиганство. Составление фиктивного протокола? Такого у него и в мыслях не было.

Нетрудно понять, в каком положении оказался старший инспектор Задворочный. Приказ был недвусмыслен — арестовать, оперативно обработать, склонить к признанию.

Сформулирован же он был так двусмысленно, что в случае чего вся ответственность ложилась на инспектора, который, конечно, понимал, в чем заключается ловушка, но избежать ее был бессильен, даже если бы и хотел. Маленький механизм этот так и сработал, Задворочный был уволен из органов милиции (и характеристика на него следствию была прислана примерно такая: был хороший, а стал плохой).

Но возникает вопрос: на каком основании милиционеры вообще допрашивали Полякова (и свидетелей), если у них не было на этот счет поручения от следователя Астащенко, который вел дело? Так потому мы и не составляли протокола, ответили сотрудники милиции, что поручения следователя у нас не было. Было бы поручение, мы бы и протокол вели.

На главный вопрос: почему Поляков признался в убийстве жены, которого не совершал? — Сергеев и два других работника милиции ответили единодушно: «Нам непонятно, почему Поляков оговорил себя в убийстве».

Следователь Астащенко ответил, что получил дело уже вместе с «явкой с повинной» и был убежден в вине Полякова. И милиционеры были в ней убеждены. А они на каких основаниях?

Да на тех самых основаниях: признался! И тем сбил их с толку! Большое впечатление произвело на них не только его признание,

но и тот факт, что он правильно показал место, где нашли его убитую жену.

Такая постановка вопроса Степанову, представьте, понравилась. Получалось, что сам Поляков виноват в своем осуждении. «При производстве следственного действия, — писал Степанов, — Поляков, зная место обнаружения трупа, указал его правильно, чем дезориентировал следствие и суд при оценке доказательного значения этого следственного действия», да к тому же и после приговора не жаловался.

Ну, в самом деле, разве не любопытное расследование?

Серьезно говоря, Степанов, конечно, с самого начала вел дело к такому результату, недаром же начал он расследование с запроса в далекую Ташкентскую область, не является ли Поляков человеком слабым и безвольным. Эта изначальная мысль была положена в основу конечных выводов: Поляков — личность сомнительная, выпивал, часто увольнялся, по характеру «безволен, апатичен, безразличен к своей судьбе». О невиновности своей не заявлял (негодяй) ни следователю, ни суду, ни в какие-либо другие правовые инстанции. Кроме его показаний, других доказательств вины работников милиции следователь Степанов не усмотрел и написал: «Возможности следствия исчерпаны». И вот заключение: «С учетом позиции Полякова на следствии и в суде» следствие пришло к заключению, что вина Сергеева и двоих других милиционеров не доказана.

Ну а как быть с беззакониями, выявленными и доказанными? И тут ничего страшного, убеждает нас следователь Степанов. «Допущенные при проведении оперативно-розыскной работы по делу нарушения норм уголовно-процессуального закона следствие расценивает как административное правонарушение, поскольку оно не стоит в прямой причинной связи с признанием Поляковым своей вины в убийстве и его необоснованным осуждением».

«Не стоит в прямой причинной связи!» — формулировка замечательная. С чем же он стоит тогда в прямой причинной связи, этот незаконный арест, и для чего был нужен?!

Но Степанов продолжает настаивать: «и фиктивный протокол нельзя рассматривать в качестве одного из способов принуждения к самооговору», впрочем, он целиком на совести инспектора Задворочного, который за это и наказан. И действия следователя Асташенкова следует расценивать как дисциплинарные нарушения, «ответственность за которые наступает в дисциплинарном порядке». Последнее замечание Степанов сделал, надо думать, в шутку, поскольку хорошо знает, что дисциплинарная ответственность согласно «Положению о поощрениях и дисциплинарной ответственности прокуроров и следователей органов прокуратуры» может быть наложена только в течение одного года, а практически, надо думать, не наступает никогда, поскольку следствие у нас длится долго, подчас годами!

Заканчивает свою работу Степанов словами, вовсе невероятными в устах юриста: «...Учитывая, что никаких данных о невиновности Полякова на момент расследования дела у них (работников милиции. — О. Ч.) не было», он, Степанов, дело прекращает.

Всем обществом не перестаем мы удивляться, как это так получается, по каким законам, божеским или человеческим, происходит, что следователь да и любой другой сотрудник правоохранительной или судебной системы, очевидно и грубо нарушившие закон, никак за это не отвечают. Суд, как правило, не выносит по его адресу частных определений, не привлекает его к уголовной ответственности. А непосредственное начальство неизменно защищают.

Мы стали и еще не раз станем свидетелями поразительного явления: столкнувшись с явным беззаконием, наша юстиция не вспыхивает гневом и не сгорает от стыда.

Она привыкла! И следователи, и прокуроры, и судьи.

Итак, дело, возбужденное Костоевым, было закрыто и на этот раз. Наш герой потерпел поражение. Столкнувшись с могучей корпорацией, а точнее говоря, с самой системой, он и не мог победить. Его обошел его коллега, чей кабинет был неподалеку от костоевского, эти два юриста работали в одном коридоре, оба были следователями по особо важным делам Прокуратуры России. Один сделал для правосудия все, что мог: нашел и обезвредил убийцу, освободил из тюрьмы невинно осужденного, призвал к ответу тех, кто вырвал у него ложное признание. Огонь правосудия (позволим себе выразиться так, несколько высокопарно) был ярко зажжен профессионалом и чисто горел, — непрофессионал же немедленно загасил его, залил мутными и лживыми рассуждениями. Как видно, в понятие профессионализма, впрочем, это вне всяких сомнений, входят и этические основы профессии.

Создается впечатление, будто такая раздвоенность проходит трещиной по всему аппарату правоохранительных органов, едва ли не сверху донизу. Конечно, страшно делать столь ответственные выводы, но деятелей обоих направлений, высшего и низшего уровня правового сознания и правовой практики, приходится встречать на самых разных этажах этого аппарата.

Нетрудно представить, в каком бешенстве был Костоев, когда узнал, что Степанов прекратил дело о нарушении закона работниками милиции и все виновные остались при своих должностях. Конечно, подобные преступления доказать нелегко, следы застенка тюремная медицина редко когда фиксирует (и это особый, тоже весьма болезненный вопрос — тюремная медицина, она, конечно, должна быть выведена из МВД и подчинена Минздраву). Но не ясно ли, что работник дознания или следователь, у которого невинный человек (не сумасшедший, в здравом уме) признался в преступлении, да еще в таком тяжком, просто не может, не должен работать в правоохранительных органах (независимо от того, удалось ли найти и доказать следы физических или нравственных пыток).

— Поймал я Стороженко, — рассказывает мне Костоев, — и сразу же поехал в отпуск. Стоял в тамбуре, смотрел в окно и был счастлив: никогда этот убийца никого больше не убьет.

Он и в самом деле счастливо светлеет, вспоминая.

— А после отпуска мне предстоял Ростов и новое дело...

Но по мере того, как он говорит, глаза его темнеют, в них появляется что-то мрачное, угрюмое, такими я их никогда не видела.

— Неужто страшнее Стороженко? — спрашиваю.

— Стороженко — убийца и садист, но как противник для меня он был все равно что овца. А этот...

Исса подумал и сказал как-то особо тяжело:

— Опасней и страшней человека я не видел.

Старший следователь ростовской городской прокуратуры Нюриса Ефимовна Кузьмина занималась невеселым делом: в следственной тюрьме разбирала вещи покончившего с собой, искала хоть что-нибудь, что пролило бы свет на самоубийство, и, по-видимому, нашла то, что искала. Записка, в ней значилось: «Вася, где твои 200%? Я сижу, делай все, что обещал. Ты обставлен деньгами. Жду семь дней». Через семь дней этому человеку должны были предъявить обвинение. Ответа он не дождался.

Стала Нюриса Ефимовна допрашивать сокамерников погибшего, они рассказали, что тот ждал помощи от некоего Васи и собирался, если помощи не будет, сделать какие-то важные разоблачения. Значит, «жду семь дней» было угрозой? Может быть, в связи с этой угрозой его и убрали?

Может быть, но доказательств тому не было никаких. От тех же сокамерников Кузьмина узнала, что погибший писал этому «Васе» записки, вкладывал их в письма к жене, а поскольку Васиного адреса не знал, то и просил жену опускать их в почтовый ящик такой-то квартиры семиэтажного белокирпичного дома, расположенного возле магазина «Весна». Проверить все это было нетрудно: в городе один магазин «Весна», а возле него единственный семиэтажный дом белого кирпича. В названной квартире жил работник областной прокуратуры по имени Василий.

Обо всем этом Кузьмина сообщила своему непосредственному начальнику Кумскому, тот сказал, что сам доложит руководству.

Но не доложил, а, напротив, и записку погибшего, и протоколы допросов его сокамерников почему-то запер у себя в сейфе.

Будь Нюриса Ефимовна Кузьмина менее смелым человеком, не было бы и самого дела. Но она была человеком смелым и доложила о событии в следственной тюрьме в прокуратуру города.

А смелость от нее требовалась немалая: у Кумского была репутация страшного человека. В Ростове, говорят, только воробьи не чирикали о том, что Кумский — человек страшный; это удивительно, как все его боятся, и, что бы он ни откалывал, все ему сходило с рук. И вот теперь оказалось, что он замешан в дело о взятках, открывшееся в связи с самоубийством заключенного. Замешан? В Ростове были убеждены: не «замешан», а главная его пружина. Потому что более наглого взяточника на свете не бывало, и этот волк все равно из любой ловушки уйдет. Ведь было уже однажды: против него возбудили разом два уголовных дела, а кончилось тем, что из старших следователей горпрокуратуры он стал заместителем прокурора города. Уже тогда кто-то явно пока-

зал: Кумского мы вам не отдадим. Вот каким делом предстояло заняться Костоеву.

Личное дело Кумского было ангельски чистым. Окончил харьковский институт, работал следователем в сельском районе, потом перешел в райпрокуратуру Ростова. Но Костоев запросил архив и узнал, что карьера была куда сложнее: да, сразу же после института Кумский работал следователем прокуратуры Полтавского района. В этом сельском районе к нему, двадцатитрехлетнему парню, нередко попадали на допрос темные, робкие женщины, и он пользовался их вековечным страхом, вынимал, например, из своего следственного портфеля фотоувеличитель, выдавал за какую-то страшную «электрическую машину», направлял на допрашиваемую, и та, бледнея, либо падала в обморок, либо подписывала все, что от нее требовали (бывало, что ее в шоковом состоянии увозили в больницу). За эти и другие дела Кумский был из прокуратуры уволен. Заглянул Костоев и в более ранние времена. Это уже почти детство? Да, почти детство, Кумскому пятнадцать, он живет на территории, занятой немцами, и никто, разумеется, не станет его корить тем, что он вместе с сотнями тысяч других несчастных оказался на земле, занятой врагом, или за то, что вынужден был устроиться на какую-то работу, не о том речь. Работая на немецкой бирже, юный Кумский разносил повестки тем, кого должны были угнать в Германию, и, по свидетельству очевидца, «с нескрываемым удовольствием рассказывал: когда он приходит к людям с повестками, то его очень боятся и ему это приятно». Вот такой рос редкий мальчик.

Затем районная прокуратура Ростова, из которой он вдруг ушел в адвокатуру, почему? Личное дело на этот вопрос ответа не дает, равно как и не объясняет, каким образом новоявленный адвокат объявился в Сухуми следователем. Зато многое объяснил следующий эпизод. В Прокуратуру Грузии пришло частное определение, вынесенное Президиумом Верховного Суда РСФСР, где говорилось о беззакониях Кумского, совершенных им во время работы в Ростове (так вот почему он ушел тогда в адвокатуру, а потом уехал из Ростова — таким образом спрятался от ответственности или, может быть, его спрятали?). Прокурор Грузии вызвал его и сказал, что его увольняет.

— Как уволите, так и восстановите, — ответил Кумский.

И действительно, из Прокуратуры Союза пришла рекомендация оставить Кумского на работе. Стало ясно: за парнем мощная лапа. И когда года через два Кумский на своей машине сбил маленького мальчика и «с места происшествия скрылся», дело против него прекратили. Правда, сам он вынужден был из Сухуми уехать. Но куда? Да обратно же в Ростов, на этот раз уже прямо в городскую прокуратуру, протесты иных ее ответственных работников против его назначения ни к чему не привели, им возразили: юрист сильный и опытный, раскрывал большие, сложные дела.

Да и Костоев знал: это сильный, наступательный следователь (как раз таких он, Костоев, и любит), к тому же упорен, даже педантичен, от своей цели никогда не отступает.

Все это верно, только вот, попав к нему, иные дела вдруг чудесным образом преображаются. Было, к примеру, дело работников мебельно-хозяйственного магазина, которым некая кладовщица сбывала для продажи краденные ею товары. И сама она рассказала правду, и работники магазина и документы — все их преступления подтверждало. Но когда дело попало к Кумскому, работники магазина вдруг заявили, что кладовщица им ничего не привозила, что она свои товары увозила куда-то и продавала неизвестно кому. Оказалось, что подобный ход подсказал им сам Кумский и прибавил, смеясь: «Пусть оперативники поищут этого неизвестного!» Он собрал их всех в своем кабинете (под видом очной ставки), чтобы уговорили бедную кладовщицу взять вину на себя (за соответствующее вознаграждение). Она, может быть, и отказалась бы, но требовал от нее таких показаний сам Кумский! И стоило это преступникам пять тысяч рублей — тогда большая сумма.

Изучал Костоев разные дела и все больше убеждался: да, это знающий юрист, советы, которые он давал тем, кто ему платил, были высокопрофессиональны (его кабинет стал местом хитроумных сделок, торга и сговора), он хорошо знал, каким документам дать ход, какие придержать, а какие и вовсе отправить в архив навеки. Концы в воду. Высокопрофессионально сколачивались тут липовые дела.

Сильный, наступательный следователь, спору нет. Однажды ему нужно было получить показания от женщины, которая ждала ребенка. Он пришел к ней не сразу, а когда ребенку был месяц, и сказал: «Посмотри на него в последний раз», — и, арестовав ее, поместил в тюремную камеру. Было знойное лето, в жаре, духоте, в тесноте камеры женщины задыхались, а эта еще и обливалась молоком, еще и сходила с ума при мысли о ребенке. Вот тогда-то и вызвал ее на допрос следователь Кумский, тогда-то и получил нужные ему показания.

Но, стойте, может быть, рассказ этот преувеличен? Нет, Костоев проверил, все оказалось правдой вплоть до фразы «Посмотри на него в последний раз», которую запомнили понятые, присутствовавшие при аресте.

Многое знал теперь о Кумском Костоев. Видел не раз, разумеется, и его самого — высокий, лысый, с бахромой светлых волос по краю черепа, на длинном, узком лице глядят холодно-светлые глаза.

В своем кабинете (ему предоставили помещение в здании местного КГБ) Костоев, «важняк» Прокуратуры РСФСР, сидел над томами дел, над ворохами документов, копал глубоко, допрашивал десятки людей, извлекал из архивов утаенные счета и акты ревизии, вытаскивал спрятанные в воду концы.

А в другом кабинете, в прокуратуре Ростова, зам. прокурора города принимал контрмеры.

Уже все было ясно, уже шли аресты в Ростове, и люди гадали, удастся ли этому храброму следователю из Москвы взять такого матерого зверя.

Работала костоевская группа по делу Кумского долго и упорно, добывая все новые и свежие факты. Ну, конечно, алчность нена-

сытная, тяга к дорогим вещам неодолимая — скупает ковры, хрусталь, драгоценности; ездит по городам в поисках антиквариата.

Но главное, конечно, не в этом: Кумский был просто ас по части вымогательства.

Ректорат Ростовского медицинского института переслал в прокуратуру города заявление некой женщины, которая сообщала, будто сотрудник института доцент Кононов взял с нее взятку, пообещав, что ее дочь будет зачислена студенткой. Однако при попытках выяснить, когда, где, при каких обстоятельствах была дана эта взятка, женщина ничего объяснить не смогла, вконец запуталась — возникло даже впечатление, что она была орудием в руках ректората. Но дело попало к Кумскому, который недвусмысленно дал понять доценту, что может прекратить это его дело (разумеется, не безвозмездно), и вот у нас есть редкая возможность узнать, каким образом, на уровне каких слов происходят подобного рода разговоры.

«Кумский сказал, — пишет Кононов, — что моя судьба в его руках». «Я следователь, — сказал он, — от меня зависит многое. Быть человеку в тюрьме или на свободе». Я заметил ему, что этот вопрос решает закон. А Кумский ответил: «Закон сейчас в моих руках. Захочу и признаю отсутствие состава преступления, а не захочу — будете сидеть 11—12 лет, писать жалобы, которых никто не будет читать. Есть разница между свободой и тюрьмой, сейчас она такая же, как между вашей «Волгой» и моими «Жигулями». Я еще раз спросил, какая разница, и Кумский ответил: «Ты же кандидат наук, думай — разница в пять тысяч». Он объяснил, что пять тысяч решат мою судьбу — быть мне в тюрьме или на свободе. И прибавил: «Думай, время не ждет». И дал свой служебный телефон».

Собрались родные, друзья, доцент с возмущением рассказал им, чего требует Кумский, все были взволнованы, одни энергично поддерживали Кононова в его решении не сдаваться, другие, напротив, горячо советовали не ссориться со следователем, да еще таким, как Кумский, и предлагали деньги взаймы.

Среди собравшихся оказался сотрудник прокуратуры, он поехал к Кумскому, вернулся мрачным — настаивает, сказал, на пяти тысячах и грозит: «Если к праздникам не принесет, после праздников я его арестую».

Не таясь, не скрываясь, ничего не боясь.

Кононов денег не принес и после праздников был арестован.

Но Кумский, как вы помните, — большой педант, человек последовательный. На первом же допросе он спросил уже арестованного, не передумал ли тот.

Кононов не передумал.

И вот сидевший с ним в камере некто Григорьев, уже осужденный, стал усердно его уговаривать: единственный-де способ спастись — дать Кумскому деньги.

Потом тот же Григорьев с теми же уговорами пришел в семью Кононова, к его жене и матери. Как же осужденный пришел из тюрьмы? Вот именно, что из тюрьмы его на минуточку выпустили, чтобы уговорил этих женщин, мать Кононова и его жену, и он пошел, уговаривал, кстати, взял с них триста рублей (без

отдачи) и вернулся в тюрьму. Несчастные женщины с отчаяния, может быть, и согласились бы на взятку, но сам Кононов решил не сдаваться. И действительно продолжал борьбу и в суде, который его осудил, и после суда, и в колонии. Его жалоб никто ни читал.

Бывает так, что в инстанциях, куда заключенный упорно жалуется, ему создают репутацию патологического склочника, почти что психа, новые его заявления встречают уже едва ли не смехом (и, разумеется, не читают): а этот, мол, опять за свое!

А Костоев заявления Кононова как раз внимательно читал и находил в них любопытные вещи. Так, например, доцент, повстречав в колонии людей, тоже бывших жертвами Кумского, написал и о них. Тогда Кумский подал в прокуратуру рапорт, против Кононова было возбуждено уголовное дело по обвинению в клевете на следователя, и доценту добавили срок в три года.

Стол в одном из кабинетов городской прокуратуры. Стол в одном из кабинетов здания ростовского КГБ. И словно бы молнии снуют между этими двумя столами.

Пока Костоев расследует, Кумский нажимает тайные пружины (дает сигналы своей «мощной лапе»). Когда Костоев вызывает свидетелей, Кумский их перехватывает, говорит: «Этот следователь из Москвы, он в Москву же и уедет, а я, между прочим, остаюсь здесь. Имейте в виду». Они имели в виду. Многие знали: Кумский свидетелей берет в клещи, сам и готовит их к суду (что говорить, что нет), иногда даже подвозит их в суд на своей машине, сам же и сидит в суде, не спуская с них своих недвижных глаз.

Но у Костоева уже было достаточно материала для ареста, и он поехал в Москву за санкцией.

А в Прокуратуре Союза дать санкцию на арест отказались. И в прокуратуре Ростова тотчас узнали, что Костоев ездил в Москву за санкцией, да вернулся ни с чем (кто-то в тогдашнем руководстве Прокуратуры Союза Кумскому ворожил).

То был сильнейший удар по следственной группе Костоева.

Немало страшного повидал Костоев, но тут начиналось уже нечто иррациональное, близкое ночному кошмару.

Вызвал он к себе крупного врача, подполковника Л., воевавшего всю войну, уважаемого человека. Они разговаривали, и Костоев знал, что в черепе этого человека сидит гвоздь.

— Да, гвоздь, — говорит Костоев, — и, черт побери, я ни на минутку не могу забыть об этом гвозде!

Гвоздь снаружи виден не был, зато был отчетливо виден на рентгеновских снимках, которые лежали перед Костоевым.

Главврач городской больницы Л., вернувшись из отпуска, к своему изумлению, узнал, что против него возбуждено уголовное дело, кажется, по факту халатности; ведет Кумский. В больнице только что прошла ревизия, никаких нарушений не обнаружившая. Доктор ничего не мог понять и сам пошел к Кумскому.

Разговор их был странен, следователь все время повторял ставшее знаменитым: «Был бы человек, а статья найдется». Догады-

вался ли доктор, что у него вымогают взятку? И да, и нет, но, чувствуя себя ни в чем не виноватым, решил тактики Кумского не понимать.

Тогда следователь стал впрямую орать, что сгноит его в тюрьме. За что же?! На каких основаниях?!

«Был бы человек, а статья найдется».

Однажды, например, в родильном отделении больницы прорвало водопроводные трубы, ремонт требовался большой и срочный (ведь родильное отделение, роженицы и новорожденные!), однако ни средств на него, ни материалов, ни мастеров у главврача не было. И он оформил на полставки одного из докторов, чтобы, с его согласия, разумеется, уплатить эти деньги шабашникам, которые брались сделать все быстро (и наверняка сделали бы хорошо). Вот вам и преступление, вот и статья.

Словом, Кумский доктора арестовал, допросил, и больше они не виделись. Да, представьте себе, шли недели, месяцы, подполковник требовал следователя, а тот и не думал являться. Между тем жизнь с уголовниками в камере была невыносимой, доктор метался в ужасе от того чудовищного, что с ним вдруг произошло, от бесправия своего, от бессилия. Только что работал в любимой больнице и был всеми уважаем, а тут, в душевной камере, грязные уголовники измываются над ним, как хотят. Беспомощный, замученный, униженный. Отчаяние его было беспредельным, жить он уже не мог, подступало безумие.

И как раз в это время он нашел у себя в постели гвоздь, да какой — новый, остро заточенный.

Странное дело, не так ли? В камеру обрывок бумажки и тот не мог проникнуть, а тут новый сверкающе заточенный гвоздь.

И доктор увидел в этом знак освобождения. Одно желание владело им: покончить с этим кошмаром, спастись любой ценой. Он написал родным прощальное письмо, взял обеденную миску и загнал ею гвоздь себе в висок.

В больницу он попал с воспалением мозга, ему сделали операцию, оказалось, что гвоздь непостижимым образом мозга не задел, но вынуть его, сохранив при этом жизнь, невозможно. Так и остался доктор с гвоздем в черепе и с тяжелой эпилепсией.

Кумский дело его прекратил, самого его освободил, но в покое не оставил. Сразу после операции — доктор еще сам передвигаться не мог, его привели родные — снова вызвал на допрос, снова орал...

И снова возбудил дело.

Да, начинаешь понимать Костоева, когда он говорит, что Кумский был для него куда страшней, чем Стороженко. У того в помощниках только темная ночь, а у этого в руках огромная государственная власть.

Костоев не сомневался в том, что при таких взятках и при такой тяге ко всякого рода драгоценностям у Кумского обязательно должен быть тайник, и странным казалось, что есть у него машина (пусть и на имя тестя) и нет гаража. Поскольку и гараж числился за другим владельцем, нашли его не сразу, но все же нашли.

Обыск в гараже вела группа под руководством Амурхана

Андиева (старшего следователя Северо-Кавказской транспортной прокуратуры). Работали тщательно и ничего ценного не находили. Конечно, металлоискатель не раз гудел, но в гараже было много металла, в частности, висел на стене металлический двусторчатый шкаф, в нем, кроме банок с краской и пакетов с моющими средствами, ничего не было, а внутри он был отменно гладок, на стальных его поверхностях ни пятнышка. Молодой следователь Алексей Яськов все никак не мог расстаться с этим шкафом.

Костоев и сейчас смеется: как это Алексей сумел что-то разглядеть? Или он не разглядел, а просто ткнул гвоздем в заднюю стенку шкафа, повинуясь некой интуиции? Словом, гвоздь вошел во что-то мягкое, оказалось, в крошечную дырочку, тщательно замазанную пастой, которая была тщательно подобрана под стальной цвет стенок. Задняя стенка шкафа подалась под гвоздем, а потом пошла вверх. За ней открылся сейф, вмурованный в бетонную стену гаража.

Премудрый Кумский загородил металлический сейф металлическим же шкафом с расчетом: если будет обыск, сотрудники, его производящие, примут сигнал металлоискателя реакцией на шкаф и пройдут мимо. Замок сейфа тоже оказался на редкость хитрого устройства, и мастер долго с ним возился, потому что таких замков до сих пор не встречал, хотя и был их крупнейшим знатоком.

Да, но сейф-то был пуст. Позже эксперты обнаружили на его стенках следы серебра.

Следы серебра — и больше ничего! Никто из следственной бригады не сомневался: если бы Прокуратура Союза дала санкцию на арест, если бы Кумского не предупредили о том, что Костоев ездил за санкцией на арест и вернулся ни с чем, и если бы в распоряжении преступника не было этих трех месяцев отсрочки, можно было бы ухватить и деньги, и драгоценности. Надо ли удивляться, что Костоев мрачнеет, вспоминая эту историю. Но разве тут дело в деньгах! Не мог понять Исса Костоев, как это существует на белом свете подобная нелюдь, такой вурдалак, да еще облеченный властью.

Однажды Кумский арестовал женщину, и милиционер (именно от него и узнал Костоев эту историю) спросил его, можно ли уже вызвать машину, чтобы доставить арестованную в КПЗ.

— Не надо машины, — к удивлению милиционера, ответил Кумский и велел привести в прокуратуру детей этой женщины.

Мне не раз приходилось писать о склонности следователей худшего типа к шумным прилюдным арестам, унижительным конвойным шествиям, например, в день рождения подозреваемого или в Новый год, но тут был задуман спектакль особого рода.

По улицам шла женщина, милиционер спереди, милиционер сзади, следом с плачем бежали дети, десяти — двенадцати лет ребята.

И смотрел на все это из окна своими светлыми глазами худой лысый человек.

Он был приговорен к расстрелу, но расстрелян не был (Верховный Совет заменил расстрел на двадцать лет особого режима).

И опять вспоминаю я это: «все следователи одним миром мазаны». Да вы что! Меж ними пропасть непроходимая, и нам необходимо осознать: идет борьба между теми, кто защищает нас от преступного мира, и теми, кто под видом борьбы с преступностью работает на себя, фальсифицирует, липует, насильничает — губит неповинных. Важно осознать самый факт этого противостояния. Слишком много зависит от того, кто победит в этой борьбе. Деятельность всей правовой системы (а следовательно, судьба любого гражданина страны) зависит от состояния следственного аппарата, его статуса, людей в этой системе, степени их ответственности. Важен тут и уровень профессионализма, и надежность образования (общего и специального), и принцип отбора. Но в тех уголовных делах, которые встретились нам (и еще встретятся) в этом рассказе, на первый план выдвигается нравственная сторона проблемы. Формально следственный аппарат разделен сейчас на три части — в прокуратуре, в милиции и в госбезопасности. Но самым главным представляется мне другое разделение следователей — на профессионалов и портачей, на порядочных людей и тех, кто забыл о долге, чести и совести. Главное заключено в их соотношении, и с великой тревогой вынуждены мы признать неблагоприятное: следственный аппарат сейчас ослаблен невероятно, и тут закономерно берут верх «худшие». Тому способствовали события нашей недавней истории.

С приходом к власти Горбачева общество двинулось по пути создания правового государства, точнее сказать, делало в этом направлении первые шаги, но шаги эти были довольно уверенны. И очень быстро последовали изменения. Беззаконная практика, когда человека сперва бросают в тюрьму, а потом начинают доказывать его вину, была запрещена — и разом опустели до того перенабитые тюрьмы (я сама видела в Бутырках и «Матросской тишине» полупустые и вовсе опустевшие камеры, зато сидели в них действительно опасные преступники). Главное, стала укрепляться судебная власть, судьи почувствовали некоторую независимость (от прокуратуры, от партаппарата), появились оправдательные приговоры, которых, повторяю, страна до тех пор не знала. Восстанавливалось поправное равенство сторон, с адвокатами стали считаться, они уже не говорили, как раньше, в пустоту. Беззакония следователей встречали в обществе резкий отпор. Словом, правосудие начало обретать некоторую силу.

Нетрудно было предвидеть раздражение худшей части следственного аппарата — тех, кто своего ремесла не знает, преступников ловить не умеет и в виде компенсации этого своего бессилия развил в себе умение лепить фальсификацию на фальсификацию и не стыдиться, применяя насилие. Потеряв возможность практически бесконтрольного ареста, который означает для них возможность получить человека в полную свою власть, они становятся совершенно беспомощными. И потому начался саботаж следователей этого типа демонстративно перестали арестовывать опасных преступников; знаю случай, когда даже адвокат считал, что его подзащитного необходимо взять под стражу, поскольку он очень опасен, — следователь отказался, заявив, будто бы им вообще запрещено арестовывать. Все это не выходило за рамки

обычной демагогии, но вот то, что произошло далее, вряд ли кто мог предвидеть. Когда поднялась митинговая волна, иные из следователей, особенно те, кто мог опасаться кары за свои беззакония, вскочили на нее с большой ловкостью, громко вопя о том, что они демократы, что они борются с коррупцией, а их за это преследуют. О, как они обличали! Направо и налево, «по горизонтали и по вертикали» обвиняли они людей, главным образом тех, кто так или иначе пытался им противостоять, в тяжких преступлениях, как правило, во взятках, не представляя при этом ни малейших доказательств.

В цивилизованном обществе, в нормальном государстве только безумец мог бы отважиться на такое: по десять раз в день бездоказательно обвинять людей в тягчайших преступлениях. Но обвинения эти, дикие и бездоказательные, вполне подошли ураганному безумию людских множеств. Социальная психопатия правила свой бал открыто и беспрепятственно.

Союз этого «черного следствия» с митингом был открыто направлен против судебной власти — в том была его главная опасность. В брежневские времена передовая печать обличала «телефонное право», давление партаппарата на судебные дела, в эпоху гласности это беззаконие одним из первых попало под ее яростный прожектор. Но то, прежнее, давление аппарата на судей не идет ни в какое сравнение с бешеной атакой на них со стороны новоявленных «демократов». В воспаленной, отравленной общественной атмосфере мало кто и отважился противостоять этой атаке, а если кто и отваживался, его тотчас же громко (не только на митингах, но и в печати) объявляли взяточником. Явилось страшное зрелище «ревтрибунала», когда от судей требовали, чтобы они вели процесс на стадионах, в присутствии контролирующей их толпы, — и, страшно вспомнить, бывали такие процессы!

Но самое поразительное заключалось в том, что этот бунт «черных следователей» поддержала «прогрессивная интеллигенция», она практически восстановила культ сталинской поры — «следователей, которые не ошибаются». Мало кто из этих интеллигентных людей верил в демократизм и даже простую порядочность «черных следователей», но все считали союз с ними полезным «на данном этапе».

Возникло зрелище, поразительное по уродству, когда крупнейшие правозащитники страны выступали плечом к плечу на одной митинговой платформе с величайшими насильниками, с самым беззаконием.

Надежды левых радикалов на то, что союз этот, принеся пользу в данную минуту, вреда не принесет и может быть запросто разрушен, как только в нем не станет надобности, были чистой иллюзией. Вред, нанесенный обществу этим союзом, был огромен и разнообразен. Идея «ревтрибунала» пустила корни в народном сознании, ибо во многом ему соответствовала. Вообще надо отметить, что «черное следствие» в полной мере использовало тут темноту народных масс, убежденных, будто закон, его строгое исполнение мешает борьбе с преступностью, и потому оправдывающих насилие, прямую пытку — даже так!

Практический результат этого страшного движения был самым

пагубным: «черные следователи» уже и вовсе почувствовали себя безнаказанными. Если раньше все-таки существовало немало факторов, которые заставляли их быть осторожными, в том числе и печать, теперь, когда «демократы» пришли к власти, печать против беззакония следственных работников практически уже не выступала. Поэтому если говорить о динамике и направлении развития законности в работе правоохранительных органов, то ответ, увы, может быть только один: в области следствия и дознания в наше время дела идут значительно хуже, чем это было при Брежневе (уж не говорю о начальном периоде правления Горбачева). Методы, которые применялись, но все же осознавались как незаконные, теперь практически перестали быть запретными. Теперь уже можно говорить о прочной традиции беззакония, вооруженного испытанными методами. Их даже можно перечислить (собственно, можно было бы написать справочник по беззаконию).

Арест. На каких основаниях он производится? Занимаясь каким-нибудь делом, я обычно, к моему удивлению, никак не могла понять, что послужило причиной ареста подсудимого — в материалах дела о том не было ни слова. На мое недоумение мне отвечали: не важно, мол, на каких основаниях он арестован, главное, что вина его доказана (но мне-то было ясно, какую роль в ходе следствия играет арест). А чаще всего говорили, что арест произведен на основании оперативных милицейских разработок, которые, как всем известно, являются строго секретными. Таким образом, вопрос свободы человека согласно многолетней традиции решается где-то в густом тумане и неизвестно кем (или нет, известно: людьми, кровно заинтересованными в том, чтобы любыми способами «закрыть дело» и доказать тем свою работоспособность). Практика показывает, что арестован может быть едва ли не любой — ближайший родственник погибшего, если это убийство, тот, кто сообщил в милицию о преступлении, случайный прохожий, ибо нередки случаи, когда милиция ищет «под фонарем».

Первый допрос. Его порядок установлен законом: сначала следователь спрашивает обвиняемого, признает ли он себя виновным, «после чего предлагает обвиняемому дать показания по существу обвинения». На практике зачастую бывает совсем другое: человека ошеломляют неожиданным диким ором, грязным матом. Ему сообщают, будто он известный рецидивист, что на месте преступления обнаружены его следы, отпечатки его пальцев и другое, подобное.

У следователя есть еще и такой могучий союзник, как тюрьма. Самые условия наших следственных тюрем ужасны и унижительны, камеры перенабиты (снова перенабиты — теперь уже люди здесь стоят!), уголовники ведут себя нагло, среди них есть агенты властей, которые выполняют прямые указания следователя — оскорбляют человека, не дают ему спать, а то и просто мучают.

Подследственный не сдается, предположим, у него прочное алиби и он уверен, что докажет свою невиновность (в подобных случаях вопреки закону он всегда поставлен перед необходимо-

стью доказывать свою невиновность). Что же следствие? Оно начинает борьбу с алиби — и тут его методы тоже отработаны. Алиби как бы не замечают, документы, его подтверждающие, не затребуют, свидетелей, его подтверждающих, на допрос не вызывают. Или, напротив, такого свидетеля вызывают и жестко ставят перед ним вопрос: или он отказывается от своих свидетельств, или меняется местами с арестованным (угрозы бывают самые разнообразные — и самому свидетелю, и его близким). Сколько приходилось видеть таких разрушенных алиби!

Теперь, когда алиби разрушено и подследственный понимает, что беззащитен, атака следователя становится мощной, он требует одного: «чистосердечного признания». Эти признания стали едва ли не неременной составной частью следственного дела — признания, все сплошь чистосердечные, зачастую обстоятельствам дела вовсе не соответствующие. (Очень распространены способ, когда какому-нибудь уголовнику, совершившему преступление, предлагают взять на себя и другое, обещая за это разного рода поблажки, тоже хорошо известные: изменить статью на более легкую и т. д.; начинается торговля, которая тоже нередко кончается «чистосердечным признанием».)

В области признаний наблюдается некий сдвиг: если раньше работники дознания и следствия заботились о том, чтобы признание было правдоподобно и соответствовало материалам дела, с подследственным работали, укрепляя «версию», знакомили с документами и т. д., то теперь, сколько могут судить по делам, которыми недавно занималась, все это не так уж и важно, главное — самый факт признания. Пусть подследственный признается нелепо, пусть на одни сутки, пусть потом в сотне жалоб он расскажет, как его заставили взять на себя преступление, которое он не совершал, приведет доказательства того, что признание его неправдоподобно, — ничто ему уже не поможет: признался! Ловушка захлопнулась. Признание его попало в борозду темного массового сознания и проросло тут неколебимой уверенностью: раз сам признался, значит, виноват. Любопытно, что это убеждение вполне совмещается с уверенностью, что именно не сам признался, а под воздействием следователя: только незначительная часть людей отнесет признание за счет искусства работника следствия, который добыл неопровержимые доказательства, — большинство ясно сознает, что был применен «прессинг», то есть та же самая пытка. Весь ужас, повторим, в том, что массовое сознание не имеет ничего против пытки и даже считает ее необходимой (кстати, борьба с этим болезненным и страшным явлением — одна из главных задач правового и нравственного просветительства: пока народ думает так, следователи будут пытать, а прокуратура и суд будут делать вид, будто этого нет и не бывает).

«Чистосердечное признание» — главное блюдо «черного следствия», добыв его, к нему начинают готовить гарнир. Прежде всего это «выводка», когда подследственного вывозят на место преступления, где он при понятых и под видеокамеру рассказывает, как его совершал: казалось бы, ясно, что это следственное действие являет собой всего лишь повторение того же признания

и само по себе доказательством быть не может, но следователи, опять же в расчете на правовую темноту и народных заседателей, неизменно указывают «выводку» в числе доказательств.

Свидетельские показания. Мне не раз приходилось встречать такую схему построения следственного дела (предположим, по тому же убийству). Арестовывают двоих парней, одному отводят роль убийцы, другому — свидетеля, причем этому последнему опять же недвусмысленно намекают, что роли их могут быть переставлены. Обычно эти парни бывают друзьями, и возникает ситуация (видела ее не раз), когда один друг под руководством юристов ведет другого к могиле. Нередко и свидетеля задерживают, сажают в ИВС под любым предлогом (чаще всего провокация скандала и пр.), тут возможна та же пытка, только более осторожная (а вначале иногда и не осторожная).

Большого искусства добивается «черное следствие» в деле отбора нужных свидетелей: вызывают брошенную жену, злого соседа по квартире, соперника по службе — и нередко добиваются тут больших «успехов». Часто применяют и такой метод (бесспорно, незаконный): работник следствия является в учреждении, где работал арестованный, собирает общее собрание, которому и сообщает, что их коллега преступник, что он неопровержимо уличен, сам признался (все это ложь от начала до конца). И вот уже готов десяток «свидетелей», жаждущих дать любые показания, лишь бы покарать негодяя.

Надо ли говорить, что свидетели, говорящие в пользу подследственного, встречаются в штыки и подвергаются тому же пресингу.

Итак, в «активе» следователя собственное признание подследственного, главный свидетель (очевидец!), десяток второстепенных. Теперь остался гарнир из экспертиз, без них тоже никак нельзя. Они важны, особенно потому, что в массовом сознании утвердилось убеждение, будто экспертиза (которая на самом деле является лишь одним из доказательств, наравне с другими подлежащим в суде проверке) являет собой как бы окончательное мнение (наука, мол, ошибиться не может!), не подлежащее сомнениям. Между тем и в области экспертизы возможна фальсификация. Она идет двумя путями. Искажение выводов экспертизы — там, где эксперты говорят: участие такого-то не исключено, следствие, а бывает, и суд утверждают: экспертиза подтвердила его участие. Но увы, нередки случаи, когда сами эксперты ввиду тесных должностных или личных связей с работниками следствия поддельваются под обвинение. То старушка, имея катаракту на обоих глазах, увидела подсудимого в темноте, то пуля вылетела из ствола винтовки, принадлежащей подсудимому, а потом оказывается, что ни он, ни его винтовка не имеют к делу никакого отношения. Таким образом, получить нужное заключение экспертизы или дать ему нужное толкование бывает не так уж и трудно. Зато с гарниром из экспертиз обвинительное заключение выглядит куда богаче.

Надо ли говорить, что в результате подобного «расследования» обвиняемый оказывается в положении безвыходном. Его алиби разрушено, его свидетели предельно запуганы, зато во множестве

появились другие, яростно его обличающие. Экспертизы или фальсифицированы, или ложно интерпретированы. А бывает, что все это украшено (неизвестно в силу какого закона) еще и гневными письмами трудящихся, которые сути дела, разумеется, не знают и знать не могут, но тем не менее грозят, требуя расстрела.

Надо ли говорить о том, как трудно бороться с этой устоявшейся системой беззакония.

— Прочли? — спрашивает Костоев, принимая у меня папку.

— Да, прочла. Лучше бы мне этого не читать.

А, впрочем, нет, я благодарна Иссе Костоеву за то, что он указал мне на эти документы и дал возможность с ними познакомиться. Здесь был целый ветвистый куст преступлений, совершенных в Свердловске (по времени они примерно совпали с первыми преступлениями Чикатило). Здесь тоже стали пропадать девочки и девушки, и их тоже находили мертвыми.

Слишком много мертвых на страницах, не так ли? Но ведь мы говорим о поистине героической борьбе следователей с этим ужасом нашего времени. Преступность есть во всем мире и всегда в нем будет, весь вопрос в том, кто ей противостоит и каков он, заслон, богатырская застава, которая стоит на ее пути. Именно этой проблемой мы с вами заняты — и тут уж, увы, без крови и грязи нам никак не обойтись.

Шесть убийств было совершено тогда в Свердловске, на протяжении пяти лет, почти каждую весну, чаще всего в мае (и, как полагали профессионалы, тут тоже работала одна и та же рука), кто-то выходил на охоту и скрывался до следующей весны.

Как же шло расследование всех этих дел?

Очень бодро. В обвиняемых не было недостатка, они даже появились в избытке и все сидели по камерам...

По первому убийству одиннадцатилетней Лены Мангушевой (произошло оно в пригородном перелеске неподалеку от автобусной остановки) был арестован некто Г. Л. Хабаров, который признался в этом убийстве и подтвердил свое признание в суде.

В убийстве двадцатилетней Якуповой и двенадцатилетней Наташи Лапшиной, в этих обоих преступлениях, отделенных друг от друга полугодом, совершенных в том же леске недалеко от автобусной остановки «Контрольная», признался некто Титов.

Юная художница Дячук, ученица ПТУ, сидела на полянке в лесу (неподалеку от автобусной остановки) и писала этюд. Она была четвертой в страшном списке. В ее убийстве признались двое братьев, несовершеннолетние, сперва они категорически отрицали вину, потом стали валить друг на друга, а потом признались, назвав в качестве соучастников двух своих приятелей, в частности, некоего Карасева. Но Карасев в убийстве Дячук не признался, зато признался в убийстве Лены Кук, погибшей двумя годами позже. Братья Яшкины, Олег и Эдуард, признавались летом и осенью 1985 года, а в январе 1986 года по этому же убийству юной художницы был арестован Антропов, он-то как раз

ни в чем не признавался. В убийстве пятой жертвы — Ольги Тимофеевой — признался В. В. Яшкин, отец тех самых несовершеннолетних братьев, что признались в убийстве Дячук. Последняя в списке Лена Кук, в ее гибели признали себя виновными независимо друг от друга некто Галиев и тот самый Карасев, которого пытались обвинить в смерти Дячук.

А потом, в 1987 году, явился с повинной и с чистосердечным признанием Водянкин. Он признался в убийстве Якуповой, Наташи Лапшиной, Дячук, Тимофеевой и Лены Кук, всех пятерых.

Может быть, у вас в глазах зарябило от всех этих «повинных»? Тогда я попробую систематизировать.

Итак, в убийстве Якуповой и Наташи Лапшиной независимо друг от друга признали себя виновными двое — Титов и Водянкин.

Тимофееву, если верить их «повинным», убили Яшкин-отец и Водянкин.

В деле Лены Кук уже три признания (Галиев, Водянкин и Карасев).

В убийстве Дячук признались двое братьев Яшкиных, но был в этом деле еще и Антропов, он не признавался, но его дело дважды ходило в суд и дважды возвращалось на доследование. А он все сидел в тюрьме. Водянкин, таким образом, в этой компании был четвертым.

На самом же деле ни один из них не был причастен ни к одному убийству.

25 апреля 1988 года в ЦПКиО имени Маяковского г. Свердловска был задержан Н. Б. Фефилов — рабочий типографии, как раз в ту минуту, когда он пытался спрятать в парке убитую им женщину.

«Он показал, — читаем мы в одном из документов российской прокуратуры, — что все эти убийства совершены им одним. Дал точные и подробные показания об обстоятельствах их совершения, указал места совершения убийств и сокрытия вещей погибших. Дома у него были обнаружены вещи, принадлежащие убитым. Вина Фефилова в ходе следствия была полностью доказана».

Хабаров был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян.

Титов был в тюрьме избит заключенными и умер.

Конечно, власти против такого вопиющего беззакония пройти не могли. Из уголовного дела были выделены материалы, свидетельствующие о нарушении законности, и возбуждено уголовное дело «по признакам совершения преступлений, предусмотренных статьями 176, 178, 179 УК РСФСР», это соответственно значит: «привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности», «заведомо незаконный арест или задержание» и «принуждение к даче показания» (о статье 177 — «Вынесение заведомо неправосудного приговора» в постановлении не говорилось).

Дело принял к своему производству следователь по особо важным делам при прокуроре России В. Паршин.

Расследование, проведенное этим юристом, профессиональным и добросовестным, полностью раскрыло картину происшедшего.

Прежде всего, разумеется, следователь занялся делом Хабарова. На чем был основан смертный приговор ему? На его признании. На показаниях свидетелей, которые утверждали, что видели парня близ поселка, где произошло убийство. На данных актов судебно-биологической и других экспертиз.

Но Паршин обнаружил, что в тот день, когда Хабарова задержали, он свою вину категорически отрицал — только протокол его допроса из дела исчез; что работники милиции допрашивали Хабарова в ночное время и вовсе без протокола — у них-то он и признался. А главное, молодой человек этот был умственно отсталым, с диагнозом олигофрен, это значит, не очень ясно ориентировался в обстановке, был легко внушаем, есть свидетельство, что во время следствия не понимал значения задаваемых ему вопросов, зато с готовностью соглашался, поспешно кивая головой. Трудно ли было получить у больного «признательные» показания? Впрочем, он сам рассказывал, как это происходило.

«О Мангушевой меня спросили через день после ареста... Прокурору сказал, что не знаю Мангушеву. Давал показания, что знаю Мангушеву, так как меня пугали, говорили, что меня убьют. Все говорили так. Я боялся. Следователь меня не бил, только пугал, а зашел еще один и ударил меня два раза, спросил, где портфель девочки. Фотографии девочки мне показывали в милиции, их было несколько штук. Я врал все следователю, меня пытали всяко... Я показал место, где все произошло, так как следователь показал мне все сам. Я убийство брал на себя, так как не подумал, тогда голова болела». Голос мертвого. Нетрудно представить себе, каково пришлось больному мальчишке, когда собравшиеся вокруг него здоровенные мужики требовали от него только одного — признавайся. Он признался и потому, что у него болела голова, и потому, что не мог поверить, будто его в самом деле казнят.

Свидетельские показания? Но скоро выяснилось, что люди, будто бы видевшие его в поселке, на самом деле видеть его не могли.

Самым главным доводом обвинения оставалась судебно-биологическая экспертиза, которая установила, что кровь Хабарова относится к той же группе, что и кровь убийцы. Мы уже видели этот прием, когда совпадение группы крови (на том уровне исследования, который существует в нашей нынешней криминалистике) преступления доказать не может, может доказать другое: что данное преступление не исключено или, напротив, исключено. Вот и все возможности данного рода экспертизы.

Между тем следователь Паршин установил, что экспертиза, проведенная экспертом-биологом В. Кузнецовой, вообще была ошибочна. «Признавая ошибочность своих выводов, — пишет он в своем постановлении, — В. Кузнецова объясняет их гнилостными изменениями поступившей на исследование крови Мангушевой, что делало возможным появление ложных реакций». К тому же у нее не было необходимого набора сывороток, чтобы она могла проверить свои первоначальные выводы, да и самой крови было мало, «что значительно увеличивало возможность ошибки». (Я не могу вдаваться в подробности других

экспертиз, отмечу только, что они примерно на том же качественном уровне.)

Следующим в постановлении Паршина был Титов, тот, кого убили в тюрьме (казалось бы, государство, когда оно берет человека под стражу, отвечает за его здоровье и жизнь? Оказывается, ничего подобного: взяли у матери живого сына, вернули мертвого и сообщили, что убийц установить не удалось. Вот и все.)

Титов тоже был психически неполноценным — понятия на «выводке» подтвердили, что давал он показания невнятно, противоречиво, то и дело их менял, места преступления показать не смог, а когда его спросили, куда он дел вещи убитой, не знал, что ответить. Была свидетельница, которая заявила, что видела в тот день Титова близ места преступления, но Паршин тут же показывает нам, что это за свидетельница: «она длительное время состоит на учете в городской психиатрической больнице с диагнозом органического заболевания головного мозга с изменением личности».

Следующее дело — об убийстве Дячук, в котором признавались четверо. Один из них, подросток Олег Яшкин, заявил: ему сказали, если он признается, его отпустят домой под подписку — а ему бы тогда только вырваться на свободу! — если же не признается, будет худо, очень худо. А если конкретно, ему угрожали «притеснениями со стороны сокамерников» — в наши дни каждому известно, какая страшная угроза стоит за подобного рода эвфемизмом. Примечательно, что свидетелям, от которых требовали показаний против братьев Яшкиных, грозили теми же «притеснениями».

Антропов, которого также обвиняли в убийстве Дячук, в числе других обвиняемых стоит особняком, поскольку не олигофрен и не признавался. В основе его обвинения лежало одно-единственное доказательство — на его куртке обнаружили краску, которая согласно заключению экспертизы была идентична той краске, какой рисовала юная художница. Но родные Антропова утверждали: никакой краски на его куртке не было, когда они выдавали ее милиции. А повторная криминалистическая экспертиза установила, что в ходе первой экспертизы «имели место нарушения методики исследования лакокрасочных материалов» и что «краска на спине и рукаве куртки не имеет общей родовой основы с красками, которыми выполнен этюд Дячук».

В деле Антропова, проведенного в тюрьме девять месяцев (и, по счастью, не убитого), не было, таким образом, ни единого доказательства его вины.

Убийство Лены Кук, в котором «признались» трое. Первый — Галиев. Он инвалид с детства, неоднократно лечился в психиатрических больницах. Родители рассказали о нем: совершенно слабоволен, «если на него прикрикнуть, пугается и делает так, как ему указывают, особенно если говорит посторонний человек». Нетрудно себе представить, каково-то пришлось больному парню среди тех «посторонних», что его окружали на допросе. Он признался тотчас же, на следующий день после задержания.

А Водянкин! Водянкин, признавшийся разом в убийстве пяти-рых! Оказывается, по одному из них у него вообще было алиби, и

первоначально его отпустили, но через несколько дней задержали опять, и оперуполномоченный ОВД Калинин получил от него заявление о том, что он совершил пять убийств девочек и девушек в районе остановки «Контрольная». Надо ли говорить, что и этот юноша был тяжело болен, и тут родители объяснили, что говорить с ним можно только ласково, иначе он приходит в смятение. Правда, он все же сделал попытку противостоять своим мучителям и на следующий день от «признания» отказался, но еще на следующий признался снова. «Пока не напишешь заявление, из милиции никогда не выйдешь» — так, по его словам, говорил ему оперуполномоченный и в ходе допроса не раз вынимал из сейфа пистолет, Водянкин думал, его сейчас застрелят.

Зачем этому работнику милиции нужен был пистолет, если задержанные ребята терялись от неласкового слова?

Не кажется ли вам, читатель, что от такого количества психиатрии в этом деле возникает ощущение, будто ты и сам начинаешь сходить с ума?

Неподобное дело, обморочное, бродят в нем, как в тумане, больные ребята, поспешно кивают головами, соглашаясь, — им кажется, что так им будет лучше; каждый старательно самого себя уличает, да не получается, готов показать место, где никогда не был и где будто бы спрятал вещи убитой, которую никогда не убивал. И юристы, взрослые ответственные люди, входят в этот бредовый мир как в свой. Да сами же они его и скроили, все эти дознаватели, следователи, прокуроры, — они и теперь тут распоряжаются, назначают, кому что говорить, где, что и как показывать; в их головах свои жалкие расчеты: извлечь максимальную для себя пользу из больных и беспомощных. А сами они, между прочим, не дебилы и не олигофрены, хотя они-то как раз самые душевнобольные и есть. Они-то и есть самые вывихнутые, извращенные — неизлечимые.

А как отнесся к этому бредовому миру следователь Паршин?

Постановление его написано сдержанно и строго, но картина, которую он представил, вызывает ярость в душе любого читателя. Неужели все эти люди — дознаватели, следователи, прокуроры, судьи — не видели, что перед ними глубоко больные ребята? Неужели не понимали, что воспользоваться их болезнью — постыдно? Неужели не догадывались, что, заставляя их признаться в столь тяжком преступлении, они ведут невиновных прямоком к могиле? И дозволяют подлинному убийце продолжать свои преступления.

Наверняка все это были разные люди — и по характеру, и по уровню развития, и по должностям, которые занимали, — одно объединяет их и роднит — общее злодейство.

Совсем немного воображения требовалось для того, чтобы представить себе, каково-то пришлось в тюрьме Титову — над людьми психически больными уголовники в камере издеваются свирепо, смерть Титова, можно не сомневаться, была мученической.

А вот ни в чем не повинного Хабарова ведут ночью коридором

тюрьмы, и он знает: никто уже не придет ему на помощь.

Их лечили врачи, этих больных ребят, их, как умели, обучали педагоги, родители говорили им ласковые слова (любили их, как часто бывает, больше своих здоровых детей). И вот их схарчила государственная машина. В полном общественном молчании заглотнула — и все.

Для работников правоохранительных органов, расследовавших это дело, не было проблем ни с совестью, ни с истиной, ни с человечностью. Им нужно было одно — «закрыть» дело. Казалось бы, простой расчет: если бы они, вместо того чтобы хватать невинных, пыткой (физической или моральной, неважно) добиваться самоговора, громоздить фальсификации, подгонять их под истинные жизненные обстоятельства, — если бы вместо всего этого они направили свои силы на то, чтобы найти истинного убийцу, уголовного Фефилова (что было не так уж трудно при налаженной агентурной сети), они сохранили бы невинные жизни, спасли людей от страданий, а общество от преступника — и к тому же надежно обеспечили бы собственную статистику.

Словом, расследовав дело о нарушении законности, Паршин нарисовал правдивую (и страшную) картину беззакония, бессердечия и правового цинизма.

А нарисовав эту правдивую картину, тот же следователь Паршин собственной рукой стал ее размывать. А с этим и концепция моя о четком разделении следственного аппарата на плохих и хороших, порядочных и непорядочных затрещала по швам.

Следить процесс размывания истины — занятие весьма любопытное, но нельзя сказать, чтобы очень веселое.

Как решает Паршин главный вопрос этого дела — кто заставил Хабарова взять на себя преступление, которого он не совершал, да еще столь тяжкое преступление? Как и кем был добыт этот самоговор? (Мы не знаем, как решал этот вопрос Паршин наедине с собой и для себя, мы знаем только, как он решил его в своем постановлении.)

На этот вопрос сотрудники милиции ответили единодушно: заместитель начальника Верх-Исетского РОВД полковник Широков допрашивал Хабарова сразу после того, как тот был задержан, да как допрашивал — ночью, в своем кабинете, наедине, когда заходил кто-нибудь из сотрудников, просил того уйти, поясняя, что привык так работать с задержанным — наедине. И протокола этих допросов не сохранилось, а самого полковника Широкова не спросишь — он погиб при задержании преступника.

По свидетельству сотрудников прокуратуры, следствием на первом его этапе руководил прокурор-криминалист Бахов, но и его расспросить не представляется возможным, поскольку он умер.

Таким образом, оказывается, что в самоговоре Хабарова виноваты эти двое — сотрудники милиции и прокуратуры, потом занимавшиеся этим делом, получили его уже с готовым самоговором. Но сами-то они как отнеслись к «признанию» Хабарова?

Следователь горпрокуратуры показал так: кто-то из милиции сказал ему, что Хабаров признается в убийстве, и действительно,

на допросе тот «сразу же стал рассказывать об убийстве, показания давал с готовностью, услужливо, предвосхищая вопросы». Следователь этот занес в протокол все, что говорил Хабаров, в том числе и его показания, обстоятельства преступления не соответствующие.

Последнему факту Паршин придает особое значение: если бы следователь хотел фальсифицировать дело, если бы вымогал признание, он бы таких показаний не записывал. А он зафиксировал и то, что Хабаров неверно описал самый механизм убийства (сказал, что ударил ножом, в то время как девочка была удушена собственным пионерским галстуком); и то, что неверно показал место, где был найден труп, а места преступления вообще не мог найти. Все это было добросовестно зафиксировано следователем.

Думаю, следователь Паршин лучше моего знает: перед нами один из приемов беззакония, ставших уже штампом. Когда у подследственного силой вырывают признание и он, наконец, сдался, тот, кто его допрашивает, согласен на признание в любом виде. И потому в своем первоначальном виде оно обычно содержит первые попавшиеся сведения. Человек, вынужденный себя оговаривать, частью рассказывает о том, что слышал, частью повторяет подсказки следователя, частью придумывает что-нибудь более или менее правдоподобное. После этого, обычно уже на другой день, его «признание» начинают «дорабатывать», уже подгоняя его под известные следствию обстоятельства дела. Считается, что в этот период подследственный уточняет свои первоначальные показания, лучше вспоминает случившееся (нередко, кстати, с точностью до наоборот). А потом, если встает вопрос о противоречии и путанице в показаниях, то у беззакония готов ответ: подследственный действительно путался, может быть, от волнения, а может быть, оттого, что хотел запутать следствие, но потом все встало на свои места.

Как видно, к этому приему прибегает и Паршин, он не хочет разоблачать этот следственный штамп и уводит читающего в другую сторону: ни в одном из следственных действий, говорит он, закон не нарушен.

А сам Хабаров, продолжает Паршин, ни на что не жаловался — ни понятым, ни врачам, ни адвокату (жаловался, и очень даже, заметим мы, — своей матери на свидании, но об этом Паршин не упоминает), и получается: если не жаловался, сам виноват, а тем самым вина с дознавателей и следователей как бы снимается.

И еще довод: все, принимающие участие в этом расследовании, категорически заявляют, что искажений не допускали, наводящих вопросов не задавали, ни угроз, ни тем паче избиений, о том и помина не было. Такими заверениями работников следствия постановление Паршина буквально переполнено. Их утверждения явно идут за главный довод.

После этого Паршин, как видно, уже считал себя вправе написать: «в связи с признанием Хабаровым своей вины, его раскаянием, извинениями перед родственниками погибшей, наличием других доказательств, изложенных в обвинительном заключении, у них, работников следствия, не было сомнений в виновности Хабарова. Хотя привлечение его к уголовной ответственности

является незаконным, доказательства наличия у них прямого умысла на их совершение не имеется, и, следовательно, они не содержат состава преступления, предусмотренного ст. 178 УК».

Ну, прежде всего он, как любой работник следствия, отлично знает, что, когда подследственный «признает» свою вину, он обязательно выражает раскаяние и извиняется перед родственниками, это входит в ритуал «признаний» и выражается в одинаковых формулах, от постоянного употребления уже отполированных до блеска. Никакой доказательной силы эти общие фразы, разумеется, не имеют, и никого из следователей или дознавателей не могут обмануть, ибо сами же эти следователи, дознаватели вставляют в «чистосердечное признание» ритуальные слова о раскаянии и извинениях.

Но для нас самое главное — это утверждение Паршина о невиновности работников правоохранительных органов в связи с тем, что у них не было прямого умысла на совершение преступления, предусмотренного ст. 178 УК РСФСР («заведомо незаконный арест или задержание»).

Когда юристы решают вопрос, является ли данное действие преступным, они, в частности, исходят из понятия умысла. Значение подобного подхода и его необходимость легко понять из простого примера: предположим, один человек сорвал с головы другого шапку, убежал и был задержан. Грабеж? Да — если он эту шапку продал, пропил или каким-либо другим способом реализовал. Нет — если он сорвал шапку с головы приятеля, чтобы пошутить, и убежал, намереваясь отдать ему эту шапку за углом, но не успел, так как был задержан. В первом случае был умысел на грабеж (он доказан фактом продажи), во втором — не было.

Паршин пытается применить понятие умысла к действиям следователя, который вел дело Хабарова. Вдумаемся в его фразу «хотя привлечение его (Хабарова) к уголовной ответственности является незаконным, доказательств наличия у него (следователя) прямого умысла на их совершение не имеется».

Вопрос права решен тут вне рамок права, а такого не может быть. Беззаконие есть беззаконие, а что думал юрист, когда его совершал, во что верил, во что не верил, это уже никакого значения не имеет.

Надо ли говорить, что с остальными делами Паршин поступил по уже известному образцу.

В деле Дячук, в убийстве которой признавались четверо, тоже ничего не произошло, их заявления о побоях, угрозах и прочем, разумеется, «подтверждения не нашли», и уголовные дела, возбужденные по их жалобам, были Паршиным прекращены.

Но помните, был ведь пятый, Антропов, который девять месяцев просидел в следственной тюрьме. В его деле тоже была ошибка эксперта (пятна краски на куртке), собственно, все дело на этой ошибке и висело — уголовное дело, заведенное было на эксперта, Паршин, разумеется, прекратил. А как шло расследование дела, возбужденного в связи с беззаконием следствия? Да, Паршин убедился, что следователь С. Терновой незаконно при-

влек Антропова к уголовной ответственности и незаконно держал его в тюрьме. Наконец-то прямое и энергичное высказывание! Но тут же обвинение стало расплываться, опять то да се, опять оказалось, что следователь верил в виновность, опять дело «подлежит прекращению за отсутствием состава преступления».

Так и пошло: сперва Паршин констатирует грубое нарушение закона, а потом объясняет, почему уголовное дело, возбужденное в связи с этим беззаконием, обязательно надо прекратить. Так Яшкин-отец оговорил себя, потому что у него посадили жену и заявили, что она будет сидеть до тех пор, пока не «сознается» в убийстве; был известен и оперуполномоченный, который таким образом вымогал и получил «признание», известен был и следователь, засадивший Антропова в тюрьму. Как поступил Паршин в данном случае? Он взвалил всю вину на одного из них, однако, «учитывая» и т. д., счел «возможным и необходимым (!) уголовное дело относительно него прекратить». Неужто в самом деле это было так уж необходимо? И неужели же возможно?

На что рассчитывал Паршин, когда писал это свое постановление, — на невежество тех своих коллег, которые станут его читать, или на их бесстыдство? А, может быть, просто на их равнодушие?

Но Водянкин! Водянкин, признавшийся в пяти убийствах!

Этот эпизод заставил Паршина потрудиться, а в нашей памяти воскресил бессмертный образ ужа из пословицы, того, что на сковородке. Сперва следователь, как мы помним, установил, что Водянкин, тоже психически больной и тоже до крайности безвольный, оговорил себя под давлением оперуполномоченного Калинина, который грубо нарушил нормы УПК (был за то «обсужден на совещании и строго предупрежден»). Изложив все это, Паршин вдруг тут же написал, что заявление Водянкина о том, будто бы Калинин ему угрожал, опровергнуто. Чем же, каким образом? Да все тем же самым, очень простым — показаниями самого Калинина, который, разумеется, угрозы отрицал. Правда, он не исключал возможности того, что действительно вынимал из сейфа пистолет, но, по всей вероятности, делал это потому, что ему нужны были лежавшие в сейфе документы, вместе с ними приходилось доставать и пистолет, — а между тем это ведь тоже один из штампованных методов следователей худшего типа, один из приемов беззакония — как бы невзначай и в то же время многозначительно показывать подследственному пистолет. Но ведь Водянкин и не утверждал, что «опер» впрямую грозил ему пистолетом, он говорил лишь о том, что тот не раз вынимал из сейфа пистолет и что он, Водянкин, боялся, что его тут же и застрелят. (Кстати, нынче хорошо известен прием, когда подследственному говорят: мы тебя застрелим, скажем, «при попытке к бегству», и нам ничего за это не будет. Водянкин, как и другие, мог о подобных случаях знать.)

Значит, был пистолет, значит, умышленно или неумышленно вынимали его из сейфа, стало быть, он был одной из причин самоговора?

Вот тут-то и наблюдаем мы извив, который заставил нас вспомнить об уже и сковородке. Паршин считает, что не беззакония были причиной самоговора — всему виною сама натура Водянк-

кина. В нем, только в нем самом причина беззакония, поскольку он, «будучи психически больным человеком, стремился обратить на себя внимание, представиться волевым человеком, то есть показать те качества, которые у него полностью отсутствуют, и использовать (!) с этой целью самооговор».

Мы уже видели этот прием, когда, оправдывая самооговор, объясняют его тем, что следователь стал как бы жертвой подследственного, который ввел его, бедного, в заблуждение своей податливостью. Так объяснял беззаконие милиции Степанов в деле Полякова.

А теперь вот Паршин придумал этому приему новый оттенок, заявив, что хитрый Водянкин «использовал» самооговор, так сказать, в личных целях самоутверждения (на пути к могиле). Новая интересная краска.

Можно подумать, что юрист Паршин не знает о том, что такое допрос, каков его порядок, утвержденный в законе, как проверяются показания подследственного (тем более если это больной человек). Что он, юрист, представления не имеет о том, как признание подследственного должно быть подтверждено другими доказательствами.

Постыдное дело (неловко о нем и писать), но более чем поучительно, поскольку позволяет заглянуть в «лабораторию», где без всякого стеснения от имени власти оправдывают беззаконие.

А что до ужа на сковородке, то, коль скоро мы прибегли к образу, то и продолжим его, задавшись вопросом: что же в данном случае играет роль сковороды? Или, иначе говоря, что побудило юриста Паршина ступить на путь всех этих уверток и поворотов? Давление начальства или его собственная позиция в подобного рода делах? Впрочем, есть все основания полагать, что и стремление начальства, и его собственное стремление имеют один и тот же источник: желание защитить корпоративные интересы — явление, о которое наше бедное общество ушибается неперестанно.

— Прочли? — спрашивает Костоев, когда я возвращаю ему том надзорного дела, и прибавляет в бешенстве: — Внаглую сажали, внаглую расстреляли! И вы думаете, кто-нибудь, ну хоть кто-нибудь в нашей державе ответил за это?

Тут как раз время вспомнить и о Чикатило, о его первом деле, в связи с ним тоже был расстрелян невиновный.

Когда в Шахтах была убита девочка, внимание властей остановилось на Александре Кравченко, который еще несовершеннолетним был осужден за убийство сверстницы, отсидел в колонии несколько лет, освобожден условно, стал жить нормальной жизнью, работал на заводе, женился (скрыв от жены свое преступление). В связи с убийством девочки его арестовали, он не признавался, потом отказался от признания, которое, как он объяснил, у него вырвали пыткой, тем не менее Ростовский областной суд приговорил его к расстрелу. Александр жаловался, дело не раз возвращалось на следствие, затем тот же Ростовский суд снова вынес смертный приговор. Когда Александра расстреляли, ему было двадцать девять.

Следствие по обвинению Чикатило было закончено, дело должно было быть направлено в суд, оказалось, однако, что сделать этого по закону нельзя, поскольку в обвинительном заключении содержался эпизод с убийством девочки в Шахтах, где есть неотмененный приговор. Российская прокуратура обратилась в Верховный суд РСФСР с естественной просьбой — отменить приговор ввиду вновь открывшихся обстоятельств: найден подлинный убийца. Но в Верховном суде заявили, что в деле Кравченко никаких нарушений закона не было, а вновь открывшиеся обстоятельства прокуратурой не доказаны, и, по видимому, не без некоторого злорадства посоветовали российской прокуратуре продолжать расследование. Между тем максимальный срок содержания Чикатило под стражей кончался, это значило: либо надо направлять дело в суд, что невозможно ввиду приговора по делу шахтинского убийства, либо отпустить на свободу этого маньяка и людоеда. Прокуратура вновь обратилась в Верховный суд — и вновь получила отказ. Костоеву было ясно, что никто в Верховном суде дела не читал, к тому же отмена смертного приговора означала признание того факта, что был казнен невиновный, а это неминуемо должно было бы поставить вопрос об ответственности как работников милиции и прокуратуры, так и судей.

И тогда Костоев написал протест в порядке надзора, где вовсе не было имени Чикатило, но был полный разгром приговора по делу Кравченко — независимо от вновь открывшихся обстоятельств. Ввиду того, что мы только что шаг за шагом проследили работу юристов, которые откровенно боролись против истины, мы можем доставить себе удовольствие и познакомиться с благородной работой истинного профессионала.

«Кравченко, будучи нетрезвым около половины восьмого...» — говорит приговор. Все ложь, возражает Костоев, каждое слово. Александр пришел домой в шесть часов сразу после работы, совершенно трезвый, так показали его жена и подруга жены, причем, что самое важное, показали независимо друг от друга, в условиях, когда они договориться никак не могли. У Кравченко было прочное алиби, Костоев показал, как следователи это алиби разрушили. Начали с того, что (прием нам уже известный) посадили жену Александра, но она стояла на своем. Костоев проследил за тем, как ее показания стали путаться, и наконец она признала, что муж пришел домой не в шесть, а в восемь, как того от нее требовали. Костоев привел и более позднее ее объяснение: ей грозили, сказали, что сделают ее соучастницей убийства.

Потом посадили подругу жены — за что, как вы думаете? За лжесвидетельство, поскольку ее показания расходились с показаниями жены (замечательная логика, если один свидетель противоречит другому, любого из них можно сажать за лжесвидетельство — полный бред, ибо о лжесвидетельстве согласно закону можно говорить только после того, как оно признано судом). Подруга три дня стояла на своем — больше трех дней без санкции прокурора задерживать человека нельзя, и следователь вынес постановление об ее освобождении.

Постановление вынес, но не освободил. В ужасе от того, что так и будет сидеть до конца дней своих (ведь власти все могут!), женщина эта сдалась и дала ложные показания. Так было разрушено алиби Александра Кравченко — и Верховный суд не усмотрел никаких нарушений закона в ходе предварительного следствия!

Далее Костоев перешел к самим «признавательным» показаниям Кравченко. Как можно было счесть их убедительными, если он, признаваясь, спутал возраст девочки, неверно описал ее одежду, а место преступления три раза описывал по-новому. Сказал, что убивал ножом, который будто бы купил в таком-то магазине, а потом бросил в реку, но в реке, как ни искали, ножа не нашли, а магазин, указанный им, подобными ножами не торговал.

Костоев доказал: в распоряжении следствия не было ни единого объективного доказательства, подтверждающего признание (без чего, повторим, оно в глазах закона цены не имеет), а сами признания находятся в резком противоречии с обстоятельствами дела. Костоев показал, что Кравченко убедительно доказывал свою невиновность, но его доводы остались без внимания.

— Если я, юрист, — говорил мне Костоев, — имеющий многолетний опыт следственной работы, обладающий определенными процессуальными правами, не могу доказать Верховному суду невиновность Александра — это при том, что найден подлинный убийца! — как же мог доказать ее сам этот бедный парень?

Нетрудно представить себе, что происходило с Кравченко. Допрос. Следствие жмет, требует признания — Александр не сдается, держится. Но ведь он помнит, не забывает ни на минуту, что возвращаться ему в камеру, ставшую для него пыточной: там ждет его уголовник, здоровенный амбал, который жестоко избивает его днем и ночью. Звать на помощь? Да никто никогда не придет. Еле живой после такой ночи, снова он на допросе — и уже из последних сил, но все-таки стоит на своем. У него мощная позиция — твердое алиби, значит, с ним ничего сделать не могут. Вот почему с таким нетерпением, с такой надеждой ждет он очной ставки с женой и ее подругой.

И вот она, очная ставка. Жена сидит напротив него, у нее не только измученное, у нее еще и враждебное лицо (он не знает: ей только что сообщили тайну, которую он от нее тщательно скрывал — тайну его прошлого преступления). И она говорит, что он пришел домой нетрезвый, и не в шесть часов, а в половине восьмого.

— Ты с ума сошла! — кричит он.

И следом очная ставка с подругой жены. Он возвращается в камеру на пределе отчаяния — нет у него больше алиби! А в камере поджидает уголовник. Что оставалось ему — один-единственный путь: «признаваться», чтобы потом, выйдя к людям в зал судебного заседания, рассказать судьям правду.

Сколько заключенных, которые не в состоянии дольше выдерживать ежедневную пытку, принимают подобное решение — и попадают в ловушку. Потому что подсудимому, который признавался на следствии и отказался от своих признаний в суде,

обычно не верят. И судьи не верят, и прокурор не верит — или делают вид, что не верят. А уж присутствующие в зале не верят искренне, считают, что следователю он говорил правду, а теперь вот выкручивается. И подсудимый, говоря о том, что его пытали, не в состоянии этого доказать — тюремная медицина следы пыток, как правило, не фиксирует.

В самом деле, как доказать насилие, если оно совершено в тюремной камере, где нет свидетелей?

Как доказать насилие, если его тщательно прячут, — всегда он встает, этот трагический вопрос.

Представьте себе, Костоев доказал. И я хочу рассказать вам, как.

Не без труда добыл он оперативно-поисковое дело Кравченко, милицейские разработки, исследовал их и результаты исследования изложил в своем протесте, который был направлен в Верховный суд РСФСР. Если сопоставить доводы Костоева с ответами, которые дал Верховный суд в своем определении, получается весьма любопытный диалог суда и прокуратуры.

Кто такой М., сокамерник Кравченко? Было известно, что он вор, но не было известно, что он платный тюремный агент (под номером 7), который получил обычное в таких случаях задание: добиться признания и склонить к явке с повинной.

— Ну и что? — отвечает судья из коллегии Верховного суда. — М., будучи допрошен, отрицал, что применял к Кравченко насилие.

Кравченко утверждал, М. отрицал, почему же судьи поверили вору и уголовнику? Полагаю, они тут сами себе не верили, однако, поскольку они сказали свое веское судебное слово, Костоеву не оставалось ничего другого, как их опровергать.

Что было делать? Узнать, кто такой М. Стал Исса разыскивать следы — и отыскал. М. сидел в тюрьме Ставрополя. Отыскалось при этом одно весьма любопытное уголовное дело: арестовали председателя колхоза и посадили в его камеру того же М. все с тем же заданием — добиться признания и склонить к явке с повинной. То были времена перестройки, дело дошло до самого Горбачева, началось расследование, которое выяснило, какими методами этот вор «добился» и «склонил», они зафиксированы в приговоре (подобные приговоры стали возможны только со времен Горбачева, кстати, возможны ли они теперь?). Было установлено, что М. систематически избивал председателя колхоза, «сопровождая свои действия циничными предложениями» и угрозами убить; в помощь себе он привлек сокамерника П., которому платил за работу наркотиками. Узнику были причинены закрытая травма грудной клетки с переломом семи ребер плюс многое другое.

— Нет, — без тени стыда отвечали судьи. — Имеющийся в материалах расследования приговор в отношении М. к делу Кравченко отношения не имеет.

— Но как же не имеет, — убеждал Костоев. — Приговор в отношении М. доказывает, что он платный агент (установлена даже его плата), что он был помещен в камеру со специальным заданием — добиться «признания», что он мучил председателя кол-

хоза, издевался над ним, ломал ему ребра. Тот же самый М. явно с тем же самым заданием был посажен и в камеру Кравченко, и если последний в своих жалобах говорил, что М. издевался над ним, избивал его и требовал «признания», — кому же из них должен верить суд?

Судьи в ответ на этот вопрос промолчали.

Как я понимаю, перед членами Верховного суда стоял выбор: или отменить приговор по делу Кравченко, а это значит — поднять вопрос об ответственности за убийство невинного, возникнет целая череда уголовных дел против работников милиции, прокуратуры и суда. Или сделать вид, что все в порядке, и никаких нарушений не было, и Кравченко расстреляли правильно. Не раз сходило с рук, решили они, сойдет и сейчас. Как объяснили они самим себе свое решение? Надо думать, так же, как это делали юристы в смоленском или в свердловском деле, — убеждали себя, что делают святое дело: защищают честь корпорации.

Но хороша корпорация, и каковы они, служители правосудия, если за ними по пятам тащатся мертвые, жалуясь и проклиная, плача и грозя Божьим судом.

У следственной группы, возглавляемой Костоевым, был невеселый день, когда они решали, как известить родителей Александра Кравченко. Письменное извещение в данном случае было невозможно, кому-то из них было нужно ехать, чтобы все рассказать самому. И ни у кого из них не было сил на такой разговор.

— Вот так, — говорил Костоев, — придем к старикам и скажем: несколько лет назад государство совершило преступление. Именно Российской республики убили вашего сына. А теперь вот мы пришли вас порадовать: ваш сын был невиновен, его убили ни за что. И, кстати, никакой помощи вам, потерявшим сына, не будет. Родители афганцев, к примеру, получают пенсии, квартиры, льготы, а вам, вдвойне несчастным, не положено ничего. Так кто же из нас едет?

Никто из них не мог решиться, нашли одного следователя, который ехал в те края, он в дальней деревне нашел хату, а в ней старую женщину. И похолодел, когда та стала ему рассказывать, что сын в колонии, писем больше почему-то не пишет, а на ее запросы никто ей не отвечает.

И снова я возвращаюсь к убеждению, что наш следственный аппарат резко и четко разделен — на людей и нелюдей.

Расследуя дело Чикатило, Костоев почти безвыездно жил в Ростове.

— Знаете ли вы, — говорит он, — что в это время моих обязанностей — обязанностей заместителя начальника следственной части прокуратуры России по делам об убийствах — с меня никто не снимал?

Действительно, мне и в голову не приходило, что он, по горло занятый ростовским делом, в то же время расследует и другие убийства, не раскрытые в разных концах России, причем к нему, разумеется, поступают самые трудные и сложные дела. А разговор этот возник у нас в связи с одним московским делом, очень интересным.

— Да, интересное,— подтвердил Исса.— Только вам о нем писать не дадут,— и на мой многозначительный взгляд,— потому что преступники все из правоохранительных органов, один из КГБ, остальные из милиции.

По тем временам нечего было и думать, что подобное дело могло проникнуть в печать. Ну, а теперь я, разумеется, могу о нем рассказать — только предварительно, чтобы читателю стала ясна значимость этого дела для нашей темы, нужно рассказать о следующих криминальных эпизодах.

Пустой вагон электрички. Зима, ночь. Входит пассажир, видит: на полу меж скамейками кто-то лежит.

Молодой милиционер, он мертв. На ремне его кобура, открытая и пустая, рядом стреляная гильза.

Сержант линейной милиции Л. Смирнов. Вагон № 5 электропоезда 6664 Одинцово—Москва.

Пропавший пистолет — системы «Макаров» РА 14444.

Убийство сотрудника милиции расследуется энергично, преступников нашли, главный из них, В. Батаев, был приговорен к расстрелу, его соучастники получили долгие сроки. Это одна история, а вот другая.

В Москве пропал человек, ушел из дома и не вернулся. Были обнародованы его приметы: темноглазый, темноволосый, в день, когда он пропал, на нем были вельветовые брюки и туфли на довольно высоком каблуке. На этот раз милиции ничего разыскать не удалось. Человек этот исчез бесследно.

Ну, а теперь дело, о котором говорит Костоев.

Он тогда ненадолго приехал в Москву и, кончив тут свои дела, должен был завтра улетать в Ростов, как вдруг вечером, в одиннадцатом часу, позвонил ему тогдашний прокурор России С. А. Емельянов и сказал: только что возле универсама «Молодежный» совершено нападение на инкассаторов, есть убитые, похищена крупная сумма денег.

Предстояло немедленно выехать на место преступления, организовать расследование и принять дело к своему производству.

И это в то время, когда все «помыслы, чувства и силы» его были поглощены одним — неуловимым ростовским убийцей.

Он прибыл к универсаму. Поодаль стояли любопытные. А на месте преступления, как всегда, когда оно столь дерзкое и крупное, толпились генералы и прочие высшие чины, которые, естественно, работе не помогали.

Картина удручающая. Неподдалеку от входа в универсам лежит мертвая женщина в милицейской форме. В машине ГАЗ-24 — два трупа — инкассатора и шофера.

На одной из улиц — «Жигули» с распахнутыми дверцами, а в них оружие и мешок с деньгами. Рядом на земле валяется милицейская шинель.

Что же произошло?

Около девяти вечера к универсаму, как положено, подъехали инкассаторы, вошли в магазин, взяли выручку и в сопровождении милиционера Алфимовой вернулись к своей машине. Только

они расселись — к ней с двух сторон подошли двое (один был в милицмейской форме), открыли шквальный огонь (один из пистолета, другой из обреза), после чего выхватили мешок с деньгами и побежали к серым «Жигулям», что ждали их неподалеку.

Их попытался остановить прохожий (И. Кондратенко); когда тот, что был с пистолетом, ему пригрозил, он отступил, но запомнил номер уходящих «Жигулей» и разыскал милицмейскую патрульную машину.

Патруль пошел в погоню, нагнал «Жигули», приказал остановиться. Водитель вышел из машины и направился к милиционерам так спокойно, едва ли не лениво, что милиционеры подумали, нет ли тут какой ошибки. Но из «Жигулей» выскочили двое, началась перестрелка, один из милиционеров был ранен («Жигулям» удалось уйти), но они успели сообщить о том, что происходит, другим патрульно-постовым службам. Бандиты продолжали уходить (по дороге из их «Жигулей» вывалился труп), но на соседних улицах уже появились автомашины с мигалками. Видя, что их окружают, преступники свернули в какую-то улицу, но и там им навстречу уже шла машина с мигалкой.

Тогда они, бросив «Жигули», кинулись в разные стороны. Один из них с легу вбежал в какой-то дом, хотел спрятаться в котельной, но, увидев, что сверху по лестнице сбегает милиционер, выстрелил ему в живот и застрелился сам.

Разогнав всех, кто без толку топтался на месте происшествия, Костоев оставил тут только следователей, оперативников, экспертов, фотографа и понятых. Можно было приступать к работе. Распределив обязанности между сотрудниками — одни должны были исследовать место преступления, другие — устанавливать личность убитых бандитов, — сам он отправился в больницу к раненым.

Инкассатор ничего ему рассказать не мог — нападение было слишком внезапным. А. Козлов, тот милиционер, что сбегал по лестнице в котельную, лежал без сознания. Милиционер Кузьмин из патрульной машины сказал, что преступник, тот, что был в форме капитана милиции, высок и худощав, но видел он его в ходе перестрелки на расстоянии и разглядеть не мог.

Были еще очевидцы из числа прохожих, они сообщили кое-какие подробности в описании третьего.

Итак, трое преступников, один скрылся, двое мертвы. В подобных условиях вся надежда на личные связи убитых.

Кто они, это выяснили без труда. Тот, чей труп вывалился из «Жигулей», был их владельцем — бывший офицер КГБ Голубков. Тот, что покончил с собой в котельной, — Книгин, бывший работник угрозыска одного из московских отделений милиции. Кстати, как потом выяснит экспертиза, это он вместе с третьим неизвестным убил Голубкова и выбросил его труп на дорогу.

На следующее утро Костоеву привезли мать Книгина. Она была еле жива, говорила с трудом, вспоминала с трудом, кто-то из сотрудников — не то следователь, не то оперуполномоченный — догадался свозить ее в котельную и показать ей сына. Тяжкая тактическая ошибка: свидетель, находящийся в состоянии

пока, — не свидетель (в данном случае ошибка была особенно тяжелой: кончая с собой, Книгин выстрелил себе в рот, у него не было лица, мать тотчас же его опознала, но не по лицу).

Этой женщине сейчас требовалась помощь медиков, забота близких.

— А мне пришлось мучить ее часами, — говорит Костоев, — вновь и вновь задавать вопросы, заставлять рыться в памяти — кто бывал у них в последнее время, последние дни. Она очень старалась все точно вспомнить, но говорила медленно, а я записывал каждое слово, собственно, пока что она была моей единственной надеждой.

В числе ближайших приятелей сына она назвала Голубкова. А Исса заставлял ее память вернуться к 14 ноября, вчерашнему дню — кто заходил в тот день, кто звонил? Да, и заходили, и звонили, у них в доме вечно толпился народ. Звонил Финеев, тревожился, сказал, что оставил у них в квартире свое командировочное удостоверение. Когда звонил? Да часу в одиннадцатом вечера. Она сказала, что сына нет дома.

Костоев насторожился: звонил после того, как было совершено преступление, был в тревоге... Зачем ему на ночь глядя тревожиться о своем командировочном удостоверении?

Вернувшись с допроса, он поручил сотрудникам разыскать Финеева, и вскоре ему позвонили из ГУВД Москвы, сообщили, что Финеев у них, но он «пустой», никакого отношения к преступлению не имеет. Костоев сказал, что немедленно выезжает, чтобы Финеева держали, никуда не отпускали.

Перед Костоевым — молодой человек (до тридцати), очень спокойный, в поношенной одежде, на того, кого описывали очевидцы, ничуть не похож.

Отвечает охотно, объясняет: работал в милиции, осужден на три года за превышение власти, было такое, сейчас отбывает наказание в Калинин, на «химии». С разрешения коменданта спецкомендатуры приехал в Москву, чтобы здесь, в семье, справить свой день рождения. Приехал 13-го, зашел к Книгину, тот живет возле вокзала да к тому же может отметить его командировочное удостоверение в отделении милиции. Купил подарок сыну, приехал домой. Весь день и вечер 14-го провел с женой и сыном, «отмечал», смотрел телевизор.

Милиция уже успела проверить эти его показания, вызвали его жену, просили принести паспорт мужа — действительно, день рождения у него 14-го. Жена подтвердила, — весь вечер сидел дома, смотрел телевизор. Спросили его, какие передачи были вечером 14-го, — перечислил все до одной (и готов был пересказать).

Вот почему в милиции решили, что он «пустой».

А Костоев слушает его и ждет, когда он вспомнит о своем звонке Книгиным вечером 14-го.

Хочется спросить его об этом звонке, да нельзя — нетрудно представить себе, в каком направлении начнет работать башка этого парня: если следователь знает о его телефонном разговоре с матерью Книгина, значит, он с нею встречался. Зачем? Знает, что Книгин нападал на инкассаторов? Но почему он не спраши-

вает об этом у самого Книгина? Не значит ли это, что Книгин мертв?

Если Финеев не знает о смерти Книгина, что весьма вероятно, — тогда, спасаясь от погони, бандиты разбежались в разные стороны, и Финеев вполне может не знать, что Книгин мертв, — это единственный козырь у него, следователя, на руках.

— Воспроизвести допрос с точностью, — объясняет мне Костоев, — практически невозможно: воспроизвести можно только слова, а настоящий допрос — это еще и мельчайшие детали. Это взгляд, любое движение, выражение лица, оттенки этих выражений, не говоря уже о каком-нибудь неосторожно брошенном слове. Нужно, однако, поработать, чтобы допрашиваемый — если он виноват, он всегда настороже — сказал неосторожное слово.

Допрос — это искусство проникать в душу человека. Может быть, оно от Бога. Как проникнуть в душу такого вот Финеева?

А парень что-то знает — Костоев чувствует это, — знает, а не говорит. Рассказывает в подробностях, как провел 14-е. Вопросы, ответы. И вдруг Костоев — очень резко:

— Битый час слушаю все это вранье. Не так это было.

А как? Он сам не знает. Чувствует только — не так. Ему нужно видеть реакцию: что и как скажет Финеев. А тот молчит. Не удивился, не спросил: о чем, мол, вы говорите?

— Когда такое дело проваливается, — объясняет мне Костоев, — участники его начинают валить друг на друга — никто не хочет, чтобы его считали организатором, все знают, чем это пахнет.

Финеев слушает. Не протестует, не возмущается, внимательно слушает — и начинает бледнеть. Это внимание, эта бледность дорогого стоят.

Теперь Костоев уже знает: он задел, зацепил, тут болевая точка, на которую надо нажимать.

— Финеев, вы же сами работали в милиции, — жмет он, — вы понимаете, что больше веры тому, кто говорит первый. Показания, которые человек дал, когда его доказательствами загнали в угол или когда его уличили соучастники, таким показаниям уже другая цена. Я предлагаю вам, не усложняя наших отношений в будущем, немедленно взять бумагу и изложить все, что вы знаете в связи с этим делом.

Нажим Костоева не имеет ничего общего с тем прессингом (посадим в камеру с уголовниками) или ложью (тебя там видели, там отпечатки твоих пальцев), методами, которые применяют следователи портачи и насильники. Подобные атаки могут запутать, запугать — в конце концов тут недалеко до самоговора. И очень далеко от истины.

Костоев не стал ему врать, будто Книгин жив, дает показания и валит на него, — он вообще фамилии Книгина не произносит. Он говорит, что чувствует, — неопределенно, описывает некую возможную ситуацию. Если Финеев не виноват, все, что говорит следователь, вызовет у него раздражение, возмущение, протест, но при всех обстоятельствах пройдет, не рана сознания. Но если он и есть тот третий, каждое костоевское слово станет огнем жечь его душу — сейчас решается его судьба, его жизнь!

А Костоев уже уверен и жмет с новой силой — запираться бессмысленно, от этого только хуже. Молчит Финеев.

— Еще около часу он так мучился, — рассказывает Костоев, — потом вдруг поднял голову и спросил: «А как рассказывают Книгин и Субачев?» У меня чуть было не выскочило: «А при чем тут Субачев?» — преступников ведь было трое. Все мы привыкли к тому, что их трое.

Вот оно, неосторожно брошенное слово — Субачев! — речь идет о четвертом. Костоев чуть было не брякнул свое неосторожное слово, но все же поймал его на лету и сказал другое:

— За кого вы меня принимаете? Если бы я вам сообщил сейчас, что о вас говорят названные вами лица, а потом передал бы им, что говорите вы, как бы я в таком случае узнал, что же было на самом деле? Ведь мне нужна истина. А вам нужно помнить: в подобных случаях каждый из преступников спасает свою шкуру.

Финеев закуривает, глубоко затягивается, говорит:

— Я расскажу.

Костоев просит ребят из Мосгорпрокуратуры принести видеомagnитофон.

Говорят, будто в Костоеве некий магнетизм, а я думаю, что это скорее сверхчувствительность к состоянию другого.

Итак — Субачев! Фамилия эта была Иссе уже известна, его назвала мать Книгина в числе тех, кто звонил 14-го, и Костоев уже поручил своим выяснить, что он за человек.

Субачев этот запирался недолго, его уличил Финеев, его твердо опознали прохожие, — он тогда стоял неподалеку, спокойно наблюдал, его задачей было, если что, прикрывать отступление, при нем были бутылки с зажигательной смесью (потом был найден и человек, который изготовлял эти бутылки).

А Финеев? — он понимал, что он в клещах, что идет в этом деле «паровозом», — это он стрелял из пистолета, это на его счету убитые и раненые. И приятель Голубков, бывший офицер КГБ, тоже на его счету (сперва следователи думали, что Голубкова убили потому, что он был ранен в перестрелке и мешал бандитам бежать; он действительно был ранен, но гибель его была предreshена при любом исходе дела, Книгин и Финеев собирались уничтожить его вместе с машиной). И что теперь единственное его спасение — все рассказать.

Финеев рассказывал, как они организовывались в банду, как совершили одно из первых преступлений — убийство человека в вельветовых брюках (тут было сведение личных счетов). Они отвезли его за город, убили, а потом, обвязав веревками, утопили в болоте где-то неподалеку от Немчиновки. В тех местах после долгих поисков в глубокой грязи нашли останки, связанные веревкой. И куски вельвета нашли, и ключи, которые оказались от квартиры убитого. И нож неподалеку, тогда еще Финеев убивал ножом — это потом уже он стал стрелять из пистолета.

Из пистолета системы «Макаров» РА 14444.

Да, и молодого сержанта милиции в электричке Одинцово—Москва убили они с Книгиным, и об этом Финеев рассказал.

Надо ли говорить, как прочно была выстроена система доказательств и в обвинительном заключении, и в приговоре суда. Судил преступников военный трибунал, и было не вполне

понятно, почему, если учесть, что в приговоре не было ни слова об отношении подсудимых к правоохранительным органам.

Но ведь по делу об убийстве сержанта были и следствие, и суд, был и смертный приговор некоему Батаеву? Ну, эта ситуация нам уже почти привычна.

Передо мной справка, где старший следователь Московско-Курской транспортной прокуратуры В. Хитров подробно, шаг за шагом, излагает это дело, и мне трудно отказаться от впечатления, что даже в таком сухом официальном документе он не может скрыть своего отношения к тем служителям правоохраны и правосудия, которые его вели. Подследственный на допросе от такого-то числа, — читаем мы, — отказался признать свою вину, а на допросе такого-то числа признался в убийстве, все трое признались. «Причины этого признания из материалов дела не усматриваются», — пишет В. Хитров. Потом все трое от своих признаний отказались — и вскоре признались снова. И снова В. Хитров констатирует: «Причины их признания из материалов дела не усматриваются». Орудие убийства — нож — не найдено. Орудие убийства — пистолет — не найдено.

Даже из этой официальной справки нетрудно понять, как маялся бедный Батаев с этим пистолетом (ведь, когда он «признавался», он должен был сказать, куда дел пистолет). То он заявлял, что оставил его в Одессе, то говорил, что не помнит, где, а то вдруг кричал (я думаю, он кричал), что вообще отказывается говорить, где его спрятал (попробуем представить себя на месте этого человека!). А пистолет этот в руках убийцы уже работал вовсю.

Вот если бы сотрудники правоохранительных органов, вместо того, чтобы терзать невинных людей, искали бы этот пистолет!

И ведь не могли же они не понимать, все эти дознаватели, следователь и судьи, что, осуждая человека, против которого нет никаких улик, т. е. заведомо невиновного, совершают грубое незаконие и открывают дорогу новым преступлениям. Ведь даже если смотреть с их, циничной, точки зрения, это значит новые заботы, новая трудная работа для них же самих. Но в том-то и дело, что, сбросив эти заботы, они надеются: когда произойдет новое преступление, эти заботы лягут на чьи-то другие плечи. А если они при этом сбросили в могилу невинного парня — это уже ничья забота.

Костоев и тут возбудил уголовное дело против тех, кто допустил незаконие. И тут никто не понес наказания.

Впрочем, в данном случае все обошлось: Верховный Суд России отослал дело на доследование (но Батаева на свободу не выпустил), а пока оно шло (к чему бы пришло, можно не сомневаться), были найдены подлинные убийцы. Вряд ли Батаев знал, кому обязан жизнью.

Расследование этого дела заняло у Костоева примерно месяц, после чего он вернулся в Ростов.

Теперь мы можем ответить на вопрос, который с неизбежностью встает перед каждым, кто прочтет этот номер журнала, — как это так случилось, что в течение пятнадцати лет монстр по фамилии Чикатило выходил на свою страшную охоту, и ни разу никто не

встал у него на пути. Мы видели: если следствие заходило в тупик, его поручали Костоеву, и тот за месяцы находил убийцу, которого искали годами (как это было в деле Стороженко). А тут? Пять лет дело в производстве Костоева — и результатов никаких, в его практике такого не бывало.

Происходило нечто неподобное: преступник стал уже откровенно издеваться над своими преследователями, совершая свои дикие преступления едва ли не под самым их носом. Он стал уже каким-то наваждением, этот людоед, казался чем-то сверхъестественным, начинался бред — и вот уже милиционер регистрирует последние новости: о появлении над Ростовом, как раз в дни убийства, неопознанных летающих объектов. Было от чего сойти с ума!

Так откуда же эта пятилетняя полоса неудач?

Эпизод, когда Исса готов был возвращаться в Ростов и был остановлен прокурором России, который приказал ему принять к своему производству только что совершенное преступление, многое нам объяснит (особенно, если учесть, что подобного рода дел, которые Костоев рассматривал параллельно с делом «Лесополосы», можно привести немало).

Многое объясняет, но не все.

В конце книги Р. Лурье спрашивает Костоева, не обнаружило ли дело Чикатило пороки российской правовой системы, подобно тому, как, например, русско-японская война — гнилостность русского царизма. Конечно, обнаружило, как и любое из тех дел, что мы рассматривали, как и множество других полных беззакония дел; конечно, отразило состояние нашей правоохранительной системы (да и судебной тоже), выявило факты произвола особо свирепой концентрации. Но ведь все это одни слова, одни формулы, которые требуют, чтобы их расшифровали в конкретных проявлениях, в явлениях реальной жизни.

Сейчас очень много говорят о том упадке, в котором находятся правоохранительные органы России, не только в печати говорят — самое высокое милицейское начальство на всю страну, по телевидению признает пороки собственного ведомства, коррупцию, продажность. Но тут, как правило, речь идет о том, что называют «предательством» — готовят, к примеру, операцию по взятию банды, в глубокой тайне готовят, а приезжают — пусто, преступников кто-то уже предупредил. Такое предательство в рядах правоохранительных органов как обычное или по крайней мере частное явление — это, конечно, мощный тормоз в борьбе с преступностью. Правоохранительные органы сильно засорены, особенно милиция, мы видели это почти во всех рассмотренных нами делах, преступники проникают сюда в качестве штатных сотрудников (дело Финеева — Книгина, дело Кумского), в качестве внештатных (Стороженко был внештатным инспектором ГАИ, помните, из-за плеча начальника милиции рассматривал фоторобот, сделанный по описанию его собственного лица); да и сам Чикатило был каким-то общественным помощником милиции!

Но если бы дело сводилось к одному «предательству» или кадровой засоренности, это, я думаю, все-таки было бы

полбеда — негодаев, предающих своих товарищей и кровные интересы страны, можно было бы избаловать и покарать, это дело техники в конце концов, но только если здоров сам правовой организм. У нас же речь о глубокой болезни самой правоохранительной системы.

До сих пор, когда мы говорили о той резкой черте, что разделила наш следственный аппарат на профессионалов и непрофессионалов, на ответственных и безответственных, порядочных и непорядочных, у нас как-то так получалось, будто работают они как бы параллельно — просто одни хорошо, а другие плохо. На самом деле они сталкиваются самым роковым образом, профессионалы и непрофессионалы: одни не дают работать другим.

Книга Р. Лурье рисует нам картину разгильдяйства и тупоумия, царящих в органах милиции, в частности ростовской. Странно было читать это мне, писавшей не раз о блестящих успехах ростовской милиции, и именно ее угрозыска. Неужто в правоохранительных органах Ростова повымерли умные, талантливые и энергичные? Сам Костоев не согласится с этим.

Но нет сомнений: расшаталась самая система правоохранительных органов России, разболтались, разошлись ее скрепы. Много тому причин, разнообразны тому последствия, сейчас необходимо говорить о том, как трудно работать в этой разболтанной системе профессионалам всех уровней и специальностей.

Р. Лурье показал в своей книге, каково приходилось Костоеву, когда он сталкивался с подобного рода безответственностью и корсорукостью.

А я хорошо помню эпизод (тогда я не знала, что он ключевой и решающий), позвонил Исса (он оказался в Москве) и сказал странные слова:

— Не знаю, что с моей головой.

Оказалось, он на день — всего на день — приехал в Москву, а перед отъездом из Ростова дал строгие указания сотрудникам (и особенно милиции) относительно лесополосы (и особенно местности возле платформы «Лесхоз»), где последнее время совершались преступления. Предписал: патрули, засады, чтобы мышь не пролезла.

Приехал он домой вечером, а утром ему принесли телеграмму — опять то же и опять там же, неподалеку от платформы «Лесхоз».

Разумеется, он тотчас вылетел в Ростов. От ярости голова его раскалывалась, шла кругом — его распоряжение не выполнили и уже не в первый раз. Лесополоса оказалась бесконтрольна.

Правда, на самой платформе шла проверка, милиционер Рыбаков подошел и к Чикатило, спросил паспорт, списал его данные в свою книжку. Узнав об этом, Исса затребовал милицкий рапорт, но его не оказалось. Рыбаков доложил устно и добавил: ему, вероятно, следовало бы проследить за этим мужчиной, но он «боялся оставить пост, так как напарник его не явился». Не явился напарник — прокол номер один. Рапорт был передан по телефону, и потому в центр, куда направлялись все сведения по

операции «Лесополоса», не попал — прокол номер два. Милицейское начальство уверяло Костоева, ничего, мол, страшного, этого Чикатило уже проверяли в связи с другими убийствами, он интереса не представляет.

Еще бы немного, и убийца опять ушел сквозь дырявую милицейскую сеть.

Но Костоев уже ухватил нить. Он затребовал материалы дела об убийстве мальчика, оно не было включено в дело «Лесополосы», но в связи с ним проверяли Чикатило. Два свидетеля видели этого мальчика в день его гибели в обществе немолодого мужчины, высокого, в очках и с портфелем — обычное описание убийцы. Следователь, ведший это дело, непостижимым образом не представил Чикатило на опознание этим двоим свидетелям — прокол номер три, да какой!

Но ведь с самого начала был главный прокол (тоже «начальственный»), определивший ход всего следствия. Я не знаю, кому принадлежит «честь» этого замечательного открытия — Смоленску или Свердловску, — арест психически больных, у которых ничего не стоит добыть какие угодно показания. Когда представитель российской прокуратуры Калинин, а потом и сам Костоев ставили вопрос о невинности этих ребят и требовали их освобождения, ростовские начальники упорствовали в своей версии, несмотря на то, что преступления продолжались и даже участились, — ребят не освобождали, утверждая, что продолжают с ними работать (страшно подумать, в чем она заключалась, эта их работа). И потому подлинного убийцу практически не искали. Потом, рассказывает Костоев, когда Чикатило был уже схвачен, один из этих душевнобольных мальчишек, сельский пастушок, зашел к нему в кабинет в связи с каким-то документом, и в это же время заглянул кто-то из милицейских сотрудников. «Вот он! Вот он!» — закричал пастушок, и сотрудник милиции поспешно хлопнул дверь.

Книга Р. Лурье всей структурой своей направлена на феномен Чикатило, она показывает, сколь опасны они, порочные страсти, что глубоко, скрыто вырывают в человеческой душе, куда милиционер не поставишь. Это именно общественная опасность, и чья-то гибель тут бывает неизбежна. Но в здоровой стране, в нормальном обществе убийство должно быть раскрыто и убийца обезврежен (не сразу и не всегда такое удается, но это уже другой вопрос). Между тем в Шахтах, где Чикатило убил в самый первый раз, именно так все и было. Вспомните, как шла тут борьба общества с убийством: встревожилась женщина на трамвайной остановке, от этой ее тревоги и пошел первый импульс; увидев мертвую девочку, она тотчас обратилась в милицию — и милиция города Шахты принялась за работу очень квалифицированно и энергично. Смотрите: изготовили фоторобот настолько похожий (а как нечасто это бывает!), что в нем люди узнали Чикатило. Провели тщательный осмотр местности и нашли возле дома пятна крови; тотчас установили: дом купил Чикатило, да еще тайно от семьи. Таким образом, двумя разными путями вышли на убийцу. Сделали срезы почвы, чтобы послать в лабораторию, предстояло опознание, когда Чикатило должны были представить

свидетельнице, видевшей, как он увел девочку к дому. Цепь готова была замкнуться — убийство раскрыто и убийца в руках властей.

И вдруг приказ начальства — «рубить концы!». Никаких больше следственных действий.

Вот она, исходная горячая точка, вот где корень и причина. Работники милиции добросовестно и честно исполняли свой долг. А их начальники? Они уже арестовали Кравченко, уже довели его до испуга, уже разрушили его алиби, заставив жену и подругу жены лжесвидетельствовать. У начальников это дело уже шло на мази, «раскручивать» Кравченко им было куда сподручней. А правда жизни? А рост преступности? А жизнь молодого парня?

Когда большие милицейские начальники критикуют собственное ведомство, они ни слова не говорят о самой большой беде (не верится мне, будто ее не видят) — о том, что в правоохранительных органах создалась как бы целая структура, весьма прочная, с собственным «правосознанием» (темным и пронизанным цинизмом), со своим отношением к самому закону (если его соблюдать, преступника не поймаешь), с отработанной, обкатанной методикой и приемами. И вот возникло то жалкое сопротивление, которому все мы свидетели, когда мощному преступному миру противостоят слабые люди: ловить настоящих преступников они не умеют, а умеют хватать кого придется и «работать» с ним, пятная себя палачеством.

Я убеждена, пока эта «структура», генерирующая беззаконие и покрывающая его, не будет осознана, исследована и разрушена — программно разрушена, целеустремленно и последовательно, — пока не будет создан интеллектуально мощный и нравственно чистый аппарат расследования, реальная преграда для преступности, до тех пор уголовный мир будет торжествовать, а борьба с ним — идти столь же вяло и безрезультатно.

Сталинская эпоха была в барабаны, вопила, прославляя «органы, которые не ошибаются». А в сознании общества прочно сидело убеждение: это враги и палачи, «все одним миром мазаны». Вот почему нам сегодня особенно важно знать подлинных юристов, истинных профессионалов, им сегодня труднее всего.

Следователь, это защитник общества, прежде всего защитник — профессия по определению рыцарственная. Мы видели тех, кому Исса вернул свободу. Мы видели тех, кто живет на свете благодаря ему. Между тем, он никогда не был один, рядом с ним всегда профессионалы, умные, верные, дельные. На них на всех наша надежда.

А Костоев вспоминает: сидел он, читал жалобу Александра Кравченко, его последнюю попытку убедить судей: погибает он ни за что. Читал и думал: «Страшный человек Чикатило, но что сказать о лицах, которые убили невиновного от имени государства и дали тем самым возможность монстру растерзать еще более пятидесяти ни в чем не повинных. Да они в тысячу раз страшнее Чикатило, эти люди».

Вряд ли кто-нибудь сможет тут оспорить Иссу Костоева. Он, как всегда, знает предмет, о котором говорит.



МЕТАФОРЫ БЫТИЯ

Фотографии ВАЛЕРИЯ ПЛОТНИКОВА

*Из людей, представленных на этих фотографиях,
нельзя составить толпу, ибо они изначально отдельные.*

Они жили, когда нас не было.

Они будут жить, когда нас не будет.

*И вовсе не потому, что они значительнее многих из нас.
А потому, что так захотел художник. Он снял их двумя
цветами — светом и тьмой. И они ушли из времени, в
котором живут, — из нашей суеты.*

Каждый из этих людей — как отдельный роман.

Каждая деталь на портрете — как строчка стихов.

...И острая, как клинок, дирижерская палочка.

И шляпа, парящая вокруг головы.

И темный силуэт гитары, как призрак одиночества.

И стулья, мучительные, как прокрустово ложе.

И гениальные руки, отраженные в столе.

И пламя свечей, устремленное к Богу.

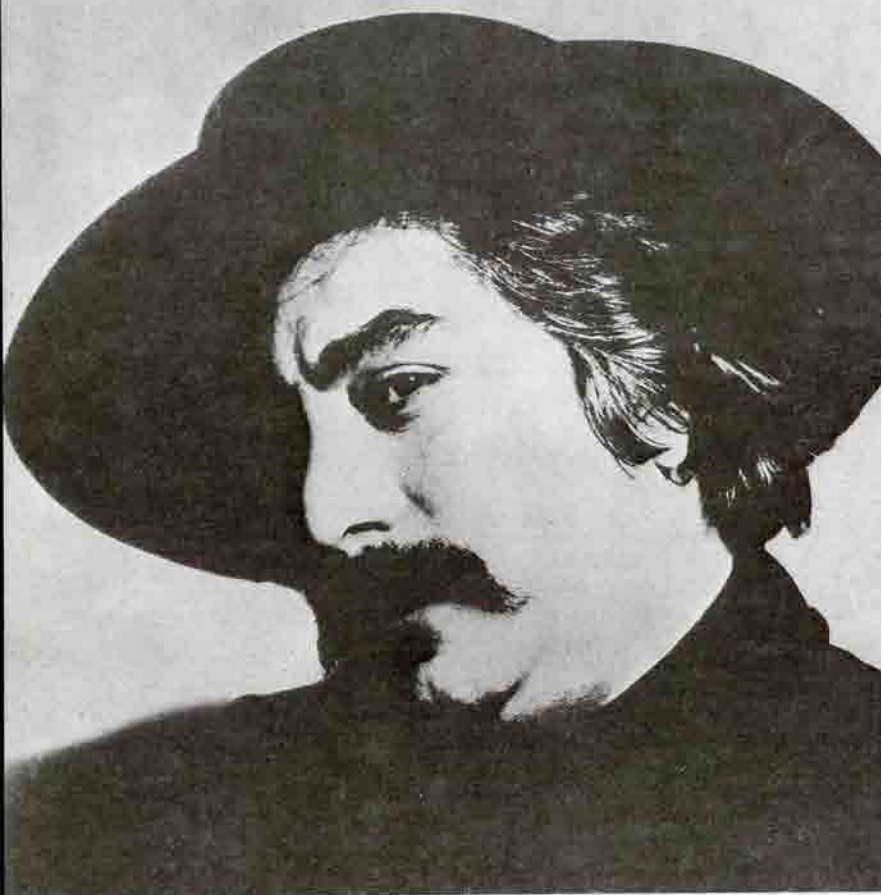
И зыбкая железная сетка за спиной, как дождь.

И луч света в черной комнате, как выход из трагедии...

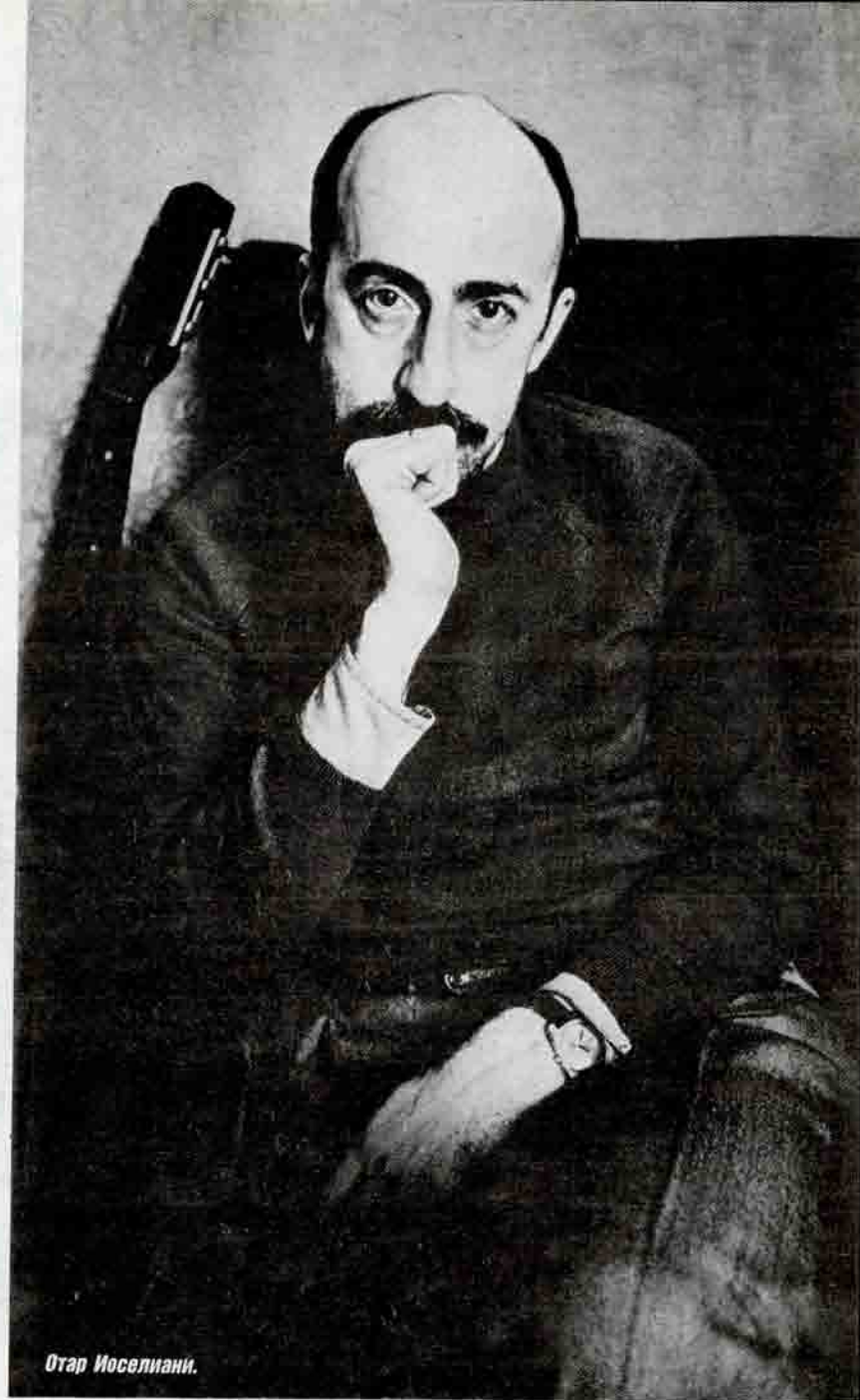
Метафоры бытия, без которых нет человека.



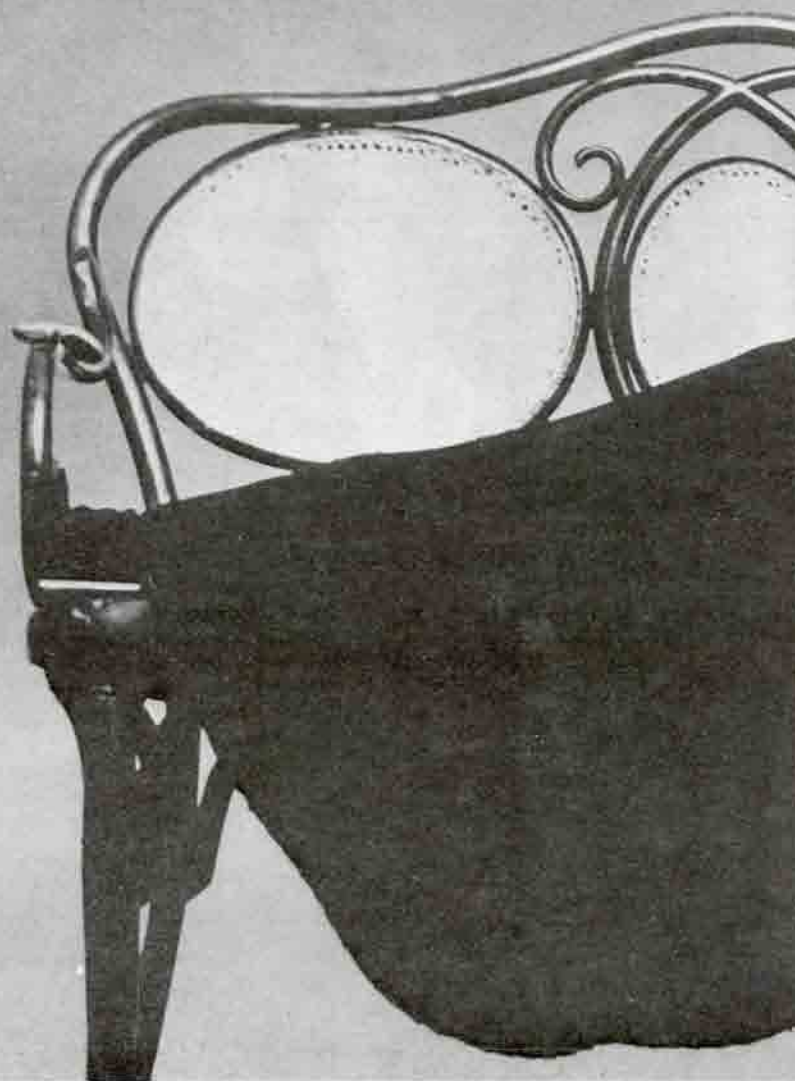
Лев Маркиз.



Гогі Кавсадзе.

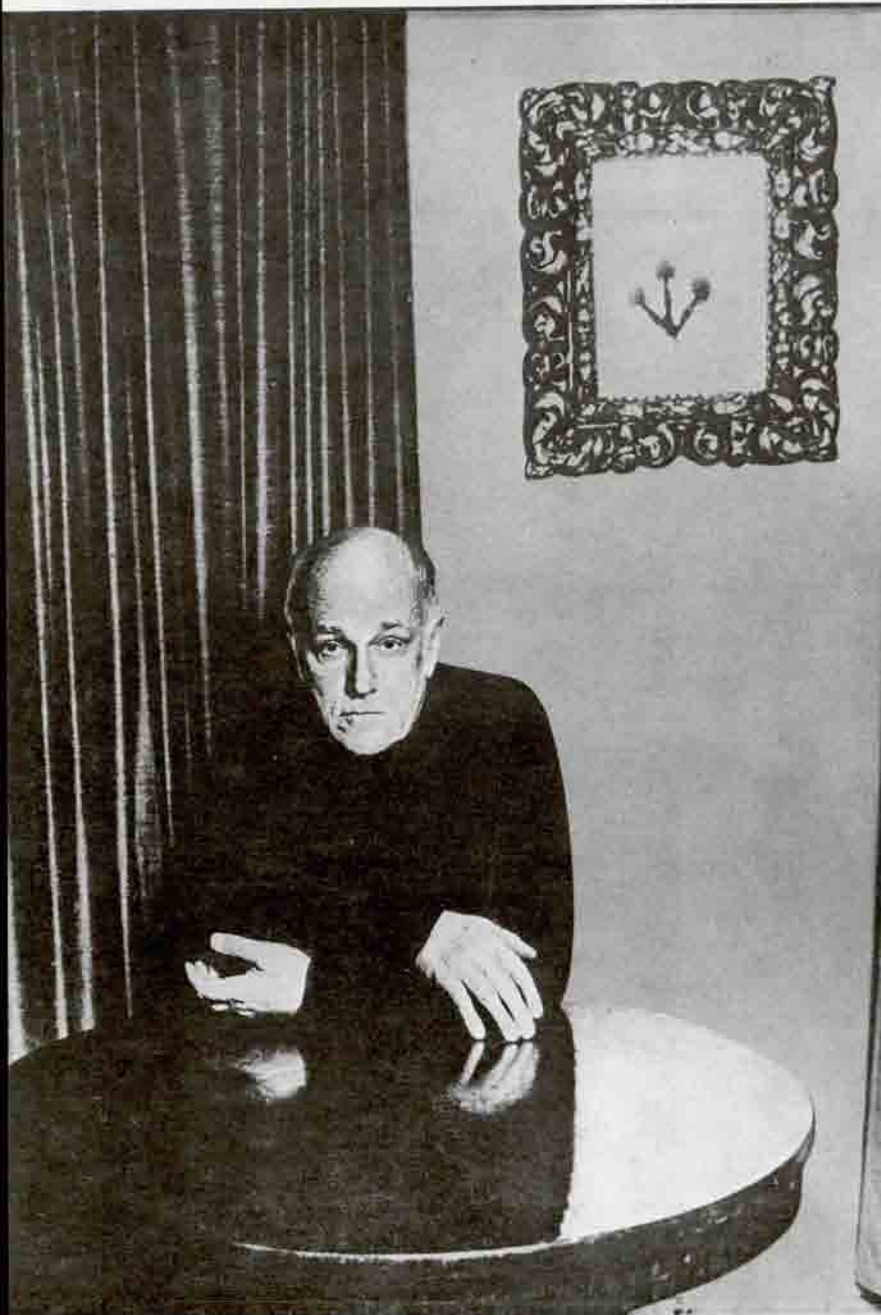


Отар Иоселиани.





Марина Нейлова.



Святослав Рихтер.



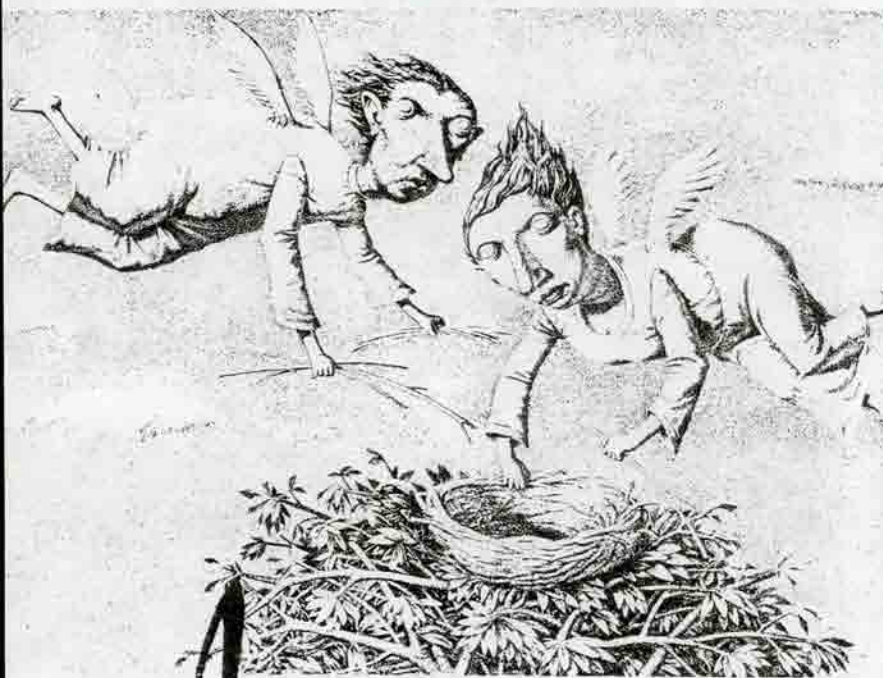
Беата Тышкевич.



Анатолий Васильев.



Сергей Параджанов и Лилля Брик.



**ЮБОВЬ и
ВЗДОХИ**

С

тех пор, как в подземных переходах начали продавать слепые копии «Кама-сутры», многие посчитали, что все сексуальные проблемы решатся сами собой, если разучишь позы и узнаешь, где находятся эрогенные зоны.

Но отношения между мужчиной и женщиной завязываются, делятся и рушатся не в постели. И для них, этих взаимоотношений, важен не только секс, но и то, что и как говоришь, как смотришь, как ведешь себя...

Словом, психология в любви существенней, чем физиология.

Многие слышали легенду о том, что мужчина и женщина — две половинки некогда единого существа. Удалось тебе найти свою недостающую часть — повезло, а не удалось — придется искать дальше... Но если он (она) — часть тебя, мы ждем от «половинки» такого же взгляда на мир, как у нас: почему это «твоя часть» смеет думать и делать не так, как ты?!..

Женщина пришла на свидание в новом платье. Она ждет, что любимый, конечно же, должен сразу восхититься ее красотой, ее вкусом. А он? Даже не заметил!..

Она считает, что он должен поехать с ней на пляж, а он, безумец, выбирает какую-то рыбалку. Почему-то постоянно не оправдывает ее ожиданий! И невдомек ей: травит она себя понапрасну, потому что ожидает — любимый будет реаги-

ЯН МИШКУЛИС, психолог

ровать на события, как женщина, а не как мужчина!

То же и с благоверным. Он ошарашен, когда его «душечка» превращается в злобную рысь, едва речь заходит о «мальчишнике» на даче у друга. По его представлениям, любящая жена должна быть счастлива, что у него много друзей, заботливо собирать кузовок на дорогу и ждать мужа у окошка.

Принято думать, люди расстаются оттого, что «не сошлись характерами»: она — слишком мягка, он — сухарь и педант... Но причина того, что двое не могут сохранить любовь, куда глубже, и зачастую она кроется в нашем детстве.

Знаю женщину, у которой были десятки романов, но она так и не создала семью; даже в постели с партнером она редко бывает удовлетворена... Какое было у этой женщины детство? Девочкой в семье пренебрегали, отец почти не уделял ей внимания. Она же хотела ласки, была готова на унижение или ложь, лишь бы папа рассказал сказку, погладил по головке. А когда выросла, стала строить отношения с мужчинами по той же схеме: вымалывать любовь, зависеть от нее. Работа, ребенок для этой женщины ничто в сравнении с любимым: влюбившись, она теряет голову и готова на все ради возлюбленного. Ее одержимость парализует мужчину и не оставляет времени, чтобы у него «выкристалли-

зовалось» чувство. Он не успевает «пройти свою половину пути», ее самоотверженность начинает раздражать его, и он уходит... А женщина, отстрадав свое, начинает встречаться с новым героем — как две капли воды похожим на предыдущего, потому что не в состоянии обратить внимание на мужчину другого типа, для обладания которым не нужны жертвы. Из раннего детства, из отношений с отцом вынесено убеждение: любви надо добиваться! И оргазм она получает лишь в начале романа, когда отношения зыбки и неустойчивы — именно это ее и возбуждает.

А вот другая пациентка: у нее был, наоборот, ласковый, внимательный отец, который надыхаться не мог на свою Дашу. А нынче у Даши рушится роман за романом. Ей уже тридцать два, но семья не складывается. А все потому, что от возлюбленных она требует «отцовского» отношения, постоянной заботы, внимания, ласки. «Поддай-принеси, сделай то, сделай это...» Какой же мужчина захочет все время угождать?

А на мужчину сильно влияют его детские отношения с матерью. Если мама, когда он рос, была его «палочкой-выручалочкой», он и от жены потребует того же. А если мама была холодна с сыном, муштровала его, он никогда не будет доверять женщинам и все свои «любоби» станет строить по принципу «один пишем — два в уме». Рано или поздно женщине с таким мужчиной станет холодно, и разрыв неминуем.

Родителям, когда они растят сына или дочь, стоит задумываться, какими те станут мужьями и женами. Влияние родителей на будущую жизнь ребенка, в том числе и семейную, огромно.

В любовных отношениях мы совершаем множество психологических ошибок. Английский психолог

Джейн Новелс даже систематизировала типичные ошибки женщины. Одна из них — стремление переделывать, «перекроить» под себя своего возлюбленного. Но партнер не глина, чтобы лепить из него что захочется. Зачем же мучить его, если он пятно на брюки посадил или носовой платок потерял?

Бывает, что от партнера слишком много хотят. Ей хорошо, а хочется, чтобы было еще лучше. Устраивает душевный комфорт — не устраивает секс; нравится сам половой акт — не подходит прелюдия к нему... Мужчина, чтобы ей угодить, лезет из кожи вон, но он же не «вечный двигатель»!

Оказывается, и в наши дни существуют Ассолы. Замечательный способ убежать от сложностей любви — влюбиться в Ричарда Гира или в Мишу из «мест не столь отдаленных». Чем больше препятствий на пути к любимому — тем жарче страсть! Почему бы не обратить внимание на «доступных» мужчин, тех, кто рядом? Причина слепоты — в подсознательном желании женщины держать мужчин на расстоянии. Моряк дальнего плавания — для нее идеальный партнер.

Женщинам не надо бояться быть сильными. От того, что вы по натуре лидер, ваша женственность не пострадает. Образ женщины — «ласковой киски» давно устарел. Современный мужчина скорее влюбится в умного лидера в юбке, чем позволит околдовать себя смазливой пустышке.

Случается и такое: дружила женщина с мужчиной, а потом захотела превратить приятельские отношения в роман. В девяносто девяти случаях из ста и романа не получается, и друга можно потерять...

Психологические барьеры и стереотипы часто разделяют двоих в постели еще сильнее, чем незна-

ние техники секса. Многие дамы, например, отбросив ложную стыдливость, «заводят» своих мужчин, даже когда им не хочется этого делать. Раскрепощенность — это замечательно, но надо бы учитывать: когда влюбленный мужчина ласкает женщину, он возбуждается сам, и даже сильнее, чем от ласк любимой. Женщины порой излишне «усердствуют» в постели. Хорошо, что вы раскованны и ничего не стесняетесь, но зачем обрушивать на партнера нескончаемую череду поцелуев и поглаживаний?

Мужчины... боятся женщин. Недаром они на все лады и во все века воспевали неведомую силу, которая влечет их к «прекрасному полу». Помните, как Одиссей приказал спутникам привязать себя к мачте, чтобы его не обольстили сирены? А богиню Кали, что танцует на трупах убитых мужчин? Вспомним непобедимого Самсона: его обманом лишила силы Далила; Юдифь обезглавила Олоферна после того, как отдалась ему; Саломея отрубила голову Иоанна Крестителя... А почему в средневековые сжигали ведьм? Из-за того же страха власть в грех, попасть во власть Дьявола.

Этот подсознательный страх перед женщиной порождает в мужчине агрессию, желание унижить любимую. Неосознанный страх рождает стереотип: мужчина должен просить, добиваться, завоевывать. Это типичное заблуждение всех европейцев; следствие нашего воспитания, культурных традиций, менталитета. Для многих русских женщин сказать: «Я хочу тебя», — что-то немислимое. А почему? Если ей хочется любви, почему бы не начать первой? В африканских племенах «заводилой» всегда была женщина. Она увлекает и первой предлагает любовь — мужчина лишь радостно подчиняется.

Многие женщины не в силах рас-

сказать партнерам о своих тайных желаниях, о своих сексуальных фантазиях — и потому страдают втихомолку. Но мужчина-то не новоявленный. Почему бы не поговорить о сексе? Женщине начать такой диалог безумно трудно — ложная стыдливость мешает многим. А потом сама же женщина укрепляется в мысли: не понимает — значит, не любит. А как понять, если ни одного слова не было сказано? Он и не догадывается о мечтах партнерши.

Помните знаменитый снимок, обошедший многие журналы мира: возлюбленная Алена Делона нежно целует его руку? Многие возмутились, не поняли, осудили... Поверьте психологу: в любви поступать вопреки стереотипу полезно. Стоит прислушиваться лишь к собственной интуиции, а не к тому, что «скажет Марья Алексевна», и стараться доставить друг другу побольше радости. А кто кому будет целовать руки — какая разница!

Эксперимент — тоже хороший путь для того, чтобы любящие пары лучше поняли друг друга. Любобные опыты могут быть разными. Недавно я побывал в гостях у одного хлебосола и выдумщика. Собрались друзья, чтобы... попробовать любовь на вкус. К столу подавались исключительно афродизиаки. (Афродизиаками в древности называли снадобья, возбуждающие половое желание, названы они так в честь богини Афродиты.)

Ели мы там крольчатину с шалфеем, чабрецом и василистником. Травы издавна славилась приворотным действием, а василистник действительно распалает женскую страсть. Им в прежние века посыпали помидоры и называли их «яблоками любви». Кстати, если настоять чабрец и принять с ним ванну, то женщин начнет клонить ко сну, а мужчины после такой про-

цедуры почувствуют себя на любовном ложе львами.

Угощали нас на вечеринке салатом из креветок, кальмарами, крабами. Подавали сельдерей — говорят, с его помощью мадам де Помпадур долгие годы сохраняла любовь Людовика. Были блюда с чесноком — имбирь, гвоздика и петрушка убивали неприятный запах... Не сомневаюсь, что у парочек, побывавших на вечеринке, была потом незабываемая ночь.

Чем плох этот забавный секс-эксперимент?.. Ведь обыденность убивает любовь. Почему бы любящей паре не испробовать, например, продукцию секс-шопов? Про «шпанскую мушку» слышали? Несколько капель — и от желания начинаешь «бегать по потолку». В этом снадобье содержится кантаридин — вещество, выделенное из маленького жучка (его-то надо по согласованию с врачом очень аккуратно дозировать, потому что слишком большие дозы могут вызвать язву желудка).

Если порой тяжело переступить психологические барьеры, разделяющие близких людей, любящих друг друга, то для того, чтобы завоевать человека, который лишь издали понравился вам, придется изрядно потрудиться.

И для начала надо бы присмотреться к тому, кого вы хотите покорить. Постарайтесь понять, каков его психологический тип. Кто он? Легковозбудимый, но быстро остывающий? Артистичный, эмоциональный, но безответственный? Может быть, педант? Или ранимый, тревожно-мнительный? А если «непробиваемый»? Чтобы понравиться, с каждым придется вести свою игру: не перечить возбудимому; не молчать с «непрошибаемым»...

Если хотите произвести впечатление, лучше поменьше говорить и

побольше слушать собеседника. Люди любят, когда с ними соглашались: даже если вы спорите, улучите момент, чтобы разделить мнение собеседника. Людям нравится показывать свой ум, компетентность, знания — особенно это касается мужчин. И учтите, что мужчины не любят проигрывать и плохо относятся к женщинам, которые были свидетелями их поражений.

А теперь несколько конкретных советов психолога. Пусть некоторые из них покажутся вам тривиальными, но, следуя им, вы можете, уверяю вас, достичь гармонии в отношениях с любимым человеком.

* Если вы хотите сохранить любовь — не стремитесь «все знать», пусть ваш любимый имеет свои маленькие тайны. Право на личную жизнь должно быть у каждого.

* Если у вашего партнера появился новый предмет обожания, не надо «крови» и разборок. Попробуйте, как это ни сложно, посмотреть на ситуацию терпимо. В конце концов никто и никогда не вступает во внебрачные отношения для того, чтобы оскорбить своего близкого. А для мужчины секс — зачастую лишь способ доказать его принадлежность к сильному полу... Не надо ни о чем расспрашивать. Попробуйте жить, как жили, и вы увидите, что скорее всего ваша прежняя любовь к вам не только возвратится, но и вспыхнет с новой силой.

* И мужчины, и женщины любят комплименты. Не пощупайте на похвалы уму, красоте, обаятельности партнера. Пусть мужчина чувствует: вы в его власти, но время от времени давайте понять, что он может эту власть и потерять.

* Хорошо бы — обоим полам! — внимательно относиться к собственной внешности. Любая небрежность в одежде может запросто убить интерес к вам.

• **Современного мужчину** не удивишь, если крепость сдается в первый же вечер. Но если мужчина будет долго вымучивать интим, вряд ли этим женщина набьет себе цену. Скорее ее акции повысятся, если она не будет жеманничать, а щедро подарит свое чувство в ответ на любовь.

• **Не стоит быть агрессивной**, если вы решили предъявить претензии к партнеру: к вам больше прислушаются, если вы будете говорить спокойно, по-деловому. (Кстати, если вы взвинчены, то хуже соображаете, чем когда владеете собой...)

• **Лучше не критиковать** способностей вашего возлюбленного. Сильный пол вообще куда болезненнее, чем женщины, относится к профессиональным неудачам.

• **Если** вы в чем-то унижаете партнера, помните: этот бумеранг всегда возвращается. Когда-нибудь «униженный» отыграется на вас.

• **Как бы кто-то** ни скрывал сексуальный интерес к вам, его непременно выдадут взгляды и жесты. Если вы научитесь читать эти тайные послания, вам не надо будет ломать голову: «А как он (она) ко мне относится?»

• **Женщины больше мужчин** переживают, если отношения не клеятся. Хотите спрогнозировать, будете ли вы иметь успех в любви? Попробуйте ответить на небольшой тест. Если хотя бы на три вопроса вы скажете «да», вам лучше пересмотреть свои отношения с мужчинами. Итак:

• Ваши родители часто ссорились, когда вы были ребенком? Вы страдали от их невнимания?

• Вы испытываете куда больше радости, когда заботитесь о ком-то, чем когда заботятся о вас?

• К вам холоден мужчина... Будете ли вы добиваться его «любой ценой»?

• Вы очень боитесь остаться одна?

• Ради любимого пойдете на любые жертвы и непременно поможете ему?

• Вы слушаете лишь тех подруг, кто советует попробовать еще раз завоевать любимого?

А для мужчин — другой тест. Вспомните число, когда вы познакомились со своей избранницей? А когда вы поженились? Когда у нее день рождения? Сумели ответить на все три вопроса? Значит, в вашей жизни царят гармония и любовь.

Разумеется, последний тест — шуточный, но в каждой шутке...

Записала МАРИЯ РИПИНСКАЯ.

"Судьба давала мне шанс"

114 Владимир Мотыль закончил театральный институт и исторический факультет университета. Работал в небольших уральских театрах, главным режиссером Свердловского театра юного зрителя. Оттуда пришел в кинематограф.

Начинал на Свердловской киностудии вторым режиссером фильмов Ярополка Лапшина и Юлия Карасика. В 1963 году снял свой первый художественный фильм «Дети Памира», за который получил Государственную премию Таджикской ССР, затем фильм «Женя, Женечка и Катюша».

А в 1970 году на киноэкранах страны возшло «Белое солнце пустыни». «Звезда пленительного счастья» (1975 год) только добавила популярности режиссеру.

- Давайте нарушим традицию и начнем с вопроса, который обычно задают последним: над чем вы сейчас работаете?

— Заканчиваю фильм «Несут меня кони». Хотя на экране будут наши современники, по сюжетной канве это Чехов. Нынче пошла мода на Чехова. Не только у нас, но и в мире. Я невольно оказываюсь в русле этой моды, хотя для меня и не в конъюнктуре дело... Я шел к Чехову давно, когда еще только начинал как театральный режиссер. Одной из первых моих работ на сцене Нижнетагильского драматического театра был спектакль по Чехову. В кино же мне никак не давали к нему пробиться, хотя было несколько заявок на экранизации. В частности на «Три сестры». Удалось реализовать лишь телефильм «Невероятное пари»: несколько новелл, объединенных одной темой — деньги и отношения между людьми.



Фото ВЛАДИМИРА ЧЕЙШВИЛИ

— Там снимался замечательный актерский дуэт Ирина Муравьева — Михаил Козаков. И Алексей Петренко...

— Кстати, это у меня единственный случай, когда заявку на экранизацию приняли с ходу. И только потому, что однажды выяснилось: в планах ТВ на тот год не оказалось ни русской классики, ни комедии. Я тут же сказал директору «Экрана»: «Хотите, принесу вам завтра заявку на комедию из русской классики?» Написал за ночь и принес. То есть прорвался абсолютно случайно... И еще потому, что хорошо знал всего Чехова.

— Значит, не случайно...

— Ну, если рассматривать случай как скрещение двух закономерностей... Марк Твен очень хорошо сказал, что счастливый случай стучится в двери каждого, но мы в это время в соседнем кабаке не слышим стука. Так вот, у меня не было такого, чтобы я пропустил счастливый случай. Просто не мог себе этого позволить — в условиях постоянного напряжения, в которое вгоняли меня власти, всегда должен был держать бойцовскую форму. Иначе задавили бы.

— А сейчас?

— Сейчас приходится быть активным, как никогда раньше. Но за плечами многолетняя школа выживания, хождений по инстанциям... Более десятка лет пробивался к фильму о декабристах.

Кто такие декабристы? Это первые русские диссиденты из тех, что всегда, даже теперь, неуютны властям. Мне закрывали один сценарий за другим. Сперва была история Кюхли по Тынянову. Закрыли на «Мосфильме». Потом вместе со Шпаликовым и Маневичем мы сделали сценарий о Пьере Каховском. То же самое... И, наконец, история поручика Анненкова и Полины Гельб, основанная на ее «Запи-

сках». С них начинал я сценарий «Звезды пленительного счастья». Но стена была непробиваемая. Однако Господь помог. Воля Божья — это провидение, то, что предназначено свыше.

— А как же классическое утверждение: «Кто ничего не делает, с тем ничего не станется»?

— И народ о том же говорит: на Бога надейся, а сам не плошай. Что такое счастье, удача? Это шанс, который дает судьба, тот самый стук в дверь. Услышит его тот, кто ожидает, прислушивается... Каждый раз, когда мне закрывали по три-четыре сценария и положение казалось безнадежным, судьба все-таки давала шанс, посылала счастливый случай... И я его не упускал.

Скажем, закрывают на «Мосфильме» «Звезду пленительного счастья» — я отправляю сценарий в Ленинград, бросаюсь аж в Смольный. И, представьте, в этом центре большевизма встречаю интеллигентнейшего человека — Евгения Афанасьевича Лешкова, заведующего отделом кино обкома партии. Ему понравился сценарий фильма. Но этого было мало, чтобы пробиться сквозь броню запретов. Тогда Евгений Афанасьевич добивается телефонного звонка секретаря обкома Кругловой в Госкино: мол, ленинградской парторганизации этот фильм нужен... Ключевая фраза была произнесена — и я получил возможность сделать двухсерийную «Звезду» в Ленинграде.

Кстати, главного героя моего нового фильма «Несут меня кони» я назвал фамилией Лешков. Это, конечно, не случайно. Знак доброй памяти.

— У героев фильма не чеховские имена, а те, которыми вы их нарекли?

— Дело в том, что к Чехову у меня всегда была тяга как к авто-

ру, с помощью образов которого возможна исповедь. Исповедание — это то, чего нам и раньше не хватало, а сейчас и подавно. Мне захотелось снять исповедальный фильм, главный смысл которого — осознание собственной вины, раскаяние, потребность заглянуть себе в душу. Идеи Чехова не только созвучны нынешнему времени, они абсолютно органично в него вписываются.

Я решил взять за основу чеховскую «Дуэль», использовал также ряд других сюжетов, в частности «Рассказ неизвестного человека».

Но это не экранизация. Это история, разыгравшаяся сегодня, вчера, в прошлом году. Это наши современники. И такой вот временной сдвиг, я думаю, оправдан еще и тем, что нынешнему зрителю, особенно молодому, куда легче будет проникнуться чеховскими идеями в современной, так сказать, фактуре, чем если бы я делал костюмный фильм о девяностых годах прошлого столетия.

— В ваших фильмах, как правило, снимаются известные актеры, звезды. Но при этом всякий раз образуется некий симбиоз героя фильма и звезды экрана. Происходит как бы «ряд волшебных превращений», и мы, зрители, уже не можем отделить горячо любимых всеми Сухова и Верещагина от их исполнителей — Анатолия Кузнецова и Павла Луспекаева. Или Ивана Анненкова и Полину Гельб — от Игоря Костоловского и Эвы Шиккульской. А можно ли представить на месте главного героя фильма «Женя, Женечка и Катюша» кого-нибудь другого, кроме Олега Даля!..

— Прежде всего в моем воображении рождается тот образ и характер, который мне нужно найти в актере. Я представляю его в деталях. Вижу лицо, слышу голос, знаю

его манеры. Могу от имени героя написать монолог, угадывая, как он поведет себя в любых обстоятельствах. То есть я знаю о нем все, вплоть до интимных подробностей. Только после того, как этот образ состоялся в моем воображении, приступаю к поиску актера. Это не просто, потому что я ищу полное внешнее и внутреннее соответствие. Пока этого не найду, не могу снимать.

Надо сказать, что всю жизнь выбор актера был для меня приоритетным. Успех, скажем, «Белого солнца пустыни» наполовину определил актерский ансамбль. И в новой работе я встретился с выдающимися молодыми талантами. Прежде всего с Андреем Соколовым. Его Иван Лешков, по-моему, станет событием в актерском мире. В роли Николая — антипода Ивана — снялся Сергей Виноградов. Его работа — высокого класса профессионализм, психологическая утонченность, изысканность...

А с поиском исполнительницы главной женской роли красавицы Нади — Надежды Федоровны — поначалу сложилась просто кризисная ситуация. Никак не мог найти актрису. Невозможно было начинать картину о безумной любви без героини, способной очаровать, влюбить в себя всю мужскую половину будущих зрителей. Хоть отказываясь от фильма. Среди тех, кто пробовался, были талантливые актрисы, но полного соответствия образу не происходило. Выручила моя дорогая Эва Шиккульска, порекомендовала Агнешку Вагнер — молодую польскую актрису, восходящую звезду. А озвучивает Агнешку наша актриса Людмила Потапова-Балаур. Ее голос обогащает характер героини, добавляет в интонациях то русское, потаенное, что сложно было полностью постичь иностранной актрисе, даже если бы не было акцента.

— *Владимир Яковлевич, мы начали нашу беседу, что называется, с конца. А теперь давайте поговорим о том, как состоялась ваша творческая биография в кино?*

— В 1963 году после фильма «Дети Памира» Иван Пырьев пригласил меня на «Мосфильм». Но так получилось, что там я не сделал ни одной картины... Только последний фильм «Расстанемся, пока хорошие» частично снимался на «Мосфильме». Но с продюсером крупно не повезло. Он продал картину за гроши Российскому телевидению, а те показали ее по ТВ в такое время, что практически никто не видел. Кстати, главную роль в фильме «Расстанемся, пока хорошие» сыграла только что упомянутая талантливейшая Людмила Потапова-Балаур. И я не теряю надежды, что картина все-таки дойдет до широкого зрителя. Сейчас ведь многие отснятые фильмы пребывают в неизвестности не потому, что их не пропускает цензура, как это было с моей экранизацией «Леса» по Островскому. Картину тогда положили на полку за «искажение русской классики». Глеб Панфилов сказал мне по этому поводу: «Ты их раздражаешь разрушением стереотипов». Думаю, что прав он лишь отчасти, потому что тогдашние хозяева жизни узнавали на экране себя и приходили в ярость.

— *Тем не менее «Белое солнце пустыни» — теперь классика...*

— За этот-то фильм мне больше всего и досталось на «Мосфильме». Называли бездарнейшим режиссером, всерьез пытались закрыть наполовину отснятую картину или найти другого режиссера, чтобы меня заменил. Владимир Басов, которому это предлагали, позвонил мне и сказал: «Шакалом я никогда не был». Пытались защитить фильм Игорь Таланкин, Георгий Данелия...

Четверть века фильм «Белое солнце пустыни» был в числе самых любимых зрителями, однако не имел ни одной награды. Более того, Госкино приняло картину по низшей, третьей категории... И вот спустя 25 лет на него посыпалось золото: в ноябре 1995 года — приз «Золотой Остап» в Санкт-Петербурге в номинации «Фильм-легенда». В декабре — приз «Золотой билет» на всенародном кинофестивале Российского телевидения в номинации «Любимый фильм».

— *Сейчас-то, в отсутствии цензуры, вы ощущаете наконец полную творческую свободу?*

— Сейчас цензор — деньги. У меня не было возможности снять «чеховский» фильм: нужны были деньги на костюмы, кареты, лошадей, соответствующие декорации... Если предаться по этому поводу отчаянию, то нужно либо снимать халтуру, либо вообще ничего не снимать. Но есть еще один вариант — пошевелить мозгами. Как я поступаю? Уезжаю в подмосковный Дом творчества, закрываюсь на три недели и без дня передышки заново пишу сценарий на современную тему, используя только мотивы, идеи Чехова. Из-за безденежья? Да! Но сейчас несколько не жалею об этом, потому что безденежье дало импульс творческому поиску, вывело на открытия. А как режиссер я снимал картину на том максимуме свободы, о котором мечтал всю жизнь.

— *Значит, нет худа без добра?*

— То, что нехватка денег заставляет вести более интенсивный творческий поиск, — бесспорно. Для меня образец — судьба лучших американских режиссеров. Лучших! Не тех «творцов» конвейера, наживающихся за счет не задорого снятых, задешево продаваемых слаборазвитым странам картин, что заполнили сегодня наши экраны.

Есть великое американское кино. Его делают режиссеры, которые начинали работать в условиях рыночных взаимоотношений. Эти условия побуждали к максимальной активности в отличие от подавляющего большинства наших баловней — фаворитов бывшего киноначальства. Любой крупный американский мастер никогда не относился к прокату свысока. Если у него есть три-четыре хорошие идеи, он выберет ту, которая способна привлечь массового зрителя. Но будет делать фильм по законам высокого искусства.

— Вы ведь тоже снимали и снимаете свои фильмы по законам высокого искусства. Но если снятое в условиях творческой несвободы «Белое солнце пустыни» свободно крутят по всей стране, в любом медвежьем углу, и несчетное количество раз показывали по телевидению, то последний ваш фильм «Расстанемся, пока хорошие», как вы сами сказали, по сути, никому не известен. А ведь он снят в условиях перестройки. Есть ли у вас уверенность, что такая же судьба не постигнет ленту «Несут меня кони»?

— Это самое болезненное место нынешнего российского кино — кризис проката. Производство без надежды на сбыт невозможно. А у нас монополисты, владеющие прокатом в России, ориентируются на дешевые западные фильмы. Винават наш пещерный капитализм. Но не только. В значительной мере виноваты и баловни-режиссеры, привыкшие с презрением относиться к «кассе». У нас многие годы критерием значимости режиссера была не популярность фильма в народе, а система званий — заслуженный, народный... Звания растлевают, порождают амбициозность. Наши заслуженные мастера зачастую снимали фильмы ради политиче-

ского угодничества либо для узкого круга — для западных фестивалей. И лишь немногие интересовались тем, как их фильмы смотрит народ. Я не любил смотреть свои фильмы вместе с профессионалами. Шел в кинотеатр к зрителям, потому что их реакция для меня всегда очень важна...

Что касается проката фильма «Несут меня кони», то уже сейчас мы начали дистрибьютерскую кампанию с тем, чтобы фильм дошел до зрителя. Такая солидная фирма, как российско-французская «Мост-Медиа», высоко оценила прокатные достоинства моей новой ленты, и наши переговоры, возможно, завершатся приобретением прав проката на два года фирмой «Мост-Медиа»... Я не принадлежу к природным оптимистам, но думаю, что время возрождения российского кино не за горами. Народ «объелся» импортной киношной дешевкой. И удача светит тому коммерсанту, который это вовремя учует и сделает ставку на конкурентоспособное отечественное кино.

— И еще о будущем: съемки фильма «Несут меня кони» закончились. Что дальше?

— У меня есть несколько проектов. Я уже связывался с разными продюсерами, в том числе с одним иностранным. Как и всегда, пытаю счастье по нескольким направлениям.

— Есть сценарий?

— Есть увлекательные идеи! Это даже поважнее сценария.

**Беседу вел
ЕЛИЗАВЕТА ЧЕРНЯВСКАЯ.**

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВ

ФРАНС



ХАЛС



Тесная компания (фрагмент),
1633—1637 гг., Амстердам

Ван Дейк приехал в Харлем не ради любопытства, что, впрочем, по тем временам вполне было бы объяснимо: в Харлеме царила настоящая мания на тюльпаны, городок по праву считался «луковичной столицей Европы», а городские садовники получали за свое ремесло, трудно выговорить, до двенадцати миллионов золотых флоринов ежегодно. Но не головокружительный аромат тюльпанов, заглушавший запах моря, привлек к себе знаменитого фламандца и даже не то, что Харлем почитался тогда Меккой для художников Европы, потому что так сложилось, что харлемская живописная школа превосходила в ту пору столичные. Нет, в Харлем Ван Дейк явился по другим причинам, и явился тайно.

Была у него цель, которую он не скрывал только от самого себя, потому как, обнаружившись, это бы вызвало по крайней мере недоумение среди аристократов, его окружавших, и, конечно, европейских монархов, наперобой желавших внимания его прославленной кисти. По всем этим причинам Ван Дейк явился в Харлем инкогнито.

Июньским солнечным утром 1630 года Ван Дейк постучался в двери старого дома под остроконечной крышей на улице Пьюзелор, в котором, как указал ему первый же попавшийся харлемец, жил Франс Халс. По-голландски чисто одетая, не чрезмерно полноватая женщина с мягкими чертами округло-



го молодого лица, с гладко причесанными и аккуратно убранными под кружевной чепец светлыми волосами и такими же светлыми приветливыми глазами пригласила его войти. Незнакомец отрекомендовался приезжим из Антверпена, желающим заказать портрет мастеру Халсу, о котором наслышан. Мимолетное движение бровей, выразившее нечто вроде удивления, не ускользнуло от внимательного взгляда незнакомца, хотя светлые глаза хозяйки по-прежнему сохраняли спокойную приветливость.

— Мужа нет дома, — отвечала Лисбета, вглядываясь в изящно одетого незнакомца и легко предполагая в нем человека значительного, добавила: — Не желает ли господин отдохнуть, пока я пошлю за ним сына?.. Утром он обычно занимается с учениками в натурной школе.

Незнакомец учтиво поблагодарил хозяйку, а двенадцатилетний Ян с охотой согласился исполнить возложенную на него миссию, отправившись, однако, не в натурную школу, помещавшуюся недалеко от дома Халсов, а в любимый отцовский трактир, который был еще ближе. Здесь он и нашел отца в привычной компании утренних собутыльников над привычным же натюрмортом, состоявшим из чисто выскобленных, отполированных временем массивных лесин стола, таких же массивных глиняных кружек на нем и обильных — золотистых, желтовато-розовых, смугло-охристых, серебристо-зеленоватых — даров моря, шумевшего в чаше ходьбы от города. И этот натюрморт, и лица над ним окутаны были голубоватыми, смягчавшими яркие краски, кисеями табачного дыма. Все это было привычно малолетнему Яну с тех самых пор, как он помнил себя.

— Какой-то важный господин приехал к тебе из Антверпена. Он хочет, чтобы ты написал его портрет.

Глиняная кружка не дрогнула в крепких пальцах мастера, но чуть быстрее обычного приблизилась к полным ярким губам под светлой опушкой усов. Кивнув, он сделал глоток, отослал сына домой, а сам продолжал допивать вино и докуривать трубку.

Вернувшись домой некоторое время спустя и, как можно догадываться, недовольный тем, что помешали привычному распорядку рабочего его дня, Халс довольно холодно поздоровался с незнакомцем; на просьбу того написать с него портрет отвечал отказом потому, что не в его правилах было приниматься за портрет без продолжительного изучения модели: все написанные им харлемцы — от бургомистра до уличного бродяжки — были его знакомцы, потому он мог писать их как бы с закрытыми глазами. Разумеется, об этом Халс не сказал незнакомцу, но тот, похоже, угадывал, о чем должен был думать мастер, и, чтобы не получить последнего решительного отказа, предложил ему такую плату за свой портрет, что тот, взяв первый же попавшийся подрамник с загрунтованным холстом, быстрыми привычными движениями закрепил его в мольберте. Затем, взяв чисто выскобленную палитру, выложил на нее шпателем полдюжины красок, расположив их кругом и в той самой последовательности, которая внимательному взгляду могла сказать о крепкой школе, пройденной мастером.

Часа два Халс работал молча. Все это время незнакомец смо-



Вердонк. 1627 г., Эдинбург, Национальная галерея Шотландии.

трел на него как-то особенно. И то сказать, окажись теперь на месте позирующего человек, знавший толк в живописи или хотя бы видевший пару раз, как работают живописцы, он должен был бы удивиться, и прежде всего тому, что Халс обошелся без предварительного рисунка. Дальше начинались и вовсе чудеса. Мастер не взял даже угля, чтобы нанести на холст хотя бы контур модели; он рисовал его прямо кистью с жидко разведенной маслом и скипидаром краской и потом заполнял этот непросохший контур красочными пятнами, которые с невероятной быстротой творил на палитре или прямо на холсте. Туго натянутый холст глухо отзывался барабаном или звенел, как бубен. Иногда казалось, что кисть, как плетка, безжалостно стегает холст, но чаще она казалась похожей на пшпагу в руке фехтовальщика, чувствующего превосходство над противником и уверенного в победе.

Нет, в самом деле, смысла что-нибудь в живописи стоявший по ту сторону холста незнакомец, он должен был бы сознаться, что подобного процесса, метода, манеры — как угодно! — никогда и ни у кого не видел. Но, окажись он в эти минуты не за холстом, а перед ним, он удивился бы еще больше: краски, которые Халс бросал кистью на гудевшее и звеневшее полотно, были обычные масляные, весомые и густые краски, но на холсте они казались прозрачными, просвечивающими, как акварель!.. Это чудо незнакомец увидел позже, когда спустя два часа Халс сказал, что работа окончена.

Точных слов восхищения — а они должны были последовать от потрясения этой невиданной живописной маэстрией — история не сохранила, но известно, что, глядя на портрет, написанный на его глазах Халсом, и расплатившись, как было обещано (тугой кожаный мешочек, перехваченный у самого верха кожаным же ремешком, остался на рабочем столе мастера), незнакомец предложил со своей стороны тотчас же сделать портрет Халса. Тот удивился, но занял место модели. Незнакомец, взяв уголь в тонкие пальцы холеной руки, принялся за работу и очень скоро пригласил Халса взглянуть на рисунок. Халс подошел и застыл.

— Да кто вы такой, черт возьми! — воскликнул он. — Так рисовать может только великий Ван Дейк!

Незнакомцу не оставалось ничего более, как назвать свое имя.

Не знаем мы, что последовало за этим, известно только, что Ван Дейк принялся уговаривать его ехать вместе с ним в Англию, под крыло своего друга — английского короля. Фламандец не жалел слов, говоря о богатейших заказах, которые тотчас же получит в Англии харлемский мастер, о том, какие королевские условия для работы обретет он в королевском, конечно же, дворце... Халс ответил отказом, и фламандец понял, что это его слово — последнее.

И нужно ли было объяснять этому блестящему европейцу, бывшему во всех странах как дома, что и за все золото мира он, Халс, никогда не уедет, не сможет уехать из своего Харлема. Здесь у него была своя кружка в своем, харлемском, трактире, свой, харлемский, дом под остроконечной крышей, свои, харлемские, ученики и бесчисленные, бесчисленные харлемцы — от бургомистра до последнего пьяненького бродяжки, — населявшие его полотно; те самые харлемцы, без которых не мог представить он ни своей



Ионкер Рамп и его возлюбленная. 1623 г., Нью-Йорк, музей Метрополитен.

жизни, ни своего искусства. И все это был Харлем, маленький голландский городок, отделенный от моря узкой полоской дюн, и все это, казалось, художник должен был исчислять от первого своего вздоха, но, по странному стечению обстоятельств, вплоть до конца карьеры Халса называли «Франс Антверпенский». В Харлеме же, с которым навсегда связались его жизнь и искусство, Халс явился в 1600 году. Перед этим же было двенадцать, тринадцать, а, быть может, и шестнадцать почти неведомых лет...

Не то что дня, месяца, — даже точного года рождения не сохранилось рядом с великим этим именем. И тем более это странно, что фамилия Халсов принадлежит к древнему патрицианскому роду, а впервые упоминается в летописях Харлема под 1350 годом. С тех самых пор многие харлемские бургомистры, казначеи, старшие судьи, сменявшие друг друга на протяжении столетий, были не однофамильцами, а принадлежали одному роду Халсов.

С точностью трудно сказать, к какой профессии принадлежал Питер Клаус Халс, отец художника, но известно, что в 1575 году он был назначен судьей в Харлеме, два года спустя исполнял обязанности одного из директоров сиротского приюта, сделавшись скоро и его председателем. Но более прочего интересно другое обстоятельство: отец художника занимал пост командира того самого гарнизона, который защищал город от испанцев в 1572 году. Об этой войне, до недавнего времени называвшейся у нас революцией, изнурительной, длившейся с 1566-го по 1609 год, надо сказать особо: ведь именно здесь, пускай и покажется это на первый взгляд странным, многие объяснения своеобразия голландского искусства XVII века, в том числе и живописи Франса Халса.

Врвавшись в конце концов из слоновьих объятий испанской монархии, жестоко и томительно долго вытягивавшей из маленькой цивилизованной Голландии силы и соки, а с тем вместе сбросив с себя все крайности католического фанатизма, Голландия оказалась вдруг неким островком свободы на континенте. Мало сказать, что голландские университеты пользовались такой независимостью, какой не знали в то время другие страны, и именно в Голландии находили приют такие мыслители, как Декарт, а Галилей после осуждения был со всеми почестями приглашен голландцами. Все это не было случайностью или следствием кратковременной моды. Когда повсюду вокруг полыхали костры инквизиции и запах паленого человеческого мяса отравлял воздух Европы, в Голландии не было ни одного процесса против ведьм. Влияние духовенства не могло соперничать здесь со светской властью; кстати сказать, католические монастыри совсем не привились в Голландии, что и определило в конечном счете смысл и направление голландского искусства поры его расцвета: Голландия не создала монументального искусства, но в портрете, натюрморте и бытовом жанре национальной голландской школе в Европе XVII века не было равных. Не надо, конечно, думать, что этот взлет определяют только такие имена, как Халс, Рембрандт, Рейсдал, Вермеер Делфтский, А. Остаде... Здесь трудно и вряд ли вообще возможно поставить точку, потому как и далее



Няня с ребенком. 1620 г., Берлин.

следует поистине сказочное обилие имен высочайшего класса, так называемых «малых голландцев» (объясняется этот термин любимым ими форматом картин, а вовсе не качеством живописи; в этом смысле все наоборот: «малые голландцы» — уже марка). И хотя впрямую это не относится к теме, нелишне вспомнить, что знаменитый ученый и путешественник Семенов — Тянь-Шанский собрал семьсот девятнадцать картин трехсот сорока «малых голландцев», приобретенных в 1915 году, — это в год-то обремененного войной бюджета! — Эрмитажем... Впрочем, все это будет потом, но наш затянувшийся экскурс в историю Голландии неизбежен и для рассказа о жизни и искусстве Халса. Но вернемся к событиям, предшествующим рождению художника.

Разгром, которому испанцы подвергли Харлем, завершился исходом обездомевших его жителей. Из Харлема потянулись толпы, как сказали бы теперь, беженцев. Был среди них и Питер Клаус Халс с молодой женой; путь их, как и многих других харлемцев, лежал в Антверпен. Не успела семья обжить временную квартиру, как родился мальчик, получивший при крещении имя Франс. Произошло это где-то между 1580—1584 годами.

Нет, как мы уже упоминали, прямых указаний на профессию отца художника, но биографы, в том числе и самые ранние, отмечая его артистические наклонности, связывают его имя с известным кружком рисовальщиков и граверов, работавших на знаменитого издателя Христофора Платэна. Конечно, окружение отца не могло не сказаться на судьбе сына, потому что когда в 1600 году Халсы возвратились в Харлем, Франс сразу же поступил в мастерскую ван Мандера, знаменитого фламандского художника, работавшего в Харleme и основавшего там не менее знаменитую Академию Художеств. По тогдашним правилам, кроме таланта, необходимо было иметь хорошую подготовку, чтобы оказаться в числе учеников ван Мандера.

Кстати, не очень-то и далеко уйдем мы в сторону, если припомним, что учитель Халса был и автором тоже знаменитой поэмы на темы искусства. Между прочими содержались в ней и прописные истины, а проще говоря, небесполезные советы молодым художникам. Такие, например: «Избегайте плохих трактиров и дурного общества», «Не хвастайтесь ни перед кем своими деньгами», «Будьте правдивы и вежливы, избегайте ссор», «Вставайте рано; постоянно наблюдайте и берегитесь легкомысленных красоток», «Да станет вашим девизом: «Я буду хорошим художником», «Старайтесь не заслужить замечания «безнравственный, как художник»».

Вряд ли стоит иронизировать насчет этих простодушных истин; что ни говори, а за ними быт, нравы и этические требования страны и времени. Во всяком случае, о них придется не раз вспоминать, шаг за шагом прослеживая жизнь Франса Халса. И хотя со дня поступления Халса в мастерскую ван Мандера в биографии его зияет шестнадцатилетний пробел, но по завершении его мы обнаруживаем, что далеко не всем советам учителя внял его ученик.

В феврале 1616 года имя Халса встречается в харлемской... полицейской хронике, а судим он был ни много ни мало «за



▲ Подгулявшие. 1615 г., Нью-Йорк, музей Метрополитен.





▲ Супружеская пара в саду. 1622 г., Амстердам.



нетрезвое поведение и дурное обращение с женой». В том же году первая его жена Аннеке отошла в лучший мир, а он, не выждав в трауре и года, женится на служанке Лисбете Реньере, которая на девятый день после свадьбы делает его отцом и с которой он проживет пятьдесят долгих лет с девятью рожденными в этом браке детьми. Но Халс есть Халс: на исходе дней он снова окажется перед судом, где ему, старику уже, опять придется выслушать увещание, «дабы воздержаться от пьянства и тому подобных беспутств».

Но как совместить, как посмотреть на то очевидное и уже ничем неоспоримое, что этот «трактирный гений» и, подобно Моцарту, «гуляка праздный» остался в человеческой истории величайшим живописцем? Да так и посмотреть: прямо и не отводя взгляда.

Не будем перелистывать только устраивающие нас страницы бурной этой жизни, тем более что многие персонажи картин художника ему сродни. Не будем забывать, что именно это поколение голландцев первым вдохнуло в себя пьянящий воздух свободы; ну как тут усидеть, как не пуститься во все тяжкая!.. Знаток эпохи, творчества и жизни художника свидетельствует, что Халс был настоящим сыном этой бряцающей саблями, резвой и вольной Голландии. Его легко представить себе, когда он ночью, изрядно навеселе и в компании таких же неумных харлемцев бродит по темным улицам, горланя песни, поколачивая мимоходом стекла, не пройдет мимо ночного сторожа без того, чтобы озорства ради не дать тумака, а воротившись домой под утро, только и ждет, чтобы жена хоть слово молвила поперек, тогда... Впрочем, оставим это плодом воображения, весьма правда, близкого к истине, но вот картинка, подтвержденная многими биографами.

Случалось, и частенько случалось, что Халс кутил в компании со своими старшими учениками (в числе которых, заметим в скобках, был и Адриан ван Остаде, знаменитый мастер бытовых сцен, чаще всего с пьяными потасовками, такими выразительными, что они казались написанными прямо с природы — такая была в них неподдельная жизненность). Так вот, ученики частенько *доставляли*, скажем так, Халса домой. Привыкшая ко всему Лисбета не удивлялась и шла досыпать; ученики раздевали его и укладывали спать. Когда Халс думал, что он один в спальне, рассказывает биограф, то давал волю своему природному благочестию. Как бы ни был пьян, он всегда оканчивал молитву словами: «Милосердный Господи, возьми меня скорее на небо!» Слышавшие этот возглас ученики решили проверить, насколько искренна его молитва. Среди тогдашних учеников Халса был и знаменитый впоследствии Адриан Браувер, кстати, виртуозно и с блеском запечатленный Халсом в «Веселом мандолинисте»; другое название картины — «Шут». Так вот, Браувер, этот «гениальный пропойца», по словам А. Бенуа, и основатель «кабацкого стиля» в голландской живописи XVII века, взялся привести задуманный план в исполнение.

Цыганка. 1628—1630 гг., Париж, Лувр.

Вместе с другим учеником он просверлил четыре дыры в потолке над самой кроватью учителя; в эти дыры шутники пропустили четыре веревки, привязали их к четырем колонкам кровати и стали поджидать возвращения учителя. Халс вернулся к ночи, как водится, навеселе; ученики по обыкновению раздели его и уложили спать, потом погасили свет и тихонько отправились наверх. Как только они услышали молитву «Господи, возьми меня скорее на небо!», так медленно потянули за веревки кровать к потолку. Халс, думая, что молитва его услышана, закричал: «Не так скоро, Господи! Не так скоро!» Едва удерживаясь от смеха, ученики тихонько опустили кровать на место, отвязали веревки и быстро удалились. Как свидетельствует биограф, Халс узнал об этой проделке только несколько лет спустя.

«Не так скоро, Господи...» И ведь услышал, внял Господь: не поспешил и, точно зная, сколько у мастера еще дел на грешной земле, отпустил щедрый на ней срок.

А дел у Халса и впрямь было сверх меры; отчасти еще и потому, что его любили в городе все, несмотря на беспутную жизнь, и каким бы пестрым — по нравам, привычкам и положению — ни был харлемский люд, Халс, говорят, состоял в дружбе со всеми, а все обязанности, возлагаемые на него обоюдной этой дружбой, были, казалось, ему совсем не в тягость: член комитета артистов гильдии св. Луки — он на месте; городской контролер по съестной части — и здесь он дока; а уж распорядитель всех харлемских здравниц, которых бывало там больше, чем праздников в календаре, — кому эта должность больше, чем Халсу, по душе и по вкусу!.. Зная время, быт города и нрав художника, это неудивительно. Удивляться нужно другому: как, когда успевал он делать свою работу, возложенную на него Богом, и, не говоря уже о высочайшем качестве, оставить баснословное количество картин, украшающих сегодня музеи мира? Где смотреть блистательного, виртуозного, неподражаемого Франса Халса? Конечно, в харлемском музее его имени, в Антверпене, в Париже, в Вене, Мюнхене, Лондоне, Нью-Йорке, в ограбленном ровно наполовину халсовского наследства нашем Эрмитаже. И всюду — шедевры. Но, говорят, особенное какое-то чувство возникало у человека, входившего в приемную залу Харлемской думы: восемьдесят четыре могучих кавалера, при всех регалиях, глядели на переступившего этот порог — кто с прищуром, кто с простоватой хитрецей, кто надменно и вызывающе. Все это огромное живое сообщество, занимающее все стены залы, — восемь картин Франса Халса; три из них представляют собой директоров благотворительных заведений, пять изображают стрелковые группы.

Это образ жизни Голландии того времени и, если угодно, знак эпохи.

Дело в том, что Голландия не содержала постоянно армии, на месте ее учреждены были гильдии стрелков. В военное время они защищали город, в мирное превращались в нечто вроде клубов, куда собирались потолковать, чаще — просто повеселиться в соответствующей, конечно, этой цели обстановке. Этот образ жизни и знак времени должен был, само собой разумеется, быть запечатлен. Работа, как государственной заказа, хорошо оплачивалась, и

редкий, только очень высокого класса художник мог на нее рассчитывать.

В феврале 1616 года первый такой заказ — «Ежегодный банкет офицеров гильдии стрелковой роты св. Георгия» — получил Франс Халс от имени бургомистра Дрювестина, сказать кстати, члена этой самой гильдии. Когда работа была закончена, а ратуша сразу же стала самым посещаемым местом города, все другие гильдии наперебой закидали художника заказами. Халсу приходилось выбирать заказчиков, а не заказчикам художника, потому что, как сразу стало очевидно, соперников у Халса не было.

Главным же соперником «георгиевцев» считались в Харлеме офицеры гильдии св. Адриана. Принимая этот заказ, Халс уже знал особые трудности жанра группового портрета; были они, однако, не творческого и не эстетического порядка, а скорее продиктованы обыкновенным тщеславием живых персонажей картины. Каждый желал занять в ней самое видное место, оттеснив других на второй или третий план. Стыдно сказать, но дело доходило до склок между офицерами гильдии. Вопреки обыкновению Халс делал набросок за наброском — все безуспешно: положение в картине непременно кого-нибудь не устраивало.

Наконец, Халсу это настолько надоело, что он пригрозил отказаться от заказа, если офицеры не согласятся на его несколько циничный, быть может, план уладить споры: кто заплатит больше, тот и получит почетное место в картине. Дело, таким образом, решилось возможностями кармана каждого персонажа: полковник ван Лоо отнюдь не по должности командира оказался в центре внимания; за вторые места заплатили капитаны; из-за них выглядывали соответственно заплатившие сержанты, а вот подпоручики, оказавшиеся в силу традиций сыновьями очень богатых отцов, за них, разумеется, соответственно заплативших, получили весьма хорошие места в картине. Но, надо сказать, что обо всей этой закулисной мороке и дрызгах совершенно забываешь: расположение, группировка фигур, чередование и ритм контуров и цветовых пятен настолько естественны, что кажется, кроме эстетических задач, никаких других у Халса не было; не важно, кого и на каких условиях он пишет. Хотя именно здесь и следует сделать оговорку.

Несмотря на весь грандиозный успех групповых портретов, кисть Халса, если говорить честно, предпочитала иной мир, мир, лишенный надменности, лоска, театральной бутафории и реквизита. Этот другой мир он мог найти на улицах Харлема в ежедневном городском быте, где у каждого трактира был свой кружок завсегдатаев с флейтами и мандолинами. По праздникам, а они, как сказано, бывали в Харлеме чаще, чем где-либо еще, веселые студенты напропалую кутили с ядреными городскими девахами, с цыганками, отбившимися от табора. И, как мы видим теперь, Халс пользовался этими кутежами с огромным успехом.

«Цыганка», украшающая сегодня Лувр, написана с простой торговки, хорошо известной на рыбном рынке в Харлеме. Говорят, большая охотница гульнуть со студентами, девушка эта была любимой моделью харлемских живописцев. Ну что же, видя в

портрете Халса эти плутоватые глаза, живую, теплую и трепещущую плоть, не стесненную небрежными складками вольной одежды, в это охотно веришь; веришь и тому, что работалось Халсу над этим портретом куда интереснее, чем над «Стрелками». Но вот странная вещь: только потом, полтора года спустя, замечено было, что и в этих заказных композициях живопись Халса несла в себе некие открытия, неведомые его веку. Не случайно же один из основателей импрессионизма, Эдуард Манэ, уехал в 1874 году в Харлем, чтобы специально «изучать живопись Халса». Нет, «Стрелки» не так уж и просты...

Но все же нельзя отделаться от мысли, что над двумя картинами, написанными в один год с георгиевскими гильдейцами — «Продавец сельдей» и «Веселое трио», — работать Халсу было куда приятнее и веселее. Кажется, поэтому его мастерство здесь отдает даже каким-то озорством. Вполне возможно, это и спровоцировало впоследствии какого-то озорника на изображении человека, держащего в руке селедку, нацарапать прямо на холсте надпись: «Кто купит?»

Озорством, где-то даже на грани фарса, брызжет и «Веселое трио». Стоит только взглянуть на выряженную как кукла городскую девушку, кокетливо присевшую на колени влюбленного, при виде которого сразу приходит на память Фальстаф — невоздержан, хвастлив, но преисполнен юмора, — как сразу принимаешь и грубоватый жанр, и некую условность, предложенную художником, и естественным уже, а не театральным кажется возвышающийся над ними приказчик, вместо венца держащий над их головами связку копченых колбас... Озорная картинка да и только? Нет, взгляните: целый пласт времени — в лицах и нравах, грубоватых, порой очень грубых, но беззлобных, — дохнет на вас с этого трехсотпятидесятилетнего холста, в котором живет особое какое-то, присущее только Халсу ощущение жизни, ощущение, в неумности своей если и не языческое, то уж точно раблезианское.

Но можно ли объяснить это тем, что во всех своих картинах Халс отражал, в сущности, жизнь здорового, довольного собой поколения победителей, каким оказались голландцы после 1609 года? Если и можно, то только отчасти, потому что другую, большую, несомненно, часть представляет мироощущение самого художника, как мы уже сказали, раблезианское по своей сущности, подобно тому, как у Рембрандта — современника и соотечественника Халса, — ощущение жизни окрашено в трагедийные шекспировские тона. Убедительным в этом смысле будет, как нам кажется, сравнение двух произведений: «Автопортрет с Саскией на коленях» Рембрандта (1634) и халсовский «Портрет с женой» (1624). Два произведения, написанные в одно время, в одной стране, на один, можно считать, сюжет; то и другое — гениальным художником. И вот — два мира, сравнимые только противопоставлением. Достаточно взглянуть.

Шедевр Рембрандта — бурный всплеск счастья. Но есть в этом что-то тревожное, предупреждающее — оно слишком бурное и слишком счастье, чтобы быть продолжительным. Скоро Саския умирает, жизнь Рембрандта переломилась. Сам того не зная, художник предугадал все...

«Портрет с женой» Халса написан десятью годами раньше. В нем все — и пейзаж, и позы главных героев, и фигуры сопутствующих персонажей, — все дышит здоровьем, покойным, даже ленивым счастьем. Печать довольства лежит на всем, и только с а м о и р о н и я, светящаяся в глазах художника, спасает от ощущения банальности происходящего. С Лисбетой Халс прожил пятьдесят покойных лет. Он тоже предвидел; и тоже угадал...

Быть может, поэтому подкрадывавшаяся старость и неизбежный конец его не страшили. Он ведет ту же беспутную, веселую жизнь, за что еще не раз предстанет перед судом, но любовь сограждан будет продолжать ему сопутствовать; правда, официальных заказов, которые давали безбедную жизнь, становится все меньше — мода на групповые портреты проходит, зато он может писать тех, кого хочет, а те, кого пишет, всегда без лишнего су в дырявом кармане... Кончается все печально, но для Халса совсем не катастрофой. В 1661 году, по очевидной бедности, его объявляют «свободным от налогов». Но налоги налогами, а семью содержать тоже надо, да и вино не дешевет, и харлемские старшины решают положить ему пожизненно ежегодное вспомоществование в 200 гульденов.

В 1666 году Франс Халс похоронен в общей могиле для бедных. Но вряд ли этот жизнелюбец и раблезианец мог бы скорбеть по такому поводу.

Тут бы и точку поставить. Но уместнее — памятник, с эпитафией, которую, сам того не предполагая, два с лишним века спустя напишет другой гениальный его соотечественник, Винсент Ван Гог:

«Поговорим о Франсе Халсе. Он никогда не рисовал Христа, Благовещений с пастухами, ангелов или Распятый и Воскресений, никогда не писал обнаженных женщин с их сладострастием и животностью.

Он писал портреты, одни только портреты: портреты солдат, групповые портреты офицеров, портреты должностных лиц, решающих государственные дела; портреты матрон с розовой или желтой кожей, в белых чепцах, в черных шерстяных или шелковых платьях, обсуждающих бюджет или богадельни. Он писал портреты почтенных горожан в семейном кругу — муж, жена, ребенок. Писал пьянчужку во хмелю, старую торговку рыбой, ухмыляющуюся, как ведьма, красивую шлюху цыганку, младенцев в пеленках, разудалого кутилу дворянина, с усами, в ботфортах и при шпорах. Он писал себя и свою жену, молодых влюбленных, на дерновой скамье в саду, после первой брачной ночи. Писал бродяг и смеющихся мальчишек, писал музыкантов, писал толстую кухарку.

Дальше этого он не шел, но это вполне стоит «Рая» Данте, всех Микеланджело и Рафаэлей и даже греков...»

ВАСИЛИЙ ФИЛАТОВ

ПРЕЖДЕ

Рисунок ГЕННАДИЯ НОВОЖИЛОВА





а караул! — раздался возглас часового в передней дворца.

Едва солдаты успели схватить ружья, а офицер обнажить шпагу, как дверь коридора растворилась настежь, император Павел, в башмаках, шелковых чулках, при шляпе и шпаге, поспешно вошел в комнату и в ту же минуту дамский башмак с очень высоким каблуком полетел через голову его величества, чуть-чуть ее не задевши.

Император прошел в свой кабинет, а из коридора вышла Екатерина Ивановна Нелидова, спокойно подняла свой ботинок, надела его и вернулась туда же, откуда пришла. «На следующий день, — добавляет очевидец Н. А. Саблуков, — когда я снимал караул, его величество пришел и шепнул мне:

— Mon cher, у нас вчера была ссора.

— Так точно, государь, — отвечал я».

Так обходиться с Павлом, с грозным деспотом, перед которым все дрожали, могла лишь одна маленькая дурнушка Нелидова. Она, когда не могла подействовать на своего царственного друга лаской и уговорами, кричала, ругалась, а порой принимала и более решительные меры воздействия, но это никогда не нарушало их долгой нежной дружбы.

Обычный тип фаворитки — жадной до денег, почестей, выставляющей на вид свое положение — совершенно не подходит к Екатерине Ивановне. Она никогда ничего не просила себе, а когда давали, решительно отказывалась от всяких подарков и выгод, хотя была человеком небогатым. Например, когда после восшествия на престол Павел, накануне ее именин, 23 ноября 1796 года, прислал ей дорогой подарок, то Нелидова вернула его обратно со словами: «Вы знаете, государь, что, цена по достоинству дружбу, которую вы уже так давно мне оказываете, я умела ценить лишь это чувство, и что ваши дары всегда были мне более тягостны, чем приятны. Позвольте мне умолить вас не принуждать меня к принятию того подарка, который я осмеливаюсь возвратить вашему величеству. Вы должны быть спокойны на счет чувства, заставляющего меня так действовать».

Павел, желая доставить хоть чем-нибудь удовольствие своей любимице, осыпает милостями ее родственников, но и в этом случае он встречает упорное сопротивление со стороны «своего друга». Так, после неудачной попытки одарить саму Нелидову, Павел через несколько дней, накануне ее рождения, 11 декабря того же года именным указом сенату пожаловал матери Екатерины Ивановны 2000 душ крестьян; последняя немедленно обратилась с просьбой хотя бы уменьшить подарок.

«Ради Бога, государь, — писала она, — позвольте мне просить у вас, как милости, чтобы вы уменьшили этот дар, слишком щедрый, наполовину. Моя мать всегда бы сочла за великое и неожиданное для себя богатство тысячу душ, от которых я не смею отказаться за нее, потому что она мне мать. 2000 душ тягостят мою совесть: ни моя мать, ни кто-либо из моих близких еще не служил вам; есть еще время уменьшить дар наполовину, и я повергаюсь к вашим стопам, чтобы просить вас об этом: можно сказать, что 2000 выставлены по ошибке: сделайте это, государь,

ради Бога, пока на это есть еще время, снимите с моего сердца тяжесть».

Зато Нелидова постоянно хлопотала за всех опальных и провинившихся, хлопотала за князя Куракина, Платона Зубова, Суворова и других. Она смягчала гнев Павла при всяком удобном случае, совершенно не стесняясь обстановкой.

«Мне случилось однажды, — рассказывает в своих записках адмирал Шишков, — на балу, в день большого праздника, видеть, что государь чрезвычайно рассердился на гофмаршала и приказал позвать его к себе, без сомнения, с тем, чтобы сделать ему великую неприятность. Катерина Ивановна стояла в это время подле него, а я — за ними. Она, не говоря ни слова и даже не смотря на него, заложила свои руки за спину и дернула его за платье. Он тотчас почувствовал, что это значит, и ответил ей отрывисто:

— Нельзя воздержаться!

Она опять его дернула.

Между тем гофмаршал приходит, и хотя Павел изъявил ему свое негодование, но гораздо кротчайшим образом, нежели как по первому гневному виду его ожидать надлежало. О, если бы при царях и особливо строптивых и пылких все были бы Катерины Ивановны!»

Но Павла по большей части окружали люди вроде Аракчеева или бывшего камердинера и брдобрея графа Ивана Кутайсова. Все при дворе Екатерины и наследника было полно интригами, фальшью, придворные попрошайничали и воровали, и там не было разницы между фаворитом, сановником и лакеем — все одинаково умели кланяться и любили задирать нос.

Русские нравы XVIII века несмотря на внешний лоск были еще грубы, дики, и Нелидова на этом фоне была светлым пятном. Она сама это чувствовала и постоянно заявляла, что решила посвятить свою жизнь «своему другу Павлуше», постоянно охранять его, быть около него.

Как же могла вырасти в этой грубой обстановке такая воздушная сентиментальная героиня?

Екатерина Вторая, взойдя на престол, думала перестроить свою империю по последнему слову просветительной философии, она хотела создать «новую породу людей», и прежде всего матерей, которые могли бы воспитывать, в свою очередь, достойных детей. Первым шагом к этим обширным, но скоро забытым планам было учреждение Смольного института для воспитания благородных девиц. В первый прием, в 1765 году, попала шестилетняя Катя Нелидова.

Родилась она в 1758 году в селе Климятине Смоленской губернии. Родная помещичья среда почти не отразилась на Нелидовой — двенадцать лет учения она провела совершенно отдельно от семьи, ибо Смольный институт был организован по воспитательным принципам Жан Жака Руссо: детей надо совершенно изолировать от посторонних, даже семейных влияний. К счастью для воспитанниц, первый русский институт имел иной характер, чем современные институты; это была тесная семья — воспитательницы держались с ученицами, как старшие сестры с млад-

шими, во главе стояла очень добрая и умная француженка Делафон, и смолянки почти все без исключения с любовью вспоминали годы учения.

Науке, в сущности, отводилось немного времени: учили читать, писать на русском, французском и итальянском языках, арифметике, истории, географии, опытной физике, немного архитектуре и геральдике. Зато отводилось много времени музыке, танцам, рисованию, скульптуре; заботились о манерах и умении держать себя в обществе.

Это было не учебное заведение, а скорее веселый женский монастырь, о жизни в котором одна из подруг Нелидовой говорит так:

«Этого счастья нельзя сравнить ни с богатством, ни с блестящим светским положением, ни с царскими милостями, ни с успехами в свете, которые так дорого обходятся. Скрывая от нас горести житейские и доставляя невинные радости, нас приучали довольствоваться настоящим и не думать о будущем, между нами царило согласие; общий приговор полагал конец малейшим ссорам. Обоюдное уважение мы ценили более милостей начальниц. В числе нас были некоторые отличавшиеся такими качествами, что их слова служили законом подругам. Большею частью это были девушки благородные и очень мало дурных, и то считались они таковыми вследствие лени, непослушания или упрямства. О пороках же мы и понятия не имели».

В этом веселом монастыре много времени уделялось театру, и на этом поприще особенно выделялась Нелидова.

На ее артистические способности обратили внимание очень рано, и Катя постоянно выступала в институтских спектаклях. Причем она так выделялась грацией и танцами, что, по желанию Екатерины II, Левицкий в 1783 году написал портрет, на котором Екатерина Ивановна изображена танцующей менуэт.

Это маленькая брюнетка цыганского типа, с очень неправильными чертами лица, изящная, но некрасивая; многие даже находили, что она отвратительно нехороша собой. Репутация дурнушки так установилась за Нелидовой, что, даже желая угодить Павлу, придворные не решались хвалить красоту его избранницы, а восхищались ее грацией и изяществом. В действительности это была очень цельная и интересная фигура: подвижная, остроумная, вечно смеющаяся затейница, она резко выделялась на фоне мрачного гатчинского двора, где царили солдатская тупость и суровость.

В эту далекую ей обстановку Нелидова попала прямо из института, так как по воле императрицы была назначена фрейлиной при первой жене Павла Петровича, Наталии Алексеевне, которая знала Нелидову еще по институту.

Попала Екатерина Ивановна ко двору семнадцатилетней девушкой, не знавшей жизни и света, и в очень тяжелый момент: 15 апреля 1776 года умерла во время родов великая княгиня, и эта смерть наложила тяжелую печать на характер Павла Петровича. 22-летний молодой человек с рыцарскими порывами, он был глубоко потрясен неожиданной кончиной жены, и, чтобы его утешить, Екатерина II прибегла к радикальному средству, —

она дала ему бесспорные доказательства того, что Наталия Алексеевна ему изменяла и жила с графом Андреем Разумовским.

Это открытие, в котором, как говорят, был замешан и духовник великой княгини, епископ Платон, глубоко повлияло на характер Павла, — зачатки подозрительности и недоверия к людям теперь оформились, семья стала представляться простой необходимостью, окружавшие — шпионами и предателями.

Быстро заключенный по выбору других второй брак с принцессой Софьей-Доротеей Виртембергской внес мало интересного в жизнь Павла.

Мария Федоровна, как стала именоваться в православии Софья-Доротея, была тупая практичная немка, с кругозором, не выходящим дальше домашнего хозяйства, всегда далекая от порывов и интересов Павла. Его планы, желания порой походили на фантазии сумасшедшего, но в них были размах, желание вырваться из мелочей жизни, которые в конце концов заели этого мечтателя на троне.

Со смертью Наталии Алексеевны Нелидова не покинула малого дворца, да и не могла этого сделать, ибо, в сущности, служила лишь Павлу.

Сначала это было обожанием прекрасного царственного рыцаря, каким представлялся ей великий князь. Порывистая, страстная, сентиментальная институтка, жившая в чадю романтических грез, она решила посвятить жизнь своему кумиру, который представлялся ей таким угнетенным и загнанным: семейная жизнь разбита, мать-императрица смотрит на него, как на врага, ее фавориты третируют его, как *quantit negligible*.

За острый ее язык Павел считал сначала Нелидову злой, но постепенно все больше и больше привыкал к ее обществу, втягивался в него. Действовать он не мог, его совершенно устранили от активной политики, а раз нельзя было осуществлять тех грандиозных планов, которые роились в его голове, то ему был необходим и дорог хороший собеседник.

В роли поверенного, которому отводят душу, и выступила Екатерина Ивановна. Это был идеальный собеседник для Павла: умный, живой, на лету схватывавший его мысли, благоговевший перед рассказчиком. И доверять Нелидовой можно было все. Сближение началось во время путешествия по Европе великокняжеской четы в 1781—1782 годах.

С этого времени имя Нелидовой постоянно встречается рядом с именем Павла. Кто считал эту связь нежной дружбой, кто — любовью, но ясно было одно: Нелидова — самый влиятельный человек при малом дворе, даже великая княгиня Мария Федоровна в трудные минуты прибегала к ее посредничеству.

Положение создается такое, что, как это чувствуется из писем, Екатерина Ивановна смотрит на жену Павла сверху вниз:

«Я люблю великую княгиню, — пишет она в 1788 году, — с каждым днем более за безграничную привязанность, питаемую ею к мужу, к этому дорогому Павлуше, которого я также люблю от всего сердца. Независимо от всех прочих соображений, вы знаете, что достаточно видеть живую любовь к любимому человеку, чтобы тотчас полюбить это третье лицо...»

Действительно, Мария Федоровна часто чувствовала, что она является в этом браке третьим лицом; это видели и все окружающие.

«Фрейлина Нелидова, — пишет современник, — вела себя похвально и не причиняла неприятностей великой княгине, но, тем не менее, ее высочество лишилась искренности и любви своего супруга, принуждена вести себя совсем не по-прежнему...»

Как-то Мария Федоровна дошла до того, что поведала свекрови о своем несчастье. Императрица подвела ее к зеркалу.

— Посмотри на себя и вспомни лицо «*petit monstre*».

В глубине души императрица сознавала, что семейная жизнь сына непоправимо разрушена, и радовалась этому. И когда все-таки Мария Федоровна потребовала удаления Нелидовой, государыня не дала согласия.

Мария Федоровна далеко не сразу помирилась со своим положением: она боролась то интригами, то открыто. Но ничего не помогло: Павел и не думал порывать своей связи с «маленькой дурнушкой». Это был его нежный друг, поверенный во всех мыслях и делах. Нелидова постоянно следит за каждым его шагом, беспокоится, советует.

Когда Павел уезжает в 1788 году в Финляндию для войны со Швецией, то она не только дает ему советы, но и руководит им через близких Павлу людей, которые считаются с ее мнением. Сам Павел в походе ни на минуту не забывает своего «друга нежного» и перед отправлением на театр военных действий кратко пишет Нелидовой: «Знайте, что, умирая, я буду думать о вас».

Мрачный характер Павла постоянно толкал его на мысли о смерти, и в эти моменты он действительно не забывал Нелидову. До нас дошло письмо без даты, в котором он поручает своего друга заботам матери в случае своей смерти и так пишет о своих отношениях:

«Я вижу, — писал он, — что злоба хочет ложно истолковать дружескую связь, которая образовалась между Нелидовой и мной. Я клянусь пред Господом, что наша совесть чиста от каких-либо упреков. Я готов это подтвердить ценою крови и делаю это, кончая свою жизнь! Еще раз торжественно клянусь, что мы связаны нежной и священной, но чистой и невинной дружбой».

Конечно, эта декламация о чистоте связи могла вызвать у Екатерины лишь улыбку, и, по рассказам современников, она постоянно пользовалась этой связью для своих целей.

В обществе, привыкшем к фаворитизму, смотрели на Нелидову, как на любовницу Павла. В неизданной переписке французского посла Женэ постоянно встречаются сообщения, что великий князь все ночи посвящает своей непристойной любви к *m-elle* Нелидовой. В ноябре 1791 года Женэ сообщал, что Нелидова была вынуждена поспешно покинуть двор, чтобы родить в тиши монастыря.

Вообще за границей были хорошо осведомлены о событиях при русском дворе, и в девяностых годах, когда Екатерина II уже стала стара, начали сильно интересоваться личностью наследника. В «*Monitor Universel*» постоянно печатались корреспонденции о русских делах, и 24 апреля 1792 года появилась статья, посвя-

ценная личности Павла Петровича: «Великий князь,— говорилось там,— во всем следует своему несчастному отцу, Петру III; а так как великая княгиня далеко уже не так добродетельна, то ему угрожает судьба Петра III; говорят, он, подавленный горестями, сам ей это высказывал. Вы знаете, что его метрессой состоит фрейлина великой княгини, m-elle Нелидова, существо безобразное и своенравное. Эти качества не могут смягчить нрав великого князя, который с каждым днем делается все более и более мрачным, злым и вспыльчивым».

Последнее звучало прямо насмешкой над Нелидовой, которая ставила своей целью смягчать и успокаивать порывы Павла.

Эта статья произвела скандал при русском дворе, и хотя номер «Монитера» был конфискован, но все читали его, Екатерина Ивановна обратилась к Екатерине II с просьбой освободить ее от придворной должности, и Ростопчин писал Воронцову, что Нелидова уходит от двора и «ее удаление удовлетворит желаниям всех честных людей и заставит великую княгиню забыть все огорчения, которые причинила ей эта история».

Но торжествовали слишком рано: уступая просьбам Павла, Екатерина Ивановна осталась при дворе.

Мария Федоровна, прекрасно умевшая унижаться и прилаживаться к обстоятельствам, заботившаяся, в сущности, лишь о своей немецкой родине, глубоко ненавидела Нелидову. Она выказывала любимице мужа дружбу, пользовалась ее влиянием на мужа и в то же время писала С. Н. Плещееву, масону, пользовавшемуся влиянием на царевича:

«С «маленькой» («la petite»,— как презрительно называла она Нелидову) мы держимся весьма прилично, но, признаюсь, с того времени, как мы сошлись с нею таким образом, с нею обращаются свободней, ласкают ее более, даже перед публикой; но это меня не смущает; я буду следовать моему пути в убеждении, что он угоден Богу».

Эта скрытая ненависть никогда не проходила, и великая княгиня, льстившая публично Нелидовой, отводила душу в переписке. В 1792 году, в ожидании родов, она писала Плещееву:

«Вы будете смеяться над моей мыслью, но мне кажется, что при каждом моих родах Нелидова, зная, как они у меня бывают гибельны, всякий раз надеется, что она сделается вслед затем второй m-me де Ментенон. Поэтому, друг мой, приготовьтесь почтительно целовать у нее руку и особенно займитесь своей физиономией, чтобы она не нашла в этом почтении насмешки или злобы. Я думаю, что вы будете смеяться над моим предсказанием, которое, впрочем, вовсе не так глупо».

Под влиянием сетований великой княгини, еще в 1790 году, Плещеев писал Нелидовой, что ей необходимо прекратить ее отношения с Павлом:

«Можете ли вы, mademoiselle, утаить от себя несчастье, раздор и уныние, которые связь эта породила в великокняжеском семействе? Можете ли вы не заметить чудовищного пятна, которое наложила ваша связь на репутацию великого князя и на вашу, а также не думать о тех несчастных последствиях, которые могут произойти от этого. Прошу вас вникнуть в ужасное недоразуме-

ние, существующее между двумя супругами, поразмыслить над теми толками, которые одинаково вредят и вашей чести и чести великого князя...»

Плещеев угрожал Нелидовой и судом Божиим, но все это не помогало. Нелидова повертывала так вопрос, что она хочет уйти от двора и порвать связь, но ей, во-первых, жаль огорчить великого князя, а во-вторых, некому будет удерживать его от необдуманных горячих поступков, «тогда самой великой княгине не было бы хуже».

Конечно, эта заботливость о великой княгине звучит насмешкой, и Мария Федоровна о попытках Нелидовой удалиться в Смольный выражалась, что это одна «комедия, чтобы сделаться более интересной и заставить себя удерживать».

Малый двор хотя и отличался большей скромностью, чем Екатерининский, но и там на любовные отношения смотрели довольно легко, и прекрасную оценку отношений Павла и Нелидовой с этой точки зрения дал князь Куракин в письме к самому Павлу:

«Я всегда понимал вас как следует, мой дорогой повелитель, всегда ценил значение и свойство того чувства, которое привлекает вас к вашей приятельнице; знаю, как много своим характером и прелестью ума своего содействует она вашему благополучию, и поэтому желаю искренно, чтобы ваша дружба и доверенность к ней продолжались. Пчела, собирая мед для улья своего, не садится на один только цветок, но всегда ищет цветочка, на котором меду более. Так поступают пчелы. Не так же ли должны действовать и существа, одаренные разумением, чувствительностью, с истинным достоинством способные направлять свои желания и поступки к лучшему и к тому, что их удовлетворяет и наиболее им приличествует».

Мораль пчелки, порхающей с цветка на цветок, — вот откровенные мысли куртизана XVIII века, это слова без прикрас, и Павел Петрович, несмотря на романтические фантазии, тоже был непрочь попорхать, отчего впоследствии пострадала и сама Нелидова.

В сентябре 1793 года произошло то, чего так добивались при малом дворе: Екатерина Ивановна твердо решила удалиться в Смольный монастырь. Эта попытка очень загадочна — видимо, ни Павлу, ни Нелидовой не хотелось расставаться, оба они затягивали разлуку.

«Друг наш (Павел), — писала Нелидова Куракину, — я не могу отпустить этого, был чрезвычайно взволнован и огорчен моим поступком. Я не могу еще определить время окончательного своего отъезда, потому что друг наш требует, чтобы осень я провела с ним; он желал бы, чтобы я точно так же поступала каждое лето, а зимою каждый вечер у него ужинала».

В деньгах Нелидова была щепетильна и не хотела ничем пользоваться от великого князя. При уходе от двора она получила в подарок от Екатерины 4000 рублей и от Марии Федоровны 6000 и 600 рублей ежегодной пенсии. Считая излишними даже эти скромные подарки, Екатерина Ивановна добавляла:

«Что касается нашего друга, то я очень беспокоюсь: я знаю, что у него мало средств. Он не объяснил своих намерений, но то, что

вырвалось у него, дает мне достаточно понять, что я буду одним из тех лиц, к которым он проявит свою щедрость, и мое сердце сжимается при мысли, что его душе доставит удовольствие именно то, что мучит мою душу. Я уже объяснила ему самым почтительным образом, как мало у меня нужды в его щедрости, особенно при том увольнении, которое я избрала для себя...»

Павел действительно роскошно обставил Нелидову в Смольном, и она смотрела на свое удаление как на отдых:

«Я не буду недовольна, — писала она кн. Куракину, — порвав несколько связь со светом, который не умел или скорее не хотел отдать мне справедливость. Я уже оценила, чего он стоит, и мое сердце уже научилось не ставить своего счастья в зависимость от его суждений. Мне хорошо известно, что при настоящем случае я не избежну его злобы и толков, большей частью развращенных, но я даже не хочу знать их. Я чувствую себя настолько выше их, что всего менее интересуюсь ими».

Екатерина Ивановна оказалась права: при ее попытке удалиться сплетни разносились еще больше. Ее отъезд откладывался, и Ростопчин писал по этому поводу Воронцову:

«Г-жа Нелидова, вместо того чтобы оставить двор, получив увольнение, остается при нем и пользуется успехом, который наносит ущерб достоинству великого князя и подвергает его всеобщему осуждению. Бедная великая княгиня остается в одиночестве, не находя никого, кому она могла бы открыть свое горе, и не имея другого утешения, кроме добродетельной жизни».

Удаление Нелидовой, которого так добивались многие, плохо отразилось на малом дворе. Павел не мог жить, не находясь под чьим-нибудь влиянием, и теперь вокруг него собрались люди, «из которых, — по меткому определению одного современника, — наиболее честный заслуживает быть колесованным без суда». Отношения Павла с матерью все ухудшались, и Нелидова снова стала появляться около великого князя, чтобы разогнать мрачные образы, которые окружали его. Ему угрожало лишение престола и даже ссылка в замок Лодэ.

Эти, хотя кратковременные, появления прежней фаворитки возбуждали новую злобу, и Мария Федоровна писала Плещееву: «Что скажете вы, друг мой, о возврате фавора *m-elle* Нелидовой? Какое употребление она из него сделает? И как мог допустить это великий князь после того, как он был раздражен против нее? *Demoisellé* горда и наверху почестей. Я удивляюсь ее неблагоразумию: в качестве кого она явилась и оставила свое скромное убежище? Ах, друг мой, как свет низок, и как ужасно все происходящее! Быть может, Господь сотворит чудо, и эта поездка, которая является триумфом для *demoisellé*, обратится против нее».

Высокие слова в письмах на практике сводились к довольно грязным интригам. Чтобы свергнуть Нелидову, ее враги избрали избитый путь: Мария Федоровна решила вместе с камердинером Иваном Кутайсовым подsunуть своему супругу новую любовницу из своей «партии», для этого избрали фрейлину Наталью Федоровну Веригину, невесту, а затем жену Плещеева. Это милое средство помогло, и в 1796 году Нелидова окончательно покинула двор. По этому поводу она писала кн. Куракину:

«Когда дела были устроены таким образом, все письма, все секреты стали сообщаться его жене (Марии Федоровне) и новой супружеской чете (Плещеевым), которые составили интимный кружок вашего друга, и кружок этот расходуется только в те минуты, когда нужно показываться публике. Жена (М. Ф.), благодаря этой снисходительности, возвратила к себе доверие своего мужа...»

Выбор Марии Федоровны оказался неудачен, — Веригина-Плещеева скоро надоела Павлу, и он стал снова искать сближения с Нелидовой.

Осенью 1796 года он просил ее приехать в Гатчину, но она решительно отказалась от примирения, ибо его «поступки, полные низости и предательства, внушали ей отвращение».

Может быть, ссора затянулась бы, как вдум все переменялось: 6 ноября 1796 года Павел стал императором.

Видимо, он ни на минуту не забывал своего друга: в момент агонии Екатерины он нашел время беседовать с камер-пажом Аркадием Нелидовым, братом Екатерины Ивановны; один из его первых визитов был в Смольный, где состоялось примирение, семья Нелидовых была осыпана почестями и наградами и, наконец, Мария Федоровна, так ненавидевшая Нелидову, заключила с ней дружественный союз навсегда.

В это время Нелидова могла добиться всего, но она почти не пользовалась своим влиянием. Правда, она выдвигала перед государем тех, кого она любила или уважала, и все, ею покровительствуемые, получили хорошие места, но это была бескорыстная протекция.

По воцелении Павла на престол многие из приверженцев его матери оказались в жестокой опале. Была среди них и Екатерина Романовна Дашкова. Крайние обстоятельства вынудили гордую княгиню писать Павлу с просьбой облегчить ее положение. Получив это письмо, император пришел в страшную ярость (он до конца дней помнил переворот 1762 года, деятельной участницей которого была Е. Р. Дашкова), не захотел даже прочесть письмо и в гневе бросил его на пол. Только Нелидова решилась подобрать письмо княгини. Очень хорошо зная Павла Петровича, она нашла верный способ заставить его прочесть это письмо, вложив его в руки восьмимесячного вел. кн. Николая Павловича, любимца отца.

— Сударыня, вы сумели выбрать способ действия, которому нельзя противостоять, — сказал Павел, а спустя короткое время Е. Р. Дашковой доставили в глухую деревню письмо:

«Княгиня Катерина Романовна. Вы можете вернуться в свое калужское имение, как вы того желаете. Пребываю впрочем к вам благосклонный, весьма желающий добра Павел».

Больше всего Нелидова спасала от гнева государя, часто не разбирая, друг это или враг. Так, например, Кутайсов был возвращен по ее настоянию.

Особенно она сдерживала вспылчивость Павла по отношению к войскам, которые роптали на мелочную строгость и невозможную жестокость императора.

Такая политика покровительства всем пострадавшим не могла

создать Екатерине Ивановне придворной партии — для этого надо было выпрашивать милости для сильных и богатых, интриговать вместе с царедворцами, заполнять все места своими людьми. И вот группа лиц, желающих власти, во главе с графом Паленом, пользуясь услугами камердинера и бравьера Ивана Кутайсова, стала подкапываться под Нелидову, подыскивая на ее место «свою» фаворитку.

Скоро нашлась девушка, которая раз навсегда вытеснила Нелидову из сердца Павла. Это была Анна Петровна Лопухина. Изысканная брюнетка небольшого роста, с чудными глубокими глазами, она притягивала к себе мягкостью и нежной задумчивостью.

Государь обратил на нее внимание еще во время коронации. Снова он встретился с ней в Москве в мае 1798 года, и Лопухина сама увлеклась Павлом. По этому поводу он, шутя, писал Марии Федоровне в Петербург, что девица Лопухина на бале объяснила ему свою любовь. Но шутка скоро приняла серьезный оборот, — наперсник Павла, Кутайсов, сейчас же завел переговоры с мачехой Анны Петровны, Екатериной Николаевной, и между ними вопрос был улажен: еще до отъезда Павла из Москвы в Казань было условлено, что семья Лопухиных переезжает в Петербург.

Слухи о новой фаворитке скоро достигли Петербурга. Нелидова и императрица, которые теперь были связаны общим несчастьем, сначала полагали, что «это только проходящая туча, изволит дуться, но не надолго». Но они жестоко ошиблись. Государь стал относиться к ним все резче и хуже, так что 13 июля Мария Федоровна была вынуждена написать Павлу письмо, в котором просила хотя бы публично не оскорблять ее, «не ради меня, но ради вас, как императора, который должен требовать уважения к той, которая имеет честь носить ваше имя, потому именно, что она ваша жена и мать ваших детей. Я ограничусь лишь единственной просьбой относиться ко мне вежливо при публике». Письмо это писалось с одобрения Нелидовой.

Настроение при дворе в эти дни было самое тяжелое: «22 июля, в день именин императрицы, — пишет сенатор Гейкинг, — я вынужден был отправиться в Петергоф. Государь был явно в дурном настроении. Фрейлина Нелидова казалась мне погруженной в глубокую печаль, которую она напрасно старалась скрыть. Бал этот скорее был похож на похороны, и все предсказывали новую грозу».

Гроза разразилась очень скоро, — один за другим стали терять свои места прежние любимцы Павла и стали выдвигаться отверженные Кутайсова и графа Палена. Скоро начались высылки, и одной из первых пострадала подруга Нелидовой, графиня Буксгевден, — ее выслали за неосторожные слова по поводу новых порядков.

Екатерина Ивановна, не умевшая бороться с интригами, решила уехать вместе с опальной подругой и настоятельно потребовала разрешения покинуть Петербург.

«Хорошо же, пускай едет; только она мне за это поплатится!» — гневно напутствовал ее Павел.

Екатерина Ивановна поселилась в Эстляндской губернии, в

замке Лоде, замечательном тем, что в нем предполагалось заключить самого Павла, когда Екатерина думала передать престол прямо внуку Александру.

В сущности, это была почетная ссылка, и за Нелидовой присматривали, как за преступницей. В дневнике Ростопчина мы имеем интересные приказы государя относительно переписки Нелидовой.

«1798, октября 28. Велено перлюстрировать все письма, отправляющиеся в Шлосс-Лоде к Е. И. Нелидовой».

«Ноября 7. Велено перлюстрацию писем от Нелидовой и к ней остановить и не пропускать».

«Ноября 13. Открыты все письма в Ревель и Нарву для узнания, нет ли чего в Шлосс-Лоде».

«21 ноября. Письмо от Львовой к Нелидовой и посылку отправить. Письмо от императрицы к Нелидовой сожжено императором».

«22 ноября. Сжечь два письма к императрице и одно к Львовой».

Такие распоряжения тянутся изо дня в день. Видимо, Павел интересовался перепиской Екатерины Ивановны, которая отлично знала, что все ее письма читаются государем, пользовалась этим, чтобы доводить до него то, что желала.

Однообразное деревенское заточение было тяжело для Нелидовой, и через полтора года она попросила у Павла разрешения вернуться в Петербург и жить в Смольном. Павел очень любезно ответил своему другу и выслал в Лоде придворные экипажи. Противники Нелидовой заволновались, снова стали бояться, что ее звезда взойдет. Лопухина, выданная к этому времени за князя Гагарина, взяла с Павла торжественную клятву, что он не будет ездить в Смольный монастырь. Но эти меры были, пожалуй, напрасны: Нелидова была уже слишком стара, чтобы очаровывать, слишком наивна и мягка, чтобы вести интриги, и она всецело замкнулась в свою монастырскую жизнь, видясь из придворных лишь с государыней.

В это время подготавливался политический переворот, душой его был граф Пален, стоявший одновременно и во главе правления, и во главе заговора.

Убийство императора Павла Петровича в ночь с 11 на 12 марта 1801 года как громом поразило Нелидову: «Волосы ее поседел, — пишет сенатор Гейкинг, — лицо покрылось морщинами и сделалось желтовато-свинцоватым, и глубокая печаль отразилась на этом прежде столь веселом лице».

Теперь все ее чувства были сосредоточены на одном — на ненависти к графу Палену, который был организатором цареубийства. Вместе с Марией Федоровной она приложила все усилия, чтобы удалить его от двора и подорвать его влияние на Александра I.

Со смертью Павла ее значение исчезло: для одних она была старым другом, для других — отставной фавориткой. По-прежнему, не покидая милого ей Смольного, она прожила там до самой смерти в 1839 году.

Дорогие читатели!

Пришло время подписки на второе полугодие. Для нас, тех, кто причастен к производству журнала, это время тревоги и волнений — только будущий тираж покажет, по-прежнему ли вам интересна "Смена".

С июля прошлого года, несмотря на рост цен на все и вся, стоимость нашего журнала оставалась неизменной — мы считали и считаем, что "Смена" должна быть доступной и для людей со скромными доходами. Но ваши и наши надежды на финансовую стабилизацию так и остались надеждами.

Транспортные тарифы, стоимость бумаги и полиграфических услуг за этот год возрастали неоднократно, и мы подошли к порогу, когда без увеличения цены сам выпуск "Смены" может оказаться проблематичным.

Нам бы очень хотелось надеяться, что во втором полугодии 1996 года вы не расстанетесь со своим любимым журналом.

Принцип "Смены" остается неизменным: в каждом номере — остросюжетный роман или повесть (причем целиком!) лучших отечественных и зарубежных

авторов, в каждом номере — статья о шедеврах русской и мировой культуры, занимательный очерк о малоизвестных эпизодах отечественной истории, размышления талантливых публицистов, ученых, писателей о сегодняшних проблемах, волнующих нас всех.

В ближайших номерах мы предполагаем опубликовать романы Буало-Нарсежака "Дурной возраст", Николая Леонова "Бросок Кобры", Грегори Макдональда "Сын Флетча". И это лишь малая часть того удивительного, что вы не сможете прочесть, не подписавшись на "Смену".

Москвичей и жителей Подмосковья, желающих и впредь читать наш журнал, но не имеющих возможности платить немалые деньги почти за доставку или киоскерам, продающим "Смену" с большой наценкой, мы призываем: приезжайте к нам в редакцию, и мы подпишем вас с любого месяца по цене, указанной в каталоге "Роспечати".

Более подробную информацию об условиях подписки мы даем по телефонам:

212-15-07, 250-49-98.

Задорный голос, вызывающие и несколько грубоватые интонации простой девчонки с рабочей окраины, какой-нибудь Ксюши в «юбочке из плюша», обожающей «танцевать до утра» с такими же, как она, простоватыми и разбитыми Лехами, Андрюшами и Витюшами, — такой явилась в начале 90-х на нашу эстраду Алена Апина. Первые ее альбомы демонстрировали все тот же женский характер: напористой, азартной и даже склочной девчонки, которой все нипочем и которая запросто решает все проблемы с мужчинами и соперницами, не уступая последним ни пяди своих законных прав. Протяжные, распевные, а порою и явно частушечные интонации Апиной, характерный голос выдают происхождение как ее героини, так и ее самой. Слушая певицу, без труда представляешь знакомый облик провинциалки из российской глубинки с бессмертными семечками в ку-

лачке, умудряющейся и в коротенькой юбочке сохранять все свои родовые черты.

Один из последних альбомов Алены под названием «Лимита» — уже серьезная попытка рассказать слушателям о жестокой и незадачливой судьбе героини, пожелавшей перебраться из маленького городка в столицу, чтобы устроить свою личную жизнь. Альбом имеет подзаголовок «поп-роман» и действительно построен в виде некоего повествования о житье-бытье новоявленной лимитчицы в непривычной для нее столичной обстановке. Всего в альбоме — тринадцать песен, тринадцать коротеньких новелл о встречах, расставаниях, надеждах и потерях.

— *Алена, в названиях песен — «Попутка», «Женька-спонсор», «Хит-парад», «Конкурс красоты» — вполне конкретная и узнаваемая житейская ситуация. Будь то исповедь неопытной девчонки,*

**БЕДОВАЯ
ДЕВ**



ЧОНКА

впервые собирающейся в Москву на попутке, или же горький опыт участия в столичном конкурсе красоты. Эти песни очень органично выстроились в единое целое и скорее напоминают некий спектакль, чем обычный альбом...

— Совершенно верно. У Михаила Танича весь этот цикл стихов был задуман как своего рода роман о судьбе современной провинциалки. И оказалось, судьба героини удивительнейшим образом совпала с моей собственной. Поэтому на основе этого цикла и получился настоящий спектакль. Мне хотелось рассказать о том, что я пережила, когда начинала карьеру эстрадной певицы, что когда-то передумала и перечувствовала, чтобы слушатель перестрадал моей болью и моими печальями и порадовался моим маленьким победам.

— Алена, поскольку ваш спектакль и альбом носят явно автобиографический характер, не могли бы вы рассказать о себе? Откуда родом? Как попали в Москву?

— Родилась я в Саратове. Мама — продавец, отец — инженер. Никто в семье у нас никакого отношения к музыке не имел. Я — единственная. Закончила Саратовское музыкальное училище по классу фортепиано, а затем поступила в Саратовскую консерваторию на отделение народного пения.

— Почему именно народного?..

— Еще в училище очень любила, да и сейчас люблю, народные песни. В консерватории мы ездили в фольклорные экспедиции, из которых я привезла множество прекрасных и совсем неизвестных народных песен.

— А потом?

— Пришлось оставить консерваторию после первого же курса. Я узнала, что у нас в Саратове орга-

низуется новый женский ансамбль «Комбинация», и его руководитель Татьяна Иванова нуждается в хороших исполнителях. Я ей подошла и стала выступать в составе «Комбинации».

— Как пробивались в Москве?

— Тяжело. Снимала квартиры, комнаты, ночевала на вокзалах. Пришлось многого насмотреться прежде, чем выбилась в люди.

— И долго выступали вместе с «Комбинацией»?

— Четыре года. До тех пор пока не познакомилась с моим будущим мужем, «акулой шоу-бизнеса» Александром Иратовым.

— Как все произошло?

— О, это была потрясающая история. Саша в то время, в 1991 году, делал на телевидении передачи под названием «Музыкальная мельница России». Одну из них почему-то решили снимать в Ташкенте. В число участников передачи включили и группу «Комбинация». К несчастью, в Ташкенте нас поселили в местный Дом престарелых. И ко всему прочему время нашего проживания совпало с мусульманским праздником Навруз. Все проживающие в Доме с утра и до вечера крутили пластинки с соответствующими духу праздника узбекскими мелодиями. Можете представить, как эта колоритная обстановка способствовала поднятию нашего настроения. Я взбунтовалась и потребовала показать мне «организатора», который так садистски относится к артистам. Организатор явился, им и оказался Александр Иратов. Я закатила ему грандиозный скандал. Однако вечером он неожиданно пригласил меня в ресторан, и я впервые посмотрела на него нормальными, «человеческими» глазами. А на следующее утро, проснувшись, поняла, что безнадежно влюблена в него.

— А он?

— Мы возвратились в Москву, я целый месяц мучилась, бегала к телефону — ждала его звонка, но напрасно. Однако через месяц он наконец-то позвонил. Я поехала к нему — и с тех пор мы не расстаемся.

— Да, действительно, хэппи-энд... Прямо-таки финал из рождественской сказки о Золушке: бедная «лимитчица» становится женой «акулы шоу-бизнеса», москвичкой и вдобавок известной певицей. А как вы стали работать вместе?

— Дело в том, что, когда мы с Сашей поженились, перед нами сразу встал вопрос о моих гастролях: в те времена мы много гастролеровали по стране, и Саша меня страшно ревновал. Да и сам Саша, будучи тогда продюсером Вячеслава Малежика, вместе с ним часто уезжал на гастроли, и тогда уже ревновала я. Поэтому мы решили объединить наши усилия и работать вместе, я — как самостоятельная певица, а Саша — как мой продюсер.

— Вам Саша помогает?

— Он делает абсолютно все: устраивает гастроли, записывает компакт-диски и видеоклипы, помогает советами... Я только пою.

— Алена, героини ваших песен, как правило, напористы, энергичны, жизнелюбивы и даже задиристы. Как считаете, вы совпадаете с ними по характеру?

— Думаю, да. В какой-то степени все эти качества свойственны и мне, ведь я вкладываю в исполнение песен прежде всего свои собственные переживания.

— В одном музыкальном агентстве мне сказали, что у вас специфическая аудитория. Согласны с этим мнением?

— Я вообще не понимаю, о какой специфической аудитории идет речь. Я пою для всех. И на мои концерты приходит самая разнообразная публика: от маленьких детей и до их бабушек и дедушек. В моем репертуаре есть и детская «Ксюша», и очень серьезные, «взрослые» песни.

— Совсем недавно у вас вышел новый альбом «Пропавшая душа». Как он создавался?

— Однажды ко мне пришел молоденький мальчик, композитор, Андрей Савченко. Он напел под гитару свои песни, которые мне очень понравились. И я решила на их основе записать новый альбом. Кстати, Андрей теперь известный композитор, он пишет песни для Льва Лещенко, Иосифа Кобзона, Татьяны Овсиенко, Вадима Казаченко...

— Вам никогда не хотелось поменять имидж?

— Нет у меня никакого имиджа. Это его журналисты придумали. Надеюсь, что альбом «Лимита» поставил окончательную точку в моем «лимитном» прошлом. Кстати, сейчас записываю новый альбом — «Соперницы», и в нем будут песни, написанные совершенно в ином ключе.

Бедовая девчонка, подумала я, наконец-то надевает вечернее платье и превращается в светскую даму. А все-таки жаль. Острая характерность Апиной, способность вживаться в создаваемые образы, делать их полнокровными, жизненными и узнаваемыми выделяют ее на нашей эстраде, делают ни на кого не похожей. Сумеет ли Алена сохранить и в балльном платье свой яркий темперамент, задор и узнаваемость?..

Беседу вел
ВЕРА КОШЕЛОВА.

Планета

Club Med

Вот и кончился «мертвый сезон», наступил май — месяц начала летних отпусков, и у многих российских граждан, охочих до перемены мест и уже вкусивших туристические прелести разных стран, опять голова кругом: куда отправиться на этот раз, если побывал уже и в Турции, и в Греции, и на Кипре, какой вид отдыха предпочесть: познавательный, шопинг или лежание на пляже; как угадать погоду, чтобы не оказаться к примеру, на Таити, когда там бушует тайфун, да к тому же — как найти турфирму, которая организует этот самый отдых за границей так, чтобы до конца не опустошить ваш карман...

Я и сам постоянно задаюсь подобными вопросами и, имея уже некоторый опыт их положительного решения, хочу поведать нашим читателям-путешественникам о совершенно новой (для нас, разумеется!) системе, а точнее сказать, философии организации отдыха, придуманной двумя друзьями-французами Жераром Блитцем и Жильбером Тригано. Имя она носит короткое и четкое — CLUB MED (от CLUB Mediterranee), что в переводе означает Средиземноморский клуб.

Как это всегда и бывает в жизни, все гениальное рождается просто. Так же было и с рождением CLUB MED. В 1950 году Жерар и Жильбер, не обремененные никакими хлопотами и заботами, проводили свой отпуск на берегу Средиземного моря. Видно, так им было хорошо и весело вместе, что они решили создать свой Клуб для друзей, желающих проводить отпуск со всеми оплаченными наперед услугами. Начали отцы-основатели с небольшого — разбили в 50-м году на Майорке палаточный лагерь, кухни для которого закупили у армии США. Второй лагерь в 1952 году — на острове Корфу в Греции — строился уже из соломенных хижин. Французам, как ни странно, очень понравились эти клубные городки, которые они называли «виладжи», народ повалил в них поодиночке, парами и семьями, потому что все здесь было ново: и необычная обстановка, и свободный стиль отдыха, и возможность разделить мгновения счастья с другими членами Клуба.

Виладжи росли по всему миру, росли, соответственно, и доходы их владельцев, но теперь они уже строили не хижины, а суперсовременные отели и виллы. Сегодня CLUB MED — это разветвленная туристская корпорация, имеющая 102 виладжа в 32 странах, где могут одновременно отдыхать 75 тысяч человек, и два самых больших в мире круизных парусника. Среди известнейших туристских фирм CLUB MED занимает 10-е место и является самой крупной структурой по организации отдыха с оплаченными услугами. В прошлом году, например, в CLUB MED отдыхали более 1,3 миллиона человек из 46 стран мира, а к 2000 году ожидается увеличение этой цифры до 2 миллионов. (Пишу эти заметки с надеждой на то, что существенную долю составят здесь и наши, российские, туристы.)

Туризм, как известно, не знает границ, и потому руководство CLUB MED в этом году любезно пригласило группу российских журналистов лично почувствовать, что же это такое — уникальный мир и особая философия CLUB MED, не имеющие сегодня аналогов в отечественном туризме. Нам было предложено отправиться... в Африку, в королевство Марокко.

Естественно, невозможно описать подробно все то, что нам удалось

увидеть за 7 дней в этой удивительной стране, — коснусь только того, что имеет непосредственное отношение к CLUB MED, который построил здесь 3 вилладжа — в Марракеше, Уарзазате и Агадире.

Вилладж — сердце CLUB MED. Это отгороженная, защищенная территория, куда вместе с отдыхающими имеет право проникнуть только... счастье. Ваш безмятежный отдых проходит по формуле «Все учтено!». Вам предоставлена возможность провести отпуск, не думая о деньгах, ибо все уже учтено в вашем контракте, оплаченном еще в Москве. Выглядит это так: все, что есть в городке — рестораны с трехразовым питанием и вином (пей, сколько влезет), вечерние спектакли и игры, любые виды спорта (кроме верховой езды и гольфа), пляж, бассейны, занятия в детском клубе с вашими детьми, — все это для вас бесплатно. Честное слово, это приятно — хоть на неделю забыть о деньгах. А главное — попадая в вилладж, вы не чувствуете себя одиноким, потому что вокруг постоянно ощущается атмосфера радости и доброжелательности. И создают ее особые люди, которых в CLUB MED называют по-французски GO, что на русский переводится как «милые, приветливые организаторы». Они и в самом деле все милы и любезны, да к тому же и молоды, и на время отдыха становятся вашими друзьями и не дадут вам скучать. С нашей группой тоже постоянно были три таких GO — Нина, Лиля и Лариса — они первые русские девушки, приглашенные CLUB MED на контрактной основе работать с русскими туристами.

Главный CLUB MED в Марокко — на побережье Атлантики в Агадире. Как и другие арабские города, он многолик, контрастен, дух его переменчив и трудноуловим. Его неповторимый узор складывается из сочетания океана, тропической зелени и скал, древних традиций и современных веяний, общения тысяч приветливых торговцев с миллионной армией туристов. В город вы выберетесь только в перерыв между пляжем, экскурсией, занятием спортом и рестораном. Потому что все есть в самом CLUB MED — магазинчики, ларьки, кроме, конечно, восточного базара, но «милые организаторы» отвезут вас и туда. А вечером вы попадете в стихию веселого спектакля или красочного концерта, и вам покажется, что на сцене профессиональные артисты, а это опять будут все те же GO, талантливые и в танцах, и в песнях, и в пантомиме.

Кто не любит вкусно поесть? Гурманы и лакомки найдут в CLUB MED величайшее разнообразие блюд многих кухонь мира, и все можно попробовать, потому что в CLUB MED — шведский стол, а вино и пиво тут льются рекой.

Мои друзья просто задыхались от зависти, когда я рассказывал им о том, как замечательно провел время в CLUB MED, а вот согражданам, не считающим денег в собственном кошельке, очень рекомендую совсем уж экзотический отдых — круиз на борту одного из двух роскошных парусников «CLUB MED-I» и «CLUB MED-II», курсирующих соответственно вдоль островов Полинезии и Карибов или по Средиземному морю. Такой круиз не грезил вас и в самых смелых мечтах! Потому что на борту этих величайших в мире парусников вас ожидают роскошь, услада, великолепие и изысканность во всем. Они бороздят разные моря и океаны, пересекают разные полушария, — а это значит, что вы можете воспользоваться таким отдыхом круглогодично, — звоните в туристическую фирму, и вам сообщат, в какой точке земного шара вы можете сесть на борт парусника «CLUB MED».

Надеюсь, прочитав эти беглые заметки, вы уже решили, где будете отдыхать этим летом. Курортные городки CLUB MED ждут вас в 32 странах. Это будет восхитительный, незабываемый отдых!



154 **СЕРГЕЙ БЕНДТ,**

35 лет, актер,
Астрахань

ОСЕНЬ

*Промеж фонарей ночь густа.
По этому случаю
Мой окурок летит с моста
Звездою падучею.*

*Дома, словно побыв в гробу,
Как дело нелишнее,
Славно Бога и грязь скребу,
К ботинкам прилипшую.*

ИРИНА МИРЗОЕВА,

30 лет, математик,
Москва

≡

*Что, мой январь? Откуда слезы?
Из оголтелой высоты
Твои промокшие невроты,*

*Мои пропащие листья,
Я за одно с граненым снегом,
С хрустящим свитком в серебре,
С прохладцей, с ноздреватым бегом
Смакую слезы в январе.
Я — от тепла и от печали,
Но всем словам назначен час!
Над пустырем грачи кричали —
Разыменовывали нас.
О страхе, и лес уже раздетый
На набухающих кострах!
Стволы расшевелились где-то,
Запели ветви на ветрах.
И слезы катятся глухие
Не от того ль, что — как ни шло —
Пусть сполохи воды — живые,
Отнимут лживое тепло.
А кто в предатомной истоме
Великий скручивал бедлам,
Пойдет в промокнушем этом доме
Просить прощенья по углам.*

КОНСТАНТИН БОБРОВ,

25 лет, эколог,
Калуга

≡

*Мелькают за окнами плоские лица,
В туманной дали торопятся слиться;
В руке — последний шанс, что нашел:
Билет на поезд, который ушел...
Вокзала грязный асфальт под ногами,
Всем безразлично, что будет с нами;
Клочок бумаги ложится на стол —
Билет на поезд, который ушел...
Проснуться бы надо, да это не сон!
Качаясь, плывет подо мною перрон...
Навстречу — толпа равнодушных людей,
Бежущих куда-то, забывших про цель
всей кутерьмы,
А меня вот нашел билет на поезд,
который ушел...*

ОЛЕГ ИГНАТЬЕВ,

31 год, врач,
Люберцы

≡

*Манифесты глухой подворотни:
Три аккорда — два новых и старый.*

*Смотрели в реку, замирая,
Безжизненные берега.
Как бубен, тонкий диск луны
Звенел от слов твоих неловких.
Ты говорил без остановки,
Боясь внезапной тишины.
А я могла еще молчать
И губ, уже чужих, касаться,
Тебе беспечно улыбаться
И от тоски не закричать.*

ВАДИМ ВАМОНОВ,

32 года, водитель,
Чита



*Я не пойму, зачем ко мне
Приходишь ты порой ночью,
И, словно ангел, надо мною
Горишь в неправедном огне.*

*Я не пойму, зачем за нас
Судьба готовит назначенье.
Ведь если бы твой пыл угас,
Закончились мои мученья.*

ВЕРА ОКОРОКОВА,

45 лет, народный целитель,
Москва



*— Расти, Расти, Росток! —
Появляйся на свет, колосок! —
И вырастет на свет —
Мой заветный цвет!
Мое дитяtko!
И будет в окошке свет! —
И душистые поля —
И росистые луга,
И луч Солнца золотой —
Колосочек удалой!*

ФРЭНК ДЕ ФЕЛИТТА

ПОХОРО

МАРШ МА

158

Щелк... лента магнитофона поплыла... записывая:

— Кино зацетило меня, когда я был еще совсем мальчишкой...

Щелк... «Да какое ж до этого кому дело?».. Фррр... Поехала мотать назад лента к началу... Щелк...

— Так много надо объяснить... Суть в том, что я был одинок... мое искусство...

Щелк... «А-а, к черту все это дерьмо...» Щелк... И снова голос, заговоривший подтверже:

— Мастер, которому подражал я... Великий. Гений. Если не понимаете его, как понимаю я, тогда и не поймете ничего. Если по-настоящему не понимаете. Как я.

Щелк... Сгущались тени. Время летело. Смутные шумы, шорохи ползли по квартире. А время текло и текло...

Щелк...

— ...Упомяну и свою библиотеку... Первая книга о фильмах, которую я прочитал, — это книга Фрэнка Копра. Фамилия наверху, заголовок. Книга стоит у меня до сих пор. Вон она. Тогда мне было десять лет. Ее подарил на день рождения дядя. Потом я купил книги Чаплина — тоже вон стоят... вон, у видео... и фон Штрофма... есть и воспоминания Дугласа Фербенкса, купил у мелкого книжного торговца в Венеции. Иисус, ненавижу этого парня. Сами видите, у меня больше четырех тысяч томов. Хотя откуда ж вам видеть! Вас же вообще не существует!

Лента остановилась.

— И опять же, кому какое дело до моей библиотеки?



ОННЫЙ

РИОНЕТОК

Рисунок АЛЕКСЕЯ ОСТРОМЕНЦКОГО

159

Шелк... Лента закрутилась опять.

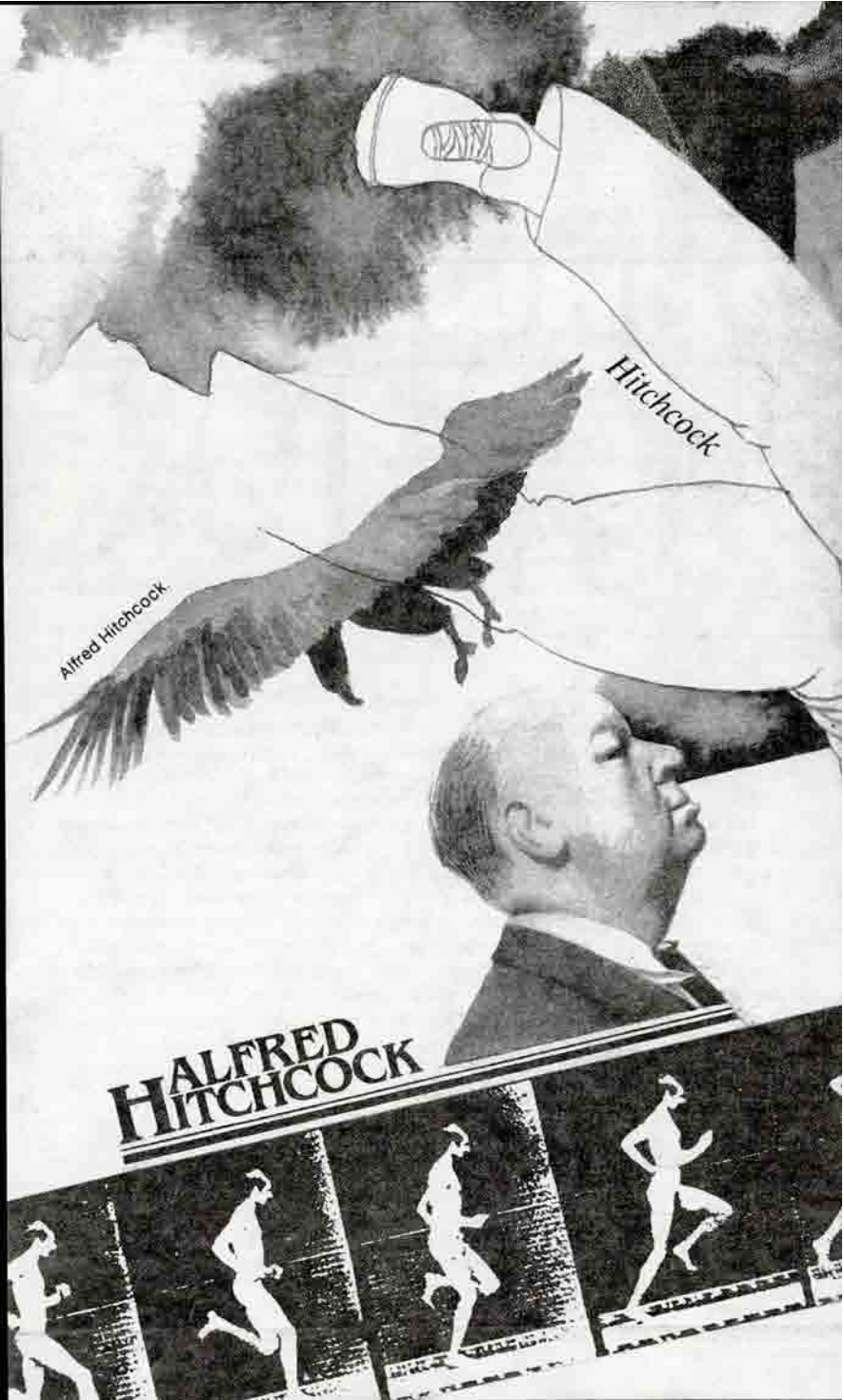
— Не так уж все это легко, поймите. Потому-то я и начитываю свою историю на магнитофон. Чтобы вы знали, через что мне довелось пройти. Как все получилось. Вы поймете, нелегко и не сразу дошел я до теперешнего состояния.

Мной владела одержимость... Другого слова и не подобрать. ...Я родился с ней, она разрасталась, как раковая опухоль; рос я, росла и она; разница одна — болезнь мне нравилась... Как бы это объяснить... я всегда был, да и сейчас тоже... помешан на кино.

Не в том суть, что мне нравятся фильмы и я не вылезая из киношки, хотя и это правда. Мозг у меня мыслит кадрами из фильмов. Я редактирую, подправляю действительность. Когда разговариваю с людьми, то вижу крупный план, наезд камеры, очень крупный план, ракурс один, другой, или перевернутый кадр, или камера едет рядом с «поршнем», и мы видим — нервно закуривает водитель... Понимаете, про что я? Я сам — как бы живая камера. Не всегда, уверяю вас, такое приятно. Ходил к психиатру и знаю, это — ненормально.

А мозг мой монтирует и перемонтирует. Монтаж скоростного транспорта на автостраде Харбор или параллельный монтаж: коп и чернокожий уличный дилер. Предметы, которые я вижу, чувства, которые переживаю... я их подправляю со всех сторон, они распадаются на эпизоды, потом я снова монтирую, собираю, а лента крутится без склеек, нескончаемая лента моего ночного кошмара, который и есть моя жизнь.

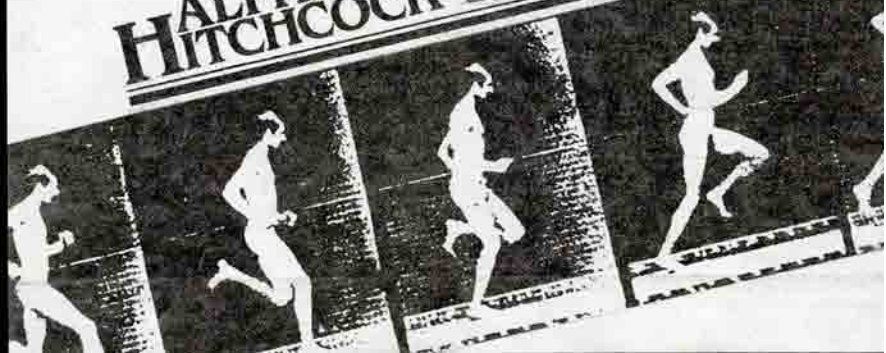
Итак, на кино я заикнулся совсем мальчишкой. Старые



Alfred Hitchcock.

Hitchcock

HALFRED HITCHCOCK





фильмы. Черно-белые. «Три комика», «Лорел и Харди», «Копы из Кистоуна». Семья у меня была суровая. Баптисты-фанатики, но с деньгами, с большими деньгами, и жили мы в Небраске. А вам ведь известно, какой там живет народец. Ограниченное, скорое на расправу быдло. Жизнь моя тянулась безрадостно, уныло, но я нашел отдушину — кино. Азбуку кино я выучил раньше, чем научился писать по-английски. Если желаете красивых слов — я усматривал даже некую метафизику в старых мелодрамах и комедиях. Моей религией стало кино.

Уже к восьми годам я приобрел репутацию чокнутого. Ни братьев, ни сестер у меня не было. С отцом никогда не ладил, та скотина ни гроша мне не давал на развлечения. Я снимал фильмы на никели и даймы, которые подворовывал из материнского кошелька. Мастерил костюмы, писал сценарии на бумажных паке-тах. Заставлял соседских ребятишек запоминать реплики. Фильмы получались грандиозные. Сага о Чарльзе Старквейзере, убийце-маньяке, чье бегство через Мидвест вселяло в людей ужас. Я знаю, сейчас это кажется ненормальным.

Особенно сейчас. Новые эпопеи, величественные панорамы грезились мне... Битва при Анзио... я был сдвинут и на Второй мировой войне. Римейк «Инцидента в Оксбоу»...

Фильмы я снимал с великим старанием... Делал обычные планы, кадры, снятые под углом сверху, с нижней точки, перевернутые кадры, заставлял маленьких засранцев повторять снова и снова, пока не получалось, как нужно. Мне было плевать — плакали они, просились в уборную или их звали домой матери. Я СНИМАЛ ФИЛЬМ!

Вам доводилось когда-нибудь монтировать 8-миллиметровку? Я чуть не ослеп. Работал на рахитичном карточном столике в подвале. Можете себе представить? В подвале! И это в особняке из двадцати комнат! В подвале среди пауков, плесени и грязного семейного белья; тупыми ножницами, клеем для пленок, с видеоскателем, который смастерил сам. А когда фильмы были готовы, я показывал их. Почему-то все соображали — нельзя отмахиваться от моих фильмов. Я крутил их родителям, родственникам, родителям детей. Все звуковые эффекты изображал сам, даже музыку: пустая корзинка служила мне барабаном, я молотил по пианино, вскрикивал, взвизгивал, имитируя визг тормозов, нащепывал диалоги. Оглядываясь теперь назад, я понимаю, что людям было неловко. Сумасшествие в нашем квартале считалось величайшим позором. Но я-то к своему увлечению так не относился. Я ненавидел других за ограниченность... неспособность чувствовать. Я не видел других за ограниченность... неспособность меньше всего. У меня было свое видение мира.

Меня раздирало от злости, что живу я в Небраске, где задвинут на задворки. Никто не верит в меня. Никому по-настоящему не хочется общаться со мной. Я не был примерным учеником и не был хорошим баптистом. Со мной явно было что-то не так. Я презирал и свою семью, и людей вокруг, а особенно своих учителей: я ощущал их лицемерие, ограниченность... Они платили мне взаимностью... Звали маленьким Чарльзом Старквейзером, давали другие подобные прозвища... потому что в глубине души боялись

меня... Людей всегда пугает исключительность, призвание, природный талант...

Придется вам терпеть такую вот этиологию моих поступков. И слушать внимательно, добираясь до корней, а это не так просто, как вам представляется.

Мной двигала мания величия. Признаю. Но подумайте сами. Фильмы... Это все-таки не то же самое, что лепить глиняный горшок или даже сочинить хайку*. Это творчество для масс. Награда тут исключительная. Бросок в бессмертие! Но и конкуренция — один другому горло готов перегрызть. Киношники все полусумасшедшие, все одержимы манией величия. Каждый считает, уж у него-то талант из ряда вон. А на самом деле лишь очень немногие... считанные единицы... И эти стоят над моральными законами... они аморальны. Как, например, был и я... почти с рождения...

Я был одержим, кино для меня — вся жизнь. Движущая сила. И одержимость эта уничтожила меня, а я заслуживал гораздо большего. Я был избран... избранных так мало... воплотить видения...

Воплотить...

Шелк... Лента встала. Застыло все. Откупорена новая бутылка пива.

— Э-э! К чертям все это дерьмо!

По комнате раскатился пронзительный смех.

— Воплотить!

СНЯТО! СНЯТО!

1

Над горами показался краешек солнца, и золотистое сияние разлилось по автостраде Тихоокеанского побережья, по утрамбованному, покрытому росой песку Карбон Бича в Лос-Анджелесе.

Человек бежал трусцой по длинной мокрой полоске пляжа, с песка мягко скатывался прибой, увлекая за собой длинные ленты спутанных бурых водорослей.

Вдалеке послышался звук, похожий на жужжание мухи. Бегун повертел головой, но ничего не увидел. Только собственные следы, тянувшиеся на четверть мили позади. Шесть утра. Снова тот же звук — будто жужжит муха-великан. Прикрыв глаза ладонью от солнца, уже отсверкивающего от плоских крыш Побережья, он увидел модель самолета фута два длиной, выписывающего «восьмерки» в небе прямо над ним. Модель управлялась дистанционно.

Черт поberi этих мальчишек, мелькнуло у него в голове, а глаза обежали ближайшую набережную, крыши домов. Запускавшего самолет он не увидел и побежал дальше.

Самолет тем временем кружил над зеленой крышей ближайшего дома.

— Да уберите с пляжа этот кусок дерьма! — завопил бегун.

* Японское лирическое трехстишие.

И споткнулся о ямку в морском песке. Водоросли и пена легких бурунов налипли на манжеты спортивных брюк.

Самолет, клюнув носом, спикировал и взревел, разбрызгивая бензиновые капли на песок дорожки.

— Да чтоб тебя черти взяли!..

Самолетик чиркнул над головой так низко, что бегуну пришлось увернуться. Он споткнулся. Левый большой палец ноги зарылся в грязь. Нелепо прихрамывая, запыхавшийся, злой, он продолжал бежать, но с огромным трудом. Безобразие, осмеливаются вламываться в его частную жизнь. Он никак не мог увидеть, кто же управляет моделью самолета. Бегун оглянулся. Невероятно! Самолет взмывал вверх, вертикально, прямо в небо. Потом угол изменился. Сверкнул на солнце алюминий, от крыла отразился солнечный луч. Самолет набрал скорость, выписал, подрагивая, петлю и стремительно спикировал вниз.

Прогудел над самой головой...

Он побежал, угодил в пену бурунов, побежал дальше, прихрамывая. Под ноги попадались то кучи водорослей, то игрушечное ведерко с лопаткой... мешало все... Сбитый с толку, он поглядывал, как самолет летит через пляж на высоте каких-то трех футов, выписывает виражи, игриво кувыркается...

Бегун всматривался сквозь сияние и дымку, мимо обрывов и холмов, взгляд его упал на полоску неогороженной набережной, упирающейся в шоссе, и наконец выделил темный силуэт: человек, оказывается, стоял не так уж и далеко, расставив ноги, нажимая кнопки в коробке дистанционного управления.

— Идиот чертов! — завопил бегун. — Смотри, что делаешь! Осторожнее!

Но человек, если и слышал, не шелохнулся. Он заставил самолет выписать вираж, потом повернуть и полететь над пляжем.

Не веря собственным глазам, бегун уставился на самолет, вырастающий на глазах. Из мотора вырывались облачка дыма. Бегуну стала видна каждая деталь, крохотные резиновые шасси... В последнюю секунду бегун нырнул в прибой. Ковыляя по колону в воде, обернулся и увидел: самолет снова взмыл в воздух, пара над крышами домов. Изящно перевернулся и снова спикировал на него.

— Еще! — взвизгнул маленький Бобби Брэди, стоящий на балконе. — Еще!

Из квартиры показалась размытая тень: мать Бобби шла взглянуть, что происходит.

Человек на набережной нажал маленький рычаг, и самолет набрал скорость.

— Ты! Маньяк дерьмовый! — заорал бегун и побежал, как не бегал никогда в жизни, удирал зигзагами, как загнанный зверь. Но низкий самолетный рокот позади наступал, гремел прямо в уши.

В ужасе бегун обернулся. Увидел переводные картинки на крыльях самолета, шасси, игрушечную кабину, сверкнувшую на ярком утреннем солнце. Ударил в ноздри бензиновый перегар, запах раскалившегося металла.

Полыхнула на песке маслянистая оранжевая вспышка. Дым,

грязь, вскипевшая вода и клочья серого свитера взлетели над пляжем. Частицы мозга, костей, зубов дождем просыпались между сваями под квартирами.

Мать Бобби, выскочив в патио, завизжала. Лицо ей обдало песком и галькой, оно мгновенно почернело от маслянистого дыма. Она инстинктивно схватила Бобби в охапку.

— Еще! — слабо похныкивал он, глаза у него сделались совсем круглыми от переполоха и сумятицы. — Еще... — монотонно тянул он. — Еще...

День наступил жаркий. Утренняя дымка испарилась, песок высох. Над патио летали чайки. Под набережной толпа смотрела на продолговатый, похожий на мешок, предмет, прикрытый полицейским одеялом. Копы из Лос-Анджелеса стояли, скрестив руки, охраняя периметр пространства вокруг предмета, огороженный стальными шестами и красной лентой.

Детективы в штатском, подныривая под красную ленту, искали что-то на песке, по ближайшему склону набережной, а что — не могли определить и сами. Два детектива в штатском и техники лаборатории бродили по песку.

Тридцать пять обитателей пляжа стояли, раздираемые любопытством, в ожидании. Что-то витало в воздухе.

«Скорая» притормозила у бровки Тихоокеанской автострады. Медэкспертом был Ал Гилберт, страдающий от плохого пищеварения. Он уже проглотил целую упаковку таблеток, а было всего 11 часов утра. Гилберт неловко сполз по песчаному склону, торозя левой ногой. Группка полисменов окружила воронку футов десять шириной и шесть футов глубиной. Части обгорелого тела, клочки ткани, капли металла усеивали пространство замкнутого периметра. На горячем песке краснели пятна и капли крови.

Нос Гилберта сморщился. Уже тянуло душком. Или это от водорослей, гниющих в прибое? Он заглянул в воронку. Начинаясь она приблизительно там, где должна бы находиться голова трупа.

— У-ух! — крикнули сзади.

Гилберт подскочил. За ним стоял Джон Хабер, детектив первого класса.

— Шашлычком пахнет, а, док? — лукаво усмехнулся Хабер. — Да-а... Осматривать-то нечего. Он что, на мину наступил?

— Детектив Хабер, пусть твои ребята соберут части тела, — распорядился Гилберт. — Все до последнего. Каждый волосяной мешочек, каждый ноготь. И сложат в мешок.

— Хорошо, сэр.

— Сантомассимо тут?

— Да, сэр. Нашлась свидетельница, и Сантомассимо с сержантом Бронте сейчас беседуют с ней в ее квартире.

Гилберт отвернулся от Хабера, от толпы и шагнул поближе, к краю зловещей воронки. Толпу качнуло следом. Башмак Гилберта сдвинул сыпучий песок, и обрывок ткани — ярлык спортивного костюма за 600 долларов — пополз на дно.

— Одно наверняка, — буркнул Гилберт.

— Что же, сэр?

— Мозг ему вышибло прежде, чем он успел получить от него информацию.

— Информацию о чем?

— Что его вышибли.

2

У себя в квартире Линда Брэди пила скотч. У лейтенанта Фрэда Сантомассимо было длинное печальное лицо, с задумчивыми глазами святых с портретов Эль Греко.

— Вы можете описать жертву, м-сс Брэди? — спросил лейтенант.

— Господи, откуда! Я выскочила за дверь, когда уже все произошло!

Лу Бронте был лет на пять постарше тридцатилетнего Сантомассимо, лицо покруглее, попроще. Держался Бронте спокойно и вполне владел собой. Сантомассимо же, наоборот, напряжен был необычайно.

— Ба-бах!

Сантомассимо подскочил и обернулся. Из-за ножек стула Бронте выполз Бобби и сделал ныряющее движение рукой.

— Ба-бах!

Сантомассимо и Бронте уставились на малыша. Какая картинка уничтожения, раздумывал Сантомассимо, разворачивалась перед этим, еще не обретшим языка созданием? Что-то в ней насмешило малыша, вроде как вид пьяного папочки. Хотя Сантомассимо уже знал — папы нет, пьет мама. Сантомассимо обернулся к м-сс Брэди.

— Но вы уверены, что его ударил игрушечный самолет?

— Уверена? В чем я могу быть уверена? Я выскочила на балкон, потому что раскричался Бобби. Мне показалось, ударила человека модель самолета. Все эти модели следует запретить законом. Каждый уик-энд здесь полным-полно народу.

— Но сегодня утром самолет летал только один? Вы слышали — один?

— Да-а. Один. Сегодня-то, лейтенант, понедельник. У нас только в будни и есть покой. Но в выходные... — Она икнула. — Самолеты, пластиковые диски. Взрывы. Всякая вонючая гадость.

— Раньше, м-сс Брэди, вы видели бегунов так рано? — спросил Бронте.

— А то! Спозаранку начинают бегать. Вообще днем и ночью носят. Да прекрати ты, Бобби!

— А одного и того же бегуна, бегающего трусцой каждое утро, не замечали? — осведомился Сантомассимо.

— Да полно их тут бегают!

— Но может, это кто из соседей, — подсказал Бронте.

М-сс Брэди повернулась к нему:

— Соседей я никого не знаю. Квартиру купила на деньги от развода. Мы тут с Бобби живем всего второй месяц.

— О'кей. Благодарим за помощь, м-сс Брэди.

Вместе с Бронте лейтенант Сантомассимо спустился на пляж.

К ним тут же подскочил Гилберт.

— Да-а, везуха нам сегодня, — бросил он.

— А что? — Бронте взглянул с надеждой.

— Чтоб на сотню миль в ту сторону, — Гилберт ткнул на север, — и все стало бы проблемой шерифа Малибу.

— Ну да, Ал, — усмехнулся Сантомассимо. — А на полмили к югу — проблемой Санта-Моники. Но жертва, вот вредина, взял да подорвался на куски на этом крохотном клочке пляжа, прямо посередке, и теперь это проблема полиции Лос-Анджелеса.

— Да уж! — кивнул Ал. — Вреднящий, дальше некуда!

Сантомассимо выбрался по крутизне набережной на Тихоокеанскую автостраду. Наверху наткнулся на толстяка в светлосером костюме и синей рубашке. Он узнал Стива Сафрана, репортера. Безошибочный нюх пригнал того на место происшествия. Сафран обильно потел, рубашка и пиджак липли к телу. Позади Сафрана топтался худющий жилистый оператор, лицо скрыто за огромным видеоискателем наплечной мини-камеры. Горел красный огонек, он снимал. Сантомассимо отвернулся.

— Лейтенант! — окликнул Сафран. — ТВ новости «КДЛП». Можете сделать для нас заявление?

— Пока мне нечего сказать.

— Взрыв такой силы, — пыхтел Сафран. — Как по-вашему, это акт терроризма?

— Причина взрыва мне неизвестна. Вы видите, мистер Сафран, то же, что видим мы. — И повернувшись, Сантомассимо зашагал прочь.

Сафран ринулся было следом, но остановился, задохнувшись.

— Спасибо, лейтенант! — крикнул он и тихонько прибавил: — Козел паршивый!

Теперь полицейские техники просеивали песок набережной над трупом и воронкой. Они сгребали песок в плоские большие сита. Тщательно просеив, сваливали оставшийся хлам в пластиковые контейнеры. Потом помечали контейнеры жирным карандашом, указывая местоположение находки. Горки просеянного песка громоздились у начищенных черных башмаков полицейских.

— Мы просеяли песок на всех важных участках, лейтенант, — заторопился Хабер. — Даже через шоссе и частично на откосах Порто Марины Вэй.

— Нашли что-нибудь?

— Бутылки. Бутылочные крышки. Стекло. Окурки. Презервативы. Использованные, само собой. Дохлую кошку.

— Следы шин?

— Никаких.

— Следы ног?

— А то как же! Следов ног — тысячи!

Сержант Бронте тоже вскарабкался на набережную. Промокая подбородок платком с монограммой, он подошел к Хаберу и Сантомассимо.

— Обошли все дома на Побережье. Некоторые жильцы взрыв слышали, но, насколько им известно, трусцой в такой час не бегают. Бегуна никто не видел. А один, — Бронте заглянул в

блокнот, — Элмо Ричардсон, банковский служащий на пенсии, находился в сауне и решил, что это звуковая волна. В четверти мили севернее офицер Макгивни нашел машину, припаркованную у дороги. Насколько могли сообщить жители, она не принадлежит никому из живущих по соседству.

— Уже кое-что.

— Машина — «кадиллак биаритц», новехонький. С откидным верхом. Цвета сливочного мороженого. До такой и дотронуться — большая честь. Внутри сложены костюм, галстук и очень дорогая рубашка.

— В карманах костюма обнаружили что-нибудь?

— Машина заперта, сэр.

— Позвони в Управление, получи разрешение на взлом и обыск.

— Они уже едут сюда.

Сантомассимо задумался. «Биаритц»? Такие не выдаются впридачу к членскому билету клуба. Если машина принадлежит убитому, то человек он был богатый. Может, член шайки? Кокаин? Он зашагал по Тихоокеанской автостраде бок о бок с Бронте. Оба молчали. Сантомассимо поглядывал по сторонам: то на точки коттеджей на холмах в стороне от дороги, то на крыши домов, сбегających буквально чуть ли не на пляж. Кто угодно мог стоять там, манипулируя бомбой с дистанционным управлением. Спрятавшись среди кактусов и чертополоха. А может, и не прятался вовсе. Возможно, убийца проделал работу спокойно и хладнокровно, на виду у всех. Способ крайне эксцентричный. Метод убийства сумасшедшего.

«Биаритц» был такой, как и расписал Бронте: белоснежная красавица машина с опускающимся верхом, крепко запертая. С крайним неудовольствием Сантомассимо увидел, что некоторые из толпы засекли прибытие бригады по взлому и по набережной вышли к месту, где стоял «кадиллак».

Полицейский слесарь вставил стальную иглу в замочную скважину дверцы. Пара ловких поворотов — и замок отперт. Толпа восхищенно ахнула — как быстро взломали. Некоторые едва удержались от аплодисментов. Одна женщина с камерой щелкнула слесаря.

Сантомассимо, отодвинув слесаря, махнул эксперту по отпечаткам. Низенький лысеющий полицейский подошел со щеточкой, порошком и черным мешком и принялся пригудривать ручку дверцы. Когда он сдул порошок резиновой грушей, проступил лабиринт латентных отпечатков пальцев.

Сантомассимо, натянув белые хлопковые перчатки, осторожно распахнул дверцу, стараясь не попасть на отпечатки. Пляж огласил рев сигнального устройства «кадиллака». Отпрянувшая было толпа, трусливо посмеиваясь, вновь прихлынула к машине. Сантомассимо забрался в салон, нагнулся под приборную доску и отключил сигнал. Перчаточное отделение открылось от прикосновения пальца. Внутри лежала пухлая папка в тканевом переплете. Сантомассимо проглядел ее. В ней находились паспорт на «кадиллак», инструкция для владельца, страховой сертификат.

Сантомассимо перевернул регистрационную карточку.

«Уильям Хасбрук, Плантейшн драйв, 2334, Тихоокеанский Пэлисейдс, Калифорния, 90053».

Престижный адрес. Под стать машине.

— Распорядись увезти труп, пока народу кажется, что главный цирк тут,— шепнул лейтенант сержанту Бронте.— К машине никого не подпускай.

— Слушаюсь, сэр.

— Когда закончишь, прокатимся в Пэлисейдс.

Бронте кивнул, ухмыльнулся и незаметно ускользнул со сцены, торопясь передать инструкции детективу Хаберу. Сантомассимо остался в машине, притворяясь, будто осматривает ее. Наконец Бронте подал ему сигнал, и Сантомассимо отправился по дороге навстречу ему.

3

Машину Сантомассимо вел легко, уверенно, низкий синий «датсун» плавно брал крутые повороты Пэлисейдса.

Бронте привалился к дверце, вполборота к Сантомассимо, и курил.

— Как, по-твоему, действовал террорист? — наконец спросил он.

— Не знаю. Но кто бы ни был убийца, от Хасбрука он задумал мокрое место оставить.

— А ты уверен, что на пляже был Хасбрук?

— Странный метод убивать человека,— задумчиво обронил Сантомассимо.

— Бомбой?

— Летающей бомбой. В игрушке. Следы Хасбрука свидетельствуют — он бежал трусцой с четверть мили по пляжу, потом споткнулся, упал, а затем помчался зигзагами, добежал до того места, где теперь воронка...

Бронте закурил вторую сигарету, наклонившись к приборной доске и уберегая ее от ветра.

— Убийца забавлялся с ним. Унижал. Прямо по-садистски. Хасбрук оказался беззащитен, как ребенок.

Сантомассимо кивнул.

— Если, конечно, убитый — Хасбрук,— добавил Бронте.

Сантомассимо затормозил «датсун» у невысокого холма, откуда поднималась короткая, но крутая подъездная дорожка мимо цементной стены. У ворот табличка, предупреждающая о сторожевых собаках, сигнальная полицейская система. Бронте напрягся. Как будто они приехали в дом покойника. Если «биаритц» и дом принадлежали убитому, то...

— Ладно, взглянем, кто дома! — буркнул Сантомассимо.

Владение оказалось больше, чем можно было предположить, глядя с дороги, где они припарковали «датсун». Просторный особняк располагался на дальней стороне большой, хорошо ухоженной лужайки, нечто вроде плато, смотрящего на Пэлисейдс, Тихоокеанскую автостраду и пляж внизу. Тонкие тугие струйки разбрыз-

гивателей, скрещиваясь и играя, орошали аккуратные клумбы красных роз и синих дельфиниумов.

Сантомассимо позвонил. Открыл парень-прислуга, явно латиноамериканского происхождения. Сантомассимо показал полицейское удостоверение и по реакции парня догадался — в Америке тот живет незаконно.

— Мы бы хотели поговорить с мистером Хасбруком, — попросил Сантомассимо.

— Мистера Хасбрука нет. Он на работе.

— А где работает?

— В центре, — выдал слуга.

— Адрес, por favor.*

Парень облизал губы, покосился на сержанта Бронте, опять перевел взгляд на Сантомассимо.

— «Шеффилд билдинг». На верхнем этаже, люкс.

— А название фирмы? — уточнил Бронте.

— «Хасбрук».

— Ну да, Хасбрук, — раздраженно буркнул сержант. — Я спрашиваю — название фирмы?

— Я же говорю — «Хасбрук»!

— Понятно. Компания «Хасбрук».

— И «Клентор».

— Да. Два человека, одна фирма.

— М-р Хасбрук бегаёт трусцой? — неожиданно спросил Сантомассимо.

Латиноамериканец отступил, в глазах у него появилась подозрительность.

— А, да, каждое утро. В 6.30. По пляжу.

— Спасибо.

Сантомассимо спустился обратно по крутому спуску, залез в «датсун». Побарабанил по черной коже руля. Лу Бронте забрался тоже.

— Парень не знает, что Хасбрук мертв, — заметил Сантомассимо.

— Понятное дело. Откуда же? Кто б ему позвонил?

— Подумал... может, убийца... Как покорооче до «Шеффилд билдинга»?

— В это время лучше всего по автостраде, а потом по шоссе Санта-Моника.

Круто развернувшись, «датсун» стремглав полетел вниз к блеску и шуму автострады Побережья.

«Шеффилд билдинг» ремонтировался. Леса опоясывали его до третьего этажа, и рабочие в касках обивали алюминиевыми полосами фасад. Видно, модернизировался ресторан на первом этаже. Сантомассимо увидел множество стальных шаров-ламп и металлических полос для салатного бара. Такой бар придется по вкусу сыну Бронте, в таком он с удовольствием будет есть.

На первом этаже стоял охранник. Сантомассимо с Бронте показали удостоверения. Они дожидались у лифта, а в ресторане

* Пожалуйста — исп. (здесь и далее прим. переводчика).

дизайнер руководил укладкой под причудливыми углами черно-белых плиток на новом расширенном полу.

— Во что превращают «Шеффилд билдинг»! — вздохнул Бронте.

— Сейчас всюду так. Новое веяние. Алюминий и черно-белая плитка. Эрзац. Понимаешь, о чем я? Безвкусица. Все черное и белое. Дешевка.

Дверцы лифта разошлись. Лейтенант нажал верхнюю кнопку — «Хасбрук и Клентор». Лифт поплыл вверх на удивление быстро. Когда дверцы раскрылись, они очутились не в коридоре, а в солидной приемной, с ковром на полу, за ней угадывались просторные комнаты.

Стройная секретарша-блондинка подняла на них взгляд. На вид — очень умная. В золотистой блузке с маленькими подплечиками и белой юбке девушка выглядела очень эффектно. Одинокaя роза в вазе украшала компьютер «ИБМ» на белом столе.

— Чем могу помочь? — осведомилась она.

— Лейтенант Сантомассимо и сержант Бронте из лос-анджелесской полиции, — представился Сантомассимо. — Нам нужно побеседовать с м-ром Клентором.

— Минутку, пожалуйста. — Блондинка сняла плавно изогнутую трубку.

— Мистер Клентор, — тихо произнесла она, — извините, что прерываю ваш разговор. Пришли из полиции. Лейтенант Сантомассимо и сержант Бронте. Желают поговорить с вами.

Послушав, она положила трубку.

— Пожалуйста, входите, — и указала на ореховую дверь.

На светлом дереве золотыми листиками было выложено «КЛЕНТОР». На такой же ореховой двери по другую сторону приемной — «УИЛЬЯМ ХАСБРУК». Сантомассимо постучался и, не дожидаясь разрешения, вошел.

Майкл Клентор походил на большого моржа с тяжелым, но добродушным подбородком, однако маленькие карие глазки поблескивали темно, враждебно. Он усмехнулся, показывая ровно запломбированные зубы, и по-мужски крепко потряс руку Сантомассимо, потом — Бронте.

— Вы сегодня разговаривали с м-ром Хасбруком? — приступил Сантомассимо.

Улыбка на лице Клентора еще держалась, но сам он медленно отодвинулся, будто спрятался в глубь кожаного кресла.

— С чего такие вопросы, лейтенант? Мне это не нравится...

— Боюсь, есть вероятность, что м-ра Хасбрука убили сегодня.

— Билла? — Клентор, выкатив на Сантомассимо глаза, побелел.

— Бомбой, — прибавил Бронте, — с дистанционным управлением. В игрушечном самолете.

Клентор медленно обмяк, все так же не отрывая глаз от полицейских.

— ...Но вы не знаете наверняка, Билл это или нет?

— Мы взяли отпечатки пальцев с машины м-ра Хасбрука... не очень четкие. И наши техники поищут в его кабинете латентные

отпечатки. Необходимо будет сравнить их с отпечатками пальцев жертвы.

— А почему просто не заглянуть в его бумажник?

— Бомба, м-р Клентор, была очень большая, — пояснил Бронте.

— Значит, вы почти уверены, это Билл...

— В данный момент мы не уверены ни в чем, — заметил Бронте.

— Разорван... на куски? — недоуменно выговорил Клентор. — Совсем?

— На части, — подтвердил Бронте.

— Господи! Игрушечный самолетик! Убила игрушка! Но разве может игрушка убить?

— Видите ли, убила не сама игрушка, — поправил Сантомассимо. — Игрушка послужила лишь транспортным средством. Убит тем, что было внутри игрушки.

— Господи, Господи! — растерянно приговаривал Клентор.

— Вы можете рассказать нам что-нибудь про м-ра Хасбрука? Что это был за человек?

— Билл? Просто удивительный. Замечательный партнер и друг.

— Был женат?

— Его жена Барбара умерла три года назад.

— А потом?..

— Нет. Женщин не было. Билл в нашем бизнесе редкая птица. Однолюб. Когда умерла Барбара, с женщинами для него было покончено. Никаких романов. Не то чтоб слишком стар, нет. Биллу всего-то было 56. Полон энергии. В хорошей форме. Для того и трусрой бегал. Впереди у него были еще долгие активные годы.

— Дети?

— Нет. Только они с женой. И бизнес. Можно сказать, фирма стала его любовницей после смерти Барбары.

— Как вы с ним ладили, м-р Клентор? — поинтересовался Сантомассимо.

— Великолепно. Подходили друг другу лучше некуда. Мы оба окончили колледж в Сент-Луисе и открыли потом это агентство, нам было тогда по 28 лет. Сколько пережито вместе! Забастовки, судебные иски, угрозы и привалившее богатство — за двадцать-то пять лет чего только ни бывало! — Клентор вдруг взглянул на полицейских твердым взглядом. — Я хочу, чтобы вы оба знали — Билл Хасбрук был идеальным человеком.

— М-р Хасбрук участвовал в судебных исках? — осведомился лейтенант.

— Разумеется.

— Большие деньги?

— Судятся всегда из-за больших денег.

— Но ничего сверхординарного?

— Мы не отмываем деньги от продажи наркотиков, лейтенант Сантомассимо.

— Много крупных капиталов из самых странных источников плывут сейчас в кинобизнес. Так они возвращаются в Соединенные Штаты.

— Кино все-таки на 95 процентов честный бизнес, лейтенант. Мы в числе этих процентов. У нас, лейтенант, старомодная фирма. Занимаемся не только администрацией, но и распространением фильмов, пакеты видеофильмов, коммерческие фильмы. Наше имя — на вес золота.

— Не сомневаюсь. Но мне приходится учитывать все, м-р Клентор.

— Понятно. Извинения ни к чему.

Сантомассимо с Бронте обменялись взглядами. Встали.

— Мы не знаем, м-р Клентор, кто убил, не знаем, почему, — заключил Сантомассимо. — Но, если окажется, что жертва — действительно ваш партнер, возможно, нам потребуется навестить вас еще раз.

— Все что нужно, — тихо отозвался Клентор. — Хотите осмотреть его кабинет, скажите Шери, она отопрет вам дверь. Боже мой! Его дверь... Он никогда больше не пройдет в нее... — И Клентор заплакал.

— Нам пора, — мягко произнес Сантомассимо. — Очень жаль, что известить вас выпало на нашу долю.

4

В управлении палисейдского отделения полиции былолюдно. В большой квадратной комнате с табличкой «ДЕТЕКТИВЫ» Сантомассимо наткнулся на двух полисменов, затаскивающих упирающегося длинноволосого ворюгу в двойные двери. Капитан Уилтон Эмери мимоходом бросил документы на стол Сантомассимо. Бронте прошел к своему столу, рядом с водоохладителем, чтобы заполнить отчет о пляжном убийце. Но у него на стульях плакала пожилая пара, которую недавно обокрали. Шум в комнате стоял невообразимый. С потолка свисали глушители, но они только гулко разносили голоса, дробь пищащих машинок, звуки радио.

Джон Бишоп, служащий в полиции всего год, перехватил Сантомассимо у стены рядом с бюро. Высокий, темноволосый, с маленькими карими глазками. Полицейская форма была ему тесновата — выпирал животик.

— В районе Пали Хай изнасилование, лейтенант, — сообщил Бишоп. — Капитан Эмери бросил на расследование меня. Мне нужен партнер.

— Как насчет сержанта Грисхолма?

— У Грисхолма сломана рука в двух местах. Вчера вечером перешибли монтировкой на задворках ресторана Фрасино.

Сантомассимо глянул на полицейских техников, несущих зловещие пластиковые мешки с пляжа в подвальную лабораторию для исследования. Бронте занимался пожилой парой, листая перед ними толстенный альбом с фотографиями. Двое туристов спорили, кто забыл купить туристические чеки и ввез в Калифорнию наличные.

— Тогда — Франклин? — предложил Сантомассимо. — Почему бы не отправиться ему?

— Франклина послали на расследование взлома электронной охраны Первого национального банка.

— Да он же в электронике ни бум-бум, что называется.

— Но полиция все равно должна опросить людей, просмотреть записи. А потом уж обращаться в Федеральное Бюро.

Сантомассимо вздохнул, взглянул на доску с расписанием. Сегодня дежурили еще два детектива — Майк Рандольф и Генри Трэвис, но он знал: Рандольф нападении с применением грубой физической силы, оно случилось в три часа ночи позади Сейфвея, а Трэвис все еще болтается на стройплощадке позади конторы по торговле недвижимостью на Прибрежной автостраде, разыскивая останки сгнувшего торговца кокаином.

— Слушай, Джимми, — сказал Сантомассимо. — Встретимся минут через десять. Подгони пока патрульную машину.

— Хорошо, сэр.

...Когда полицейские садились в машину, из окна своего кабинета высунулся капитан Уилтон Эмери, шеф детективов палисейдского участка.

— Фрэд! — окликнул он. — Заполнишь бланки, а? Понятно, работенка не больно увлекательная, но их требует отдел отпуска на поруки.

— Как только вернусь из Пали Хай.

— Едешь на дело об изнасиловании?

— С Бишопом.

— А как же расследование на Побережье?

— Там, сэр, осталась только одна огромная воронка.

— Да. Я видел пластиковые мешки. Вы что там, весь пляж перелопатили? Ладно. Неважно. Смерть чистенькая. Правда, душком отдает специфическим. Хочу, чтоб занимались им вы с Бронте. — Эмери взглянул на часы. — Уже поздновато, конечно, но все-таки давай увидимся внизу, в лаборатории, как только у тебя будет что мне показать.

— Конечно, шеф. — Сантомассимо предчувствовал, что вечер ему предстоит долгий...

Щёлк... Лента закрутилась, записывая... Тихонько подрагивала стrelка. ...Голос сдержанный, полный горечи.

— Я уже рассказывал о провалившейся попытке в Нью-Йорке. К счастью, меня после драки с помощником администратора уволили с работы. У меня был кузен в Орlando, а мне требовалось местечко — пересидеть, собраться с духом. У него водились небольшие деньжата и было желание вложить их в фильм. Итак, я отправился туда, помогать ему снимать документальный фильм о диких птицах Эверглейдса.*

Поселились мы в мотеле на краю болот со всем снаряжением и конфликтующими натурами. Мой кузен, я, звукооператор и девушка, которая вертелась под ногами, создавая сексуальный фон.

*Начались пьянки. Люди, которые жили в хибарах Эверглейдса — полусеминолы**, что ли, какие-то, просили нас уехать. Раз*

* Национальный парк США.

** Племя американских индейцев.

в полночь появился шериф, и пришлось нам выкатываться. Мы поселились у другой лагуны, в другом отеле, там водились огромнейшие тараканы, а вечером заваливалась неотесанная деревенщина накачиваться пивом. Они скребли себя под мышками, облизывались, жмурясь на девчонку, наряженную в совсем открытое красное платье.

Позвольте мне сказать, что Манхэттен в сравнении с этим казался клубом аристократов. Во Флориде водятся насекомые, для которых даже еще названия не придумали. Огромные, заползают к вам в постель и сосут кровь. Тело у меня покрылось сыпью, кончилось все лихорадкой, такой жестокой, что я в бреду цитировал целые страницы из «Гражданина Кейна», а приходя в сознание, визжал от боли. Меня до сих пор иногда трясет. Наверное, это была малярия.

Я так потел, что приходилось влагу стирать с окуляра нашего «Эклера». Снимал я буквально сквозь туман, когда подходил к концу длинной панорамы. Вот сколько было испарений. Кровососы разные заползали мне в драные башмаки, и к вечеру от ног воняло, как из помойной ямы. А мой кузен — ничтожество это — приплясывал вокруг, в красной бандане с режиссерским видеокамерой — символом творческой мощи. Все его идеи оставались на уровне курсов для визуально неграмотных. Короче, взялся он начитывать исторички всякие о Детке Фламинго и Папе Фламинго.

Отсняли мы 20 тысяч метров ленты, и тут у моего кузена кончились деньги. Он уволил звукооператора, загнал магнитофон «Награ». По ночам он трахался с девчонкой, мне было наплевать, спать только мешало, и убегали прекрасные видения, которые являлись мне в Нью-Йорке. Я пытался записывать, когда они мелькали, но жара и зонючая влажность не давали сосредоточиться.

Я таскал этот чертов «Эклер» по грязи и крапиве, похудел на 25 фунтов и уже жалел, что вместо этого не завербовался в армию. Я ненавидел фламинго, Флориду. Ненавидел кузена. И почти ненавидел фильм.

Потом девушка уехала, с псориазом на руках и, возможно, беременная. Кузен стал совершенно невыносим. Воображал, будто в нем возродился сам Роберт Флаэрти, но все его идеи были незрелые, детские. Много, сами понимаете, званых, да мало избранных! Избранных угадать легко. У них всегда мученический вид.

Снимали мы и записывали четыре месяца. Можете такому поверить? Четыре месяца в местах, где и в непромокаемых мокасинах не пройти, елозя на брюхе ради того, чтобы отснять пятисекундный кадр о Маме Фламинго, высидивающей свои дурацкие яйца.

За последние два месяца он мне так и не заплатил. Под конец мы друг друга на дух не выносили. Однажды поздним августом, когда издевательски скрипели сверчки, а я лениво покуривал марихуану, часа в три ночи, мысленно проглядывая фильмы, которые мне так трудно запомнить в разгар дня, дверь вдруг распахнулась, и я увидел матовый блеск. Мне показалось — таракан, они так металлически отсверкивают в лунном свете, во всяком случае, во

Флориде, но оказалось — нет. Это был пистолет. Я, взвизгнув, нырнул под кровать. Прогредел выстрел. Потом второй — и завизжал мой кузен. Третий — и визжанье его оборвалось. Мельком я увидел дикую фигуру: темноволосый парень, со стекляшками заколок в волосах — он сорвался и удрал, а я подскочил к кузену. Я был уверен — он мертв, так хлестала у него из затылка кровь, так вздрагивало тело.

Но нет, кузен мой выжил. Однако ему напрочь отшибло память: умер мозг, сказали врачи. Я не знал, что делать дальше. Решил попробовать смонтировать пять миль отснятого метража ленты по-своему. Понимаете, на манер серий картинок. Чтобы было что показать киношникам в Лос-Анджелесе. Они убедятся, что у меня есть дар воображения и целостности построения кадров. Я продал «Эклер». Снял монтажную в Орlando и жил в ней, не выходя по 24 часа в сутки. Я почти ничего не ел, только пил черный кофе. Мне сводило желудок, что только у меня ни болело, а ногти на руках пожелтели от черного клея, которым я склеивал кадры. Зато я начал усматривать кое-что стоящее в отснятом материале. Я... я видел ритмы. Ритмы, которые могли вылиться в крупные ритмические композиции, визуальные сцены, обнажавшие жестокость природы.

И кое-что еще. Искусство. Да, дерьмовое это понятие, про которое никто толком ничего не знает. Искусство. Я привносил в ленту искусство. Добавлял куски, накладывал фрагменты джазовых мелодий, странные шумы, человеческие слова, всякое разное. Я делал личное эссе на тему борьбы за жизнь. Получалось красиво, яростно, иногда даже болезненно и, безусловно, оригинально.

Нервы у меня были на пределе, а вид — как у узника концлагеря. Я стал истеричным, вспыльчивым, распадался на части и физически, и психически. Но я сделал фильм! Смонтировал это дерьмо в документальную симфонию, к тому же по всем правилам построения драмы. Я купил билет до Лос-Анджелеса. Приехав туда, приобрел подержанный синхронизатор звука и изображения, клей, скребок для зачистки. Но Флорида снова нанесла мне поражение. Когда я открыл коробки, чтобы подогнать негатив к позитивной копии, негатив рассыпался порошком. Проплесневел. Какая-то зеленая труха. Она вязла у меня между пальцев, словно средство для чистки.

Я даже подумывал о самоубийстве. Стоило представить все грядущие годы, нравственные потемки... страх перед растратой впустую таланта! Потому что талант, понимаете ли, потихоньку убывает... Плесневев, как негатив, и не восстанавливается... У меня не было сил взглянуть в лицо будущему...

На извращенный лад я завидовал сумасшедшему, который без всякой причины стрелял в моего кузена. Мне стало казаться, что он-то и есть настоящий творец. Лучшие объяснить я не умею. Но я восхищался им.

И в некоторой степени он оказал влияние на мою личность. Я опять превратился в одержимого киномана. Смотрел и смотрел кино. Фильмы об убийствах, насилии. Но теперь с другой точки зрения: как они видоизменяют личность, реальность, как машину-

лируют людьми при восприятии реальной жизни. Искусство фильма, видите ли, это не органические стадии наращивания драматических эмоций, не та чушь собачья, какой нас учат в кино-колледжах. На публику действует нечто неподвластное определенной словами, амбивалентное, тревожащее искажение действительности. Кэри Грант и Эва Мария Сейнт цепляются за нос президента Линкольна в «Раиморе». Срываются... На гибель? Нет! На верхний этаж киностудии «XX ВЕК» — поцелуй, поцелуй, конец! Сами видите! С публикой забавляются. Ее меняют. Вы мне не верите? Считаете, режиссеры только и думают, как бы поразвлечь зрителей? Чушь! Если не умеешь распознать всю глубину жестокости и садизма в фильмах, нечего и рассуждать о кино.

Самое большое свое творение режиссер создает тут, в нашей реальности, в глубинах снов, в пробуждении тяги к насилию у миллионов ни о чем не подозревающих добропорядочных людей.

Это и есть для меня мерка гениальности, мощи и истины. В этом неповторимость гения.

Шелк...

— Пива хочу.

Шелк.

— Чтобы стать по-настоящему великим режиссером... ни к чему камера и пленка... Нужны люди... съемки на натуре... бутафория...

Но прежде всего — люди... Обыкновенные, честные... СНЯТО!

5

За два квартала от бульвара Голливуд, где поблизости лишь высоченные стены дорогих многоквартирных домов, стоял небольшой одноэтажный домишко — облезлый реликт прежних голливудских дней. Похожий на заброшенный мотель, но приглядишься — вполне обитаемый. Рядом растут герани, папоротники, а мусор скопился только на обочине, а не в переднем дворике, где сейчас стояла припаркованная машина. Поздний вечер. Жемчужный свет уличных фонарей пробивался через редкие веера пальм.

Под уличным фонарем парковался старенький желтоватый фургон, в таких когда-то, в 60-х, обитали бородатые мечтатели. На фургоне, уже не раз перекрашенном, аккуратно выписано красным: «ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА. СИМПАТИЧНЫЕ РЕБЯТА-СТУДЕНТЫ». А ниже приписан телефонный номер и имя «ЧАРЛЬЗ ПИРС, владелец».

Чарльза Пирса вывели из первого состава футбольной команды УКЛА*, но и во втором составе там играть почетно, и его самоуверенность не уменьшилась. Бизнес с перевозками шел гораздо успешнее, чем он надеялся. Чарльз не только зарабатывал себе на квартиру и развлечения, но даже нанял помощников, сначала

* Калифорнийский университет, Лос-Анджелес.

двоих, потом и троих и собирался покупать второй фургон. Но сегодня вечером помощники его остались дома. Звонивший особо оговорил: вещей для перевозки немного. И расстояние короткое.

Пирс, уперев руки в бока, вдыхал запах плесени, сырости, едва видя в полумраке комнаты нанимателя. Он ощущал, что клиент то ли подавлен, то ли вообще замкнутый человек. Или еще что-то. Может, его вынуждают переезжать. Висела атмосфера угнетенности, с какой Пирс в своем бизнесе уже сталкивался. Многих распродаваться и переезжать вынуждали, и Чарльз не оставался безразличным к их печали. Он старался держаться бодро, жизне-радостно, хотя потемки начинали давить на него.

— А у вас тут есть очень красивая мебель! — заметил Пирс, надеясь, что получилось весело. — Ну, то есть многое можно отремонтировать. Вон хоть тот диванчик, к примеру, и кресла. Все это, конечно, бросать не стоит. Но только за одну езду мне определенно не управиться. В фургон не поместится. Оказывается, вещей намного больше, чем вы по телефону сказали. — Взгляд Пирса упал на резной сундук. — А уж этот, — в истинном восхищении прибавил он, — настоящий красавец! Антикварная штука-вина!

Клиент промолчал. Пирс сунул нос в сундук. Пахло оттуда восхитительно: старой смолой, а может, пихтовым маслом, в общем, чем-то от древесных жучков, и запах почему-то навевал мысли о дальних морских путешествиях.

— Господи, пахнет-то как приятно...

Веревка захлестнула ему горло на полуслове. Пенька сдавила голосовые связки. На секунду Чарльзу увиделись гроздь голубых и красных звезд на крошечно-черном небе...

— Какого черта! — попытался выговорить он, но голосовые связки были уже порваны.

Чарльз пихался, лягался. Дрался он всегда хорошо, но почему-то сейчас никак не мог достать клиента, который пинал ему в бок... Чем? каблукот ботинка?.. и подтягивал... на веревке?

Пальцы Пирса не сумели даже подсунуться под веревку, ослабить давление на дыхательное горло.

— Господи... — кое-как прохрипел он.

Бог не отозвался. Легкие Пирса разрывались от пустоты. Он уже не различал, где тени, где мебель. Слышал лишь гром биения собственной крови, вдохнул смолистый запах сундука... и мозг его умер.

Несчастный захрипел, забулькала жидкость в покалеченном горле... Но ничего этого Чарльз уже не чувствовал. Пульс пропал.

Сантомассимо вышел из кабинета капитана Эмери и отправился домой. Полная луна пятнала спокойные воды океана. Безбрежным черным молоком разливался Тихий океан. Ни конца, ни края. Танцевали на волнах блестящие светящиеся яхты в заливе точно застыли. На горизонте горело марево городских огней.

Он въехал на охраняемую парковку своего дома. Вылез из «датуна» и поднялся на лифте к себе.

Квартира его состояла из спальни и смежных гостиных и кухни.

И была совсем непохожа на квартиру обычного копа. У кремово-белой стены стояла тахта Арт Деко*, мягко подсвечиваемая, над ней бликовала золоченая рама акварели Джона Марина. В углу резной шкафчик 30-х годов, с маленьким хрустальным окошечком, в нем хранились ром и виски.

Напротив тахты устроился шезлонг, у книжного шкафа красного дерева. Обманчиво-тяжелое кресло рядом, ножки его украшены резными шарами и завитушками, а по верху спинки — полочка декоративных деревянных овощей. Купленное отцом Сантомассимо в 1938 году за 350 долларов, оно теперь стоит не меньше 12 тысяч.

Стулья в квартире были из итальянского гарнитура, изготовленные в Неаполе и привезенные на Западное побережье семьей торговца овощами, один из которых впоследствии стал известным производителем пластинок. Высокие стулья с благородной осанкой, со скошенными перекладинами и бархатными, лишь чуть вытертыми сиденьями. В них точно проглядывало суровое достоинство семьи, которая, разбогатев, не забыла о своем крестьянском происхождении. Страховой оценщик оценил набор в 25 тысяч долларов.

Из маленького, но богатого монастыря под Монте-Кассино приехали четыре настенных бра. Медные, все в завитушках, ягодах, желудях. Церковная утварь. Оценщик назначил им цену в 3500 долларов за каждое.

Была у Сантомассимо и коллекция ламп итальянского производства, приобретенная его отцом в Лос-Анджелесе во времена депрессии. Очень высокие торшеры с легкими выемками на ножках. С тремя-четырьмя розетками для ламп под тонкой тканью абажура. Выключатели — золотые цепочки, подвешенные на консолях. Сантомассимо отказался продать торшеры кузену капитана Эмери, перекупщику мебели, предлагавшему по 14 тысяч за каждый.

Семье Сантомассимо принадлежала процветающая антикварная лавка, пока дядя Сантомассимо мошеннически не завладел ею. Осталась только мебель да инстинктивное чутье и вкус Сантомассимо на все хорошее. Он вырос философом среди жадности и преступности человеческой.

Сантомассимо потянулся к дистанционному выключателю телевизора. Образ улыбчивого комментатора сменился сценами пожара, наводнением в Пакистане, стычками в Испании. Гвоздь местных новостей — обнаружение большой партии героина в лос-анджелесском аэропорту. Сантомассимо переключил канал.

Композитор Гуно был ему хорошо известен. Знаменитый французский композитор XIX века, любимец его отца. Музыка Гуно и сейчас преобладала среди пластинок Сантомассимо. С экрана как раз лился «Похоронный марш марионеток» Шарля Гуно и шла заставка — толстяк с квадратными челюстями вышагивает в собственный профиль, данный черным абрисом.

* Стиль в искусстве XX века, возникший вслед за конструктивизмом, отличающийся плавными линиями.

Сантомассимо замер, сюжет, раскручиваемый со сдержанным маниакальным мастерством, летел мимо него.

В ушах звучала только дьявольская мелодия марша.

— Матерь Божья! — тихонько ахнул он.

6

Университет Южной Калифорнии за последнее время разросся. Университет был богатый, у него имелись связи с Мидистом, Голливудом, профессиональным футболом, военными. Давненько Сантомассимо не посещал здешний район. Тут выросли высотные отели для приезжих бизнесменов. Сам кампус — собрание розовато-кирпичных зданий — казалось, был окутан густой дымкой. Будто каменный цветок в ожидании пчелы.

Сантомассимо заплатил за парковку. Чувствовал он себя, словно насекомое на клейкой ленте. Посещение университета могло обернуться пустой тратой времени.

Он прошел мимо статуи Томми Трояна, только что обрызганной белой краской летучим отрядом УКЛА. Уборщики деловито счищали краску. Плакаты призывали отомстить «Бруннсам». Сантомассимо шагнул дальше, к факультету кино.

Когда-то кинофакультет располагался в желтых зданиях, образовавших миниатюрный двор с одним чахлым банановым деревцем посередине и единственной скамейкой для отдыха. Теперь факультет переехал в просторный комплекс — темно-серые здания, звуковая студия, новая лаборатория. Это была шестая по продуктивности киностудия в стране.

Вахтер в сером костюме оглядел Сантомассимо, когда тот вошел в центральный корпус.

- Чем могу помочь? — приветливо осведомился он.
- Мне нужно видеть профессора Квинна. Я звонил...
- Сейчас в группе занятия. Ваше имя, пожалуйста.
- Мне только поговорить несколько минут.
- Имя, пожалуйста...

Человек улыбнулся еще приветливее, но его карандаш навис над расписанием на доске.

— Фрэд Сантомассимо.

Вахтер рассмеялся.

— Мне и не выговорить-то такое, не то что правильно написать.

Сантомассимо извлек полицейское удостоверение, показал. Тот почти переписал с документа фамилию, прежде чем до него дошло — перед ним лейтенант полиции. Приветливая улыбка окаменела, он опустил карандаш.

— Третий этаж. Комната 384. Войдите через заднюю дверь, не забудьте — идет занятие.

Лифтом Сантомассимо поднялся на третий этаж.

В комнату 384 вела серая металлическая дверь. На двери маленькая карточка, вставленная в металлическую рамку: «Профессор Квинн». Пониже, тем же шрифтом, «Хичкок — 500». Сантомассимо осторожно приоткрыл дверь.

Прошел вверх по проходу между бархатными сиденьями до середины. В зале было темно. Присутствовало студентов двести. Царила атмосфера усталости, но одновременно и эмоционального возбуждения. Сантомассимо, пригнувшись, быстро скользнул на стул в задних рядах.

Профессор Квинн оказалась женщиной. Очень хорошенькой, в сером пиджачке с микрофоном-брелоком на лацкане. Говорила она легко, не задумываясь, иногда заглядывая в тезисы. Студенты быстро писали ручками с подсветкой. Точно светлячки в пещере мелькали.

На экране за профессором застыло крупное лицо водевильного типа, клоунское, неприятное, с безумными глазами, вымазанное темным гримом.

— Чтобы по-настоящему постичь воображение Хичкока, — говорила Квинн, слегка подавшись над кафедрой, — нужно проникнуть за сюжет. За характеристики персонажей и за механизм нагнетания напряжения, на что Хичкок, несомненно, был величайшим мастером в кино. Заметьте очень странную черту — его восхитительное, несравненное, озорное остроумие.

Сантомассимо приложил палец к губам, внимательно слушая.

— Это его умение играть с публикой, — продолжала она, — отличительная черта уникальности Хичкока. Проказливый, как эльф, шутник с неограниченной киношной техникой, он дразнил публику. Пугал ее. Завлекал и манипулировал. Публика смотрит фильмы Хичкока, затаив дыхание, с наслаждением, отключаясь от всего, но одновременно зрителям не по себе. Потому что остроумие Хичкока беспощадно врывается в подкорку человеческого сознания.

Сантомассимо наблюдал, как профессор идет к экрану. Она постучала по нему указкой для пущей убедительности. Теперь она говорила без бумажки, но голос ее лился по-прежнему плавно и гладко.

— Вспомните дальний план, снятый с движения в «Молодых и невинных», который вы изучали в лаборатории. Длинным сложным движением, без единой склейки кадров камера объезжает танцзал, выискивая убийцу. Есть только одна ниточка к его личности. Одна-единственная. Физическая примета — нервный тик глаза. Помните, как хитроумно Хичкок подал это? Камера объезжает, рассматривает танцующих. Наезд на оркестр. Все музыканты заgrimированы. Улавливаете изобретательность? Игру? Полное разоблачение. И одновременно все замаскировано. Камера словно плывет к верхней точке эстрады, неумолимо движется, заглядывая в глаза барабанщику. — Квинн указала на водевильное лицо во весь экран. — Огромный крупный план. Мощь крупного плана. Вдруг мы видим глаза... тик... подергивание!

А теперь покажу вам — у нас как раз осталось пять минут — один кадр из его американского шедевра «Головокружение». Вы еще будете анализировать этот фильм, кадр за кадром, в лаборатории, но я хочу продемонстрировать вам одно. Техническое мастерство, вкус к зрелищным деталям, которые стали неотъемлемой частью языка фильма.

Молодой парень в куртке на размер больше, чем требовалось, заправил ролик в проектор в стеклянной будке позади головы Сантомассимо.

ОБЩИЙ ПЛАН. ЧЕЛОВЕК НА КОЛОКОЛЬНЕ.

В сером костюме, смотрит вниз.

Головокружительная карусель скользящих вниз ступенек.

Человек хватается за перила, вид у него больной, он спотыкается.

Камера отъезжает, А ОБЪЕКТИВ ВЫДВИГАЕТСЯ ВПЕРЕД.

Ступени кажутся плоскими от перемены перспективы, кружатся, мельтешат, неувлимо деформируясь.

— Объектив, снимая, выдвигается вперед, — объясняла Квинн, — а камера одновременно отъезжает назад. Система контрастов. Сегодня этот прием известен, как ретроградная съемка. Но до Хичкока таким в истории кино не пользовался никто. Зрители видят только искаженное пространство, перекрученная перспектива отражает головокружение героя, но одновременно проникает в подсознание зрителей, будоражит его. У зрителей, глядящих на экран, холодеет внутри. — Она улыбнулась.

От эпизода хичкоковского фильма замерли в воздухе ручки, на минутку слушатели забыли, на каком они свете.

— Свет, пожалуйста! — попросила Квинн.

Вспыхнули лампочки.

— В лаборатории пять копий, — заключила она, — так что отговорки на экзамене не принимаются.

Аудитория нервно хохотнула. Между Квинн и студентами существовало полное взаимопонимание. Она сняла микрофон-брелок, и все кончилось. В толчее встающих студентов, собрания тетрадей, болтовне — кто-то даже тащил собачонку на поводке — Сантомассимо вскочил и бросился за ней.

— Мисс Квинн! Профессор Квинн!

Она едва расслышала его. Обернувшись, увидела, как он спешит к ней по коридору, протягивая удостоверение, похожее на полицейское.

— Извините, мисс Квинн. Лейтенант Сантомассимо из пэлисейдского участка. Можно поговорить с вами?

У нее были на редкость прозрачные зеленые глаза, смотревшие на него сейчас подозрительно.

— О чем?

Сантомассимо затолкали молодые киношники с треногами, набежавшие с лестницы. Он еле слышал ее. И ему совершенно не хотелось обсуждать убийство посреди студенческой толчеи.

— Можно угостить вас чашечкой кофе? — предложил он.

Она взглянула на часы.

— Нет. Но можете угостить ланчем.

Растерявшись, Сантомассимо неловко улыбнулся.

— А где? Есть поблизости кафетерий? Столовая? Что-нибудь такое?

— Китайский ресторанчик вас устроит?

— Китайский... почему бы и нет!

Китайский ресторанчик «Плавная Лодка» был невелик. Бамбу-

ковые занавески окружали водопадик на каменных длинных ступенях и каменный храм в пруду с золотыми рыбками. Цены низкие, но студентов все равно не видно. Сидели преподаватели и служащие из новых корпоративных контор по соседству.

Они устроились в кабинке, и Сантомассимо почувствовал еще большее замешательство. Глаза профессора Квинн просто не отрывались от него.

— Должен попросить вас, чтобы наш разговор не разглашался,— осторожно приступил он.— Не возражаете?

— Нет.

Официант-китаец в золотой куртке, улыбнувшись, поставил перед ними стаканы с ледяной водой. Сантомассимо выждал, пока тот отошел. Кэй Квинн по-прежнему наблюдала за ним.

— Вы, наверное, слышали об убийстве на Пэлсайдс бич,— сказал он.

— Билла Хасбрука? Да. Это был большой шок.

— Знали его?

— Знала о нем. Он был агентом некоторых наших студентов.

— Вот как? Такая богатая фирма как «Хасбрук и Клентор» занималась студентами?

— Теперь вы понимаете,— улыбулась она,— насколько престижен наш факультет, лейтенант Сантомассимо. К примеру, сценарная программа. Она была организована профессором Блекером, и за последние пятнадцать лет наши выпускники заработали около двух миллиардов долларов в кино. Но Блекера у нас больше нет, а лично я занимаюсь теорией кино. Некоторые из лучших наших студентов после окончания сотрудничали с «Хасбруком и Клентором».

— Как вы считаете, у кого-то были причины убить Хасбрука?

— Нет. На редкость порядочный человек.

— Вам известно, каким способом был убит Хасбрук? — осведомился лейтенант.

— Как будто летающей бомбой?

— В игрушечном самолете. Ничего вам не напоминает?

— Да нет...

Сантомассимо набрал побольше воздуха:

— Как вам известно, компания его занималась и рекламой.

— Все равно, лейтенант, мне это ровным счетом ничего не говорит. Не хватает времени, не успеваю читать газеты. Я веду два семинара вдобавок к лекционному курсу, пишу статью. Быть преподавателем очень трудно, лейтенант. Если не закончу книгу к следующему сентябрю, не добьюсь контракта с издателем...

— Понятно.

— Да. Вопрос стоит так. Не будет книги, не будет работы. И книга должна быть хорошей. Потрясающе просто.

— О чем же она?

— Изображение жестокости в кино.

— Хичкок?

— Да, и он тоже. В книге он заметная фигура. Само собой. Его юмор тоже был формой жестокости.

— Такое сочетание — жестокость и... Да, думаю, вы правы. Хичкоку был присущ черный юмор. Убийства он изображал неле-

пыми, уничижительными, даже забавными. Это и привело меня к вам. Мне нужна ваша помощь, профессор Квинн.

Официант принес им отбивные «му шу», ловко разложил блинчики на блюде, расставил керамические горшочки со сливовым соусом и подал отбивные на белых тарелках. Цыпленок под чесноком прибыл в глиняных пиалах в цветочек. Профессор Квинн очень умело орудовала палочками. Сантомассимо попробовал было тоже, но все-таки взял со скатерти вилку и продолжил:

— Жертва бомбы в самолете работала в рекламе. Кэри Грант в хичкоковском «На север от северо-запада» тоже служил в рекламе.

— Эта связь, лейтенант, представляется мне слишком уж поверженной...

— Но ведь, несомненно, пляжное убийство вписывается в модель! — настаивал Сантомассимо. — Бегун на пляже, на широкой полосе песка, его взрывает игрушечный самолет, набитый шестью унциями пластика...

Квинн молчала, напряженно раздумывая, едва дотрагивалась до цыпленка, поглощенная гипотезой Сантомассимо.

— Дорогая модель самолета, — продолжал тот, — на бензиновом двигателе с дистанционным управлением, его заставили спикировать на Хасбрука.

Квинн вскинула глаза. Знакомство Сантомассимо с убийствами отличалось от ее знакомства с изображениями убийств в фильмах. Однако он выдвигает предположение, что для кого-то особой разницы не существует.

— Возможно, — уступила она. — Но — невероятно. За Кэри Грантом гнался по пустынной степи опылитель хлебов. Вы вспомнили сами, Грант занимался рекламой. Но его же не убили. В фильме самолет, ударившись о грузовик с горючим, сторел. А Грант уцелел.

— Я так считаю — кому-то захотелось подправить первоначальную версию. Сделать римейк фильма, разыграв его заново...

— Не знаю, лейтенант. Просто не знаю. Такое Хичкоку несомненно доставило бы удовольствие.

— Приношение мастеру? В виде убийства?

— Знаете, — мягко заметила Квинн, — для многих Хичкок вроде Бога. Вы себе не представляете, лейтенант, каков киношный народ. Не только те, кто непосредственно делает кино, но даже просто изучающие фильмы. Я-то их прекрасно знаю. Давно занимаюсь кино. В докторской диссертации проводила аналитическое сравнение британской и американской версий «Человека, который слишком много знал». Для вас, конечно, представляется слишком уж специфическим. Но я встречала тысячи людей, лейтенант, тысячи — они просто...

— Загипнотизированы?

— Давайте скажем так — фаны Хичкока все принимают всерьез.

— Да, Хичкок, конечно, очень знаменит.

— Его лицо известно всему миру. Фильмы его все еще действуют на людей. Еще пугают, манипулируют душой зрителя. Прошло немало лет со дня его смерти, но он и теперь — по дан-

ным опроса — самый изучаемый режиссер в истории кино.

— А встречать вам его не доводилось? Пока диссертацией занимались?

— Нет. Я все хотела сначала закончить ее... а потом он умер. Может, и к лучшему. Я бы ужасно боялась. Точно идти на аудиенцию к папе римскому. Этот убийца, — продолжала она, — если ваши предположения верны... это возводит Хичкока в некое четвертое измерение. Его стараются превзойти... расцветить...

— Только в реальной жизни.

— Фантастика какая-то!

— Потому-то мне и требуется ваша помощь, профессор.

— Помощь? — растерялась она. — Но как я могу помочь?

— Вычислите, каков будет следующий удар убийцы.

Профессор Квинн взглянула на него, точно бы проверяя, серьезно ли он. Хохотнула было, но тут же осеклась, увидев, что полицейский абсолютно серьезен.

— Нет, вы все-таки шутите, лейтенант! Алфред Хичкок снял пятьдесят три художественных фильма. Двадцать получасовых телевизионных. И все, кроме «Супругов Смит», об убийствах и увечьях.

— Понятно, но...

— Речь идет по меньшей мере о семидесяти пяти актах насилия. Разве можно предугадать время, место и метод следующего удара... позаимствованного из какого-то шедевра Хичкока?

— Ну, может быть, дадите хотя бы перечень преступлений из его фильмов, где съемки происходили... как там у вас называется... на натуре? И их способы.

Квинн взглянула на Сантомассимо с наигранной суровостью:

— Это что, плата за ланч?

Фрэд улыбнулся, но промолчал.

Лицо Квинн капельку смягчилось:

— Скажите, лейтенант, а что заставило вас обратиться сразу ко мне?

— Не сразу. Вы в моем списке возникли пятой. Начал я с Американского кинематографического института, но их специалист по Хичкоку в отпуске. Затем сунулся в «Парамаунт», потом в «Универсал»... но — не повезло нигде... В архивах «Парамаунта» хичкоковских фильмов нет, зато в «Универсале» настоящий музей его лент... Однако чтобы проникнуть в эту гробницу, требуется побольше, чем полицейский значок... Меня попросили взять разрешение у человека на самом верху, а его календарь встреч забит на три недели вперед. Одна симпатичная девушка там и подсказала мне: наведайтесь-ка в университет Калифорнии, а те, в свою очередь, назвали университет Южной Калифорнии и профессора, который ведет семинар о нем. И вот мы тут с вами, на ланче.

— Информацию, требуемую вам, легко найти в книгах, — с сомнением сказала Квинн. — Это вам не приходило в голову?

— У меня нет времени копаться в книгах.

— Ладно, — вздохнула Квинн, — думаю, сумею набросать коротенько схемы сценариев. У меня в компьютере есть полное собрание. Завтра устроит?

— Э... а если прямо сейчас?

Профессор окаменела от такой настойчивости, взглянула на часы.

— Ладно уж. У меня еще полчаса до семинара. Но тогда нам надо поторапливаться.

Они вышли из ресторана, лавируя между машинами, и вернулись в кампус. Сантомассимо шел следом за Квинн, мимо спящих студентов с «Арифлексисами» и «Эклерами», в ее забитый кабинет.

Она достала три справочника-индекса с полки, поставила их на стол, усевшись в кресло. И принялась быстро печатать на маленьком белом компьютере. Сантомассимо наблюдал, зачарованный ее скоростью. Некоторые данные она переписала, другие помнила сама. Ровно бежали строчки на темно-зеленом экране. В четыре колонки «Фильм. Метод убийства. Место натурной съемки. Персонаж». Принтер продолжал выдавать листы. Аккуратно распечатанные колонки убийств. Квинн бережно оторвала бумаги по кромке и протянула ему.

— Надеюсь, что поможет!

— Спасибо. Честно, профессор, искренне благодарен за вашу помощь.

— Меня зовут Кэй.

Она протянула ему карточку с именем и титулом — «КЭЙ КВИНН, Доктор филологии, помощник профессора, Факультет Кино, университет Южной Калифорнии». Ниже стоял служебный номер телефона. Сантомассимо бережно спрятал карточку.

— Спасибо, Кэй. Мои учителя никогда не бывали так полезны. И так красивы.

Она рассмеялась.

— Всегда помогу, чем могу, лейтенант Сантомассимо! Звоните!

Они обменялись рукопожатием. Рука у нее была теплая. Он кивнул на прощание, вдруг смутившись и унося в памяти ее зеленые глаза.

Но в голове Сантомассимо по-прежнему гремел марш Гуно. Он заглянул в кинолабораторию. Очень просторное помещение с мягким освещением, полупрозрачными панелями в потолке и длинными столами красного дерева. За столами сидело с десяток студентов, уставившись на видеозэкран, нажимая кнопки, делая заметки, вглядываясь в изображение, гоня киноленту взад-вперед.

У стойки стоял высокий долговязый парень, а позади висели сотни и сотни копий фильмов, аккуратно уложенных на полку.

Помощники учителей в пиджаках расхаживали между столами, помогая студентам. Сантомассимо узнал толстоватого парня, который показывал фильм на лекции Квинн.

Одна из младших студенток, девушка с хвостиком светлых волос, сражалась со сной из «Психо».

КРУПНЫЙ ПЛАН. НОЖ ВХОДИТ ПО ДИАГОНАЛИ В ДУШЕВОЙ ЗАНАВЕС.

КРУПНЫЙ ПЛАН. ГЛАЗА ЖЕРТВЫ ПОЛНЫ УЖАСА.

КРУПНЫЙ ПЛАН. НОЖ У ОБНАЖЕННОГО ЖИВОТА.

КРУПНЫЙ ПЛАН. ВОДА ИЗ ДУША.

КРУПНЫЙ ПЛАН. ГЛАЗА ЖЕРТВЫ, ПОЛНЫЕ УЖАСА.

КРУПНЫЙ ПЛАН. СТОК. ВОДА ТЕМНЕЕТ, СМЕШИВАЯСЬ С КРОВЬЮ.

КРУПНЫЙ ПЛАН. ГЛАЗА ЖЕРТВЫ — ОСТЕКЛЕНЕВШИЕ, МЕРТВЫЕ ПОД ДУШЕМ.

Сцена огромной мощи. Сантомассимо был изумлен количеством кадров: сколько же понадобилось собирать осколочков, фрагментов насилия, чтобы передать дикий ужас последних мгновений жертвы. Блондинка смотрела на экран, не отрываясь, будто завороченная. Да и все студенты сидели зачарованные.

7

В кабинете Эмери прибрались. Исчез термос, стол очистили от всех бумаг, блокнотов, пепельниц, сняли даже телефон. Отодвинуто в сторонку старое кожаное кресло, оно поддерживало листы, которые раскинул на столе Сантомассимо — схема профессора Квинн: места натуральных съемок, персонажи, убийства. Схему увеличили на большом глянцевом листе, пестрели пометки фломастером.

Детектив Хабер придерживал лист за один конец, Бронте за другой. Капитан Эмери беспокойно ерзал в кресле, поглядывая то на Сантомассимо, то на схему. Яркую, чуть ли не светящуюся, странно притягивающую под ярким светом настольной лампы.

— Тут вкратце все сюжеты, — объяснял Сантомассимо, указывая на схему. — Во всяком случае, там, где убийства. От самых первых фильмов, снятых в Англии, до «Головокружения», «Психо», «На север от северо-запада», «Птицы»...

— Мы видим, — перебил капитан Эмери.

— Нет, послушайте. Вот, к примеру, «Наберите «у» — получите «убийство». Место преступления — лондонские меблешки. Орудие убийства — пара ножниц. Занятие жертвы: торговец автомобилями. Профессор Квинн из университета Южной Калифорнии помогла составить схему: указаны места действия, жертвы и модель убийства в каждом из фильмов Хичкока, а всего их — пятьдесят три.

— А я гадал, куда ты запропастился на все утро. Произошло еще одно изнасилование, знаешь? В Каньоне.

Сантомассимо, отступив от стола, указал на схему.

— Главная проблема — это, конечно, как обеспечить слежку. Людей не хватает. И у нас нет даже намека, как и где будет нанесен удар.

Бронте подавился кашлем. Хабер стер ухмылку. Капитан Эмери вздохнул, повернулся к Бронте с Хабером и попросил необычайно ласково:

— Пожалуйста, выйдите на минутку.

Те, пораженные, взглянули на Сантомассимо, на капитана, улыбающегося загадочной улыбкой, и вышли. Схема тут же свернулась рулоном. Сантомассимо аккуратно придавил один край

скоросшивателем, другой — катушкой с лентой. Когда захлопнулась дверь, он поглядел на капитана.

— Да, Фрэд, меня слеза прошибает, — мягко проговорил капитан, — прямо хочется плакать и рыдать.

— Меня, Билл, — лицо Сантомассимо окаменело, — очень задевает это убийство.

— Об этом и речь. Одна вероятность на миллион, что ты прав. — Эмери потер глаза. — Моя проблема — как преподнести это дерьмо комиссару? Знаешь, Фрэд, как он поступит? Я тебе скажу. Возьмет мой полицейский значок, пистолет и полицейское удостоверение и засунет мне в зад, а потом с почестями проводит на пенсию.

Сантомассимо пожал плечами.

— Да черт с ним, с комиссаром! Ты знаешь — я прав!

— Возможно, прав, Фрэд.

— Улики говорят сами за себя.

— В самом деле? Давай рассмотрим их. Псих убивает безумным методом. Ты хватаешься за удобную упаковку и втискаешь туда убийство. Беда только в том — края вылезают.

— Именно, что нет!

— Ну как же, Фрэд! Рассуди сам. Бегун не должен был умереть. Так ведь случилось в фильме? Парень там спасается от самолета, верно?

На лице Эмери появилось раздражение и явное желание выбросить концепцию Сантомассимо из кабинета и из головы. Но она сопротивлялась. Капитан повернулся в кресле и уставился на схему. Нос его очутился в нескольких дюймах от «Орудия убийства — ножницы».

— Ладно. Давай взглянем на «Наберите «у» — получите «убийство». Жертва, как написано тут, торговец автомобилями. Тебе известно, сколько торговцев автомобилями у нас в Лос-Анджелесе?

— Известно. Слушай, я ж не говорил, что все стало сразу и просто. Я утверждаю одно — я прав.

— Не так уж. Я не могу... и не буду рисковать своей задницей ради такого, Фрэд. Оттащи-ка эту штуковину обратно профессору своему и посоветуй — пусть опубликует. Хоть польза какая-то будет. Но от тебя требуется что-то посущественнее схем и теорий.

Приняв решение, капитан облегченно улыбнулся. Затрезвонил телефон. Капитан поднял палец: знак Сантомассимо, чтоб подождать, пока он не закончит с телефонным разговором.

— Эй... Каллахан! — жизнерадостно заорал Эмери в трубку. — Как ты там, мой мальчик? Как дела в нашем уголовном граде? — Капитан хохотнул. Потом, взяв карандаш, стал что-то записывать в блокноте, который поднял с пола.

Сантомассимо увидел, как сереет его лицо, теряя на глазах румянец.

— О'кей, — пробормотал Эмери, губы его едва двигались, глаза потрясенные. — О'кей, Том. Подъедем.

Он медленно опустил трубку. Перевел взгляд на Сантомассимо, вдруг постарев на несколько лет.

— Звонил капитан Каллахан из ньютонского участка, Фрэд. У

них произошло убийство — очень мерзкое. Отдел по убийствам и он сам думают — может, по нашей части.

Капитан все откашливался, барабанил пальцами по столу. Рас-терьянный, дальше некуда. Затем, точно бы очнувшись от дурного сна, резко поднялся, и они с Сантомассимо, выйдя из кабинета, бросились к стоянке машин.

На мебельном складе «Лайонс» на Вестерн-авеню ярко горели лампы. Люди думали — снимается фильм, пока не замечали патрульных машин у бровки. Красная пластиковая лента огораживала тротуар. Лица в мигалках патрульных машин становились попеременно то белыми, то багрово-красными. Внутри склада полицейские техники опыляли белым порошком пестрое собрание старой и отремонтированной мебели. Другие обыскивали лестницу, а третьи зашли в кабинет, ища признаки взлома и ограбления. Но — ничего.

Полисмены рыскали среди жестянок в проулке, опрашивали жильцов домов позади «Лайонса».

Ал Гилберт медленно вошел на мебельный склад и приблизился к группе полицейских, взглянул на разукрашенный, орехового дерева, сундук.

До чего красивая резьба! Какое изящество! Ремесло это умерло приблизительно в те годы, когда родился он. Внутри сундука лежал коврик с сине-зеленой вышивкой, пара засушенных цветков и беленький игрушечный медвежонок — для придания сундуку домашнего вида.

А еще — хорошо одетый мертвый парень, втиснутый между боковыми стенками.

Гилберт осмотрел его шею. Тронул грудь. На ощупь кожа липкая, как несвежий салат, его всегда от такого тошнило. Мускулатура напряженная, поза скрюченного трупа.

Гилберт обернулся: в сундук из-за его плеча заглядывал капитан Эмери. И Фрэд Сантомассимо. Они коротко обменялись приветствиями. Гилберт опять оглядел труп. Молодой парень, лет двадцати двух, лицо удивленное и как бы грустно разочарованное наступлением смерти. Через мебельный зал к ним шагал взъерошенный, возбужденный Бронте, как всегда, с блокнотом наготове.

Гилберт поднялся, вытирая пальцы о чуть влажные бумажные салфетки, которые носил с собой в пластиковых конвертиках.

— Добрый вечер, капитан, — поздоровался он.

— Последний раз, когда мы виделись, на тебе был загар, — заметил капитан Эмери.

— Угм-м. А этот бедняга бледен, как невеста вампира.

— Что явилось причиной смерти? — осведомился Сантомассимо. — Удушение?

— Правильно. Гляди. — Наклонившись, Гилберт раздвинул воротничок рубашки на шее мертвого.

Пораженный Сантомассимо увидел ржаво-красное ожерелье сплошных кровоподтеков, а вокруг — багрово-синие ссадины.

— Нельзя быть на сто процентов уверенным, пока не положу его на стол, — добавил Гилберт. — Скорее всего задушили руками.

А веревка так, для отвода глаз. Надо взглянуть под ногти. Может, частички чужой кожи, еще что-то... Возможно, была борьба...

Капитан Эмери прикрыл рот и нос белым платком. Гилберт язвительно усмехнулся.

— Как вы чувствуете, капитан, смерть не такая уж свеженькая. Дней пять, вероятно.

— Хозяин тут? — резко спросил Сантомассимо. — Я хочу поговорить с владельцем склада.

В застекленном кабинете патрульный передал приказ, и детектив прервал допрос нервного человека с кустистыми, будто обрубленными, усами.

Владелец склада пошел по проходу между шкафов, столов, подставок для шляп, диванов, китайского шкафчика и двух биде с книгой счетов в руках, цепляясь за нее, будто за единственную твердыню, на которую можно опереться.

— Замки вам последнее время не взламывали? — спросил Сантомассимо.

Уильям Мабли крепче вцепился в книгу. На него были сейчас устремлены взгляды всех полицейских в форме и в штатском. Репутация «Лайонса» загублена. От слабости его покачнуло. Его еще и фотографируют? Снимки появятся в газете?

— Нет, — через силу выговорил он. — «Лайонс» защищена электронной и сенсорной системами тревоги, подсоединенными непосредственно к частному охранному агентству. Вдобавок у нас вертикальные железные решетки на всех окнах, тоже подсоединенные к агентству.

— Давно у вас этот сундук?

Мабли проконсультировался с книгой. Руки у него тряслись так, что он едва не разорвал страницу.

— Викторианский спальный сундук, — прочитал он. — Инвентарный номер 3245. Цена — 2.500 долларов. Застрахован на эту сумму Тихоокеанской страховой компанией. Поступил на склад из дома в Голливуде — распродажа наследства, в основном все барахло, доставлен к нам... — он перевернул страницу, — 2 сентября. То есть два дня назад, сержант.

— Лейтенант.

— Адрес в Голливуде? — спросил Бронте, заходя за спину Мабли.

Тот заглянул в книгу.

— 2338, Селма-авеню.

Бронте, записав адрес, сунул блокнот во внутренний карман куртки.

— Я проверю, Фрэд, — бросил он Сантомассимо и ушел.

Сантомассимо подошел к зеркальному окну витрины. Садилось солнце. Зловещий оранжеватый свет заливал улицы. Соседние дома превратились в терракотовые. На балконы высypали люди, глядели вниз. С бульвара вылетела полицейская машина, завывала сирена, полиция оттеснила с тротуара сопротивляющуюся толпу.

— Кто там еще? — рявкнул Эмери.

— Это я попросил, капитан, — ответил Сантомассимо.

Патрульная машина замерла у входа в «Лайонс». Полисмен

распахнул пассажирскую дверцу, и из машины вышла Кэй Квинн. В свитерке, в зеленой юбке. Не такой строгий наряд, как в лекционной аудитории. Ее явно смущала толпа, полиция, яркие огни.

— Спасибо, что пришли,— поздоровался с ней Сантомассимо.— Я принял на себя большой риск, высказав теорию о Хичкоке. Но теперь капитан на грани того, чтобы поверить.

— Постараюсь говорить как можно авторитетнее,— пообещала Кэй и улыбнулась.

— Прекрасно.— Сантомассимо умолк, в глазах у него проглянула озабоченность.— Зрелище, Кэй, довольно-таки страшное. И тошнотворное. Если будет плохо, я попрошу, и вас отвезут домой.

— Не глупите! Страшное — моя профессия!

Он повел ее в здание. Очень знакомый сине-белый свет ударил по нему сбоку. Опять Стив Сафран. Рядом с ним топтался оператор.

— Новое убийство, новое полицейское отделение! — закричал Сафран, микрофон его нацелился на Сантомассимо.— Но почему дело расследуете вы?

— Нас попросили приехать взглянуть. Капитан Каллахан.

— Бросьте! — напирал Сафран.— Что происходит? Серийные убийства?

Лейтенант, взяв Кэй под руку, повел ее к двери.

— Я не вправе разглашать подробности.

Они вошли. Сафран метнулся следом, но дорогу ему преградил полицейский.

— Кто эта дама? — прокричал вслед Сафран.— Что тут делает?

Не обращая больше на репортера внимания, Сантомассимо подвел Кэй к группке полисменов, стоящих у сундука. Теперь на складе стало сумеречно: остались гореть только тусклые лампочки под высоким потолком. Владелец окинул Кэй подозрительным взглядом.

— А это кто? Она ведь не из полиции...

— Пожалуйста, в сторонку, м-р Мабли,— попросил Сантомассимо.

Капитан Эмери смотрел на Кэй во все глаза, девушка показалась ему весьма привлекательной. Но смотрел он и оттого, что считал присутствие ее тут ненужным и не понимал, с какой стати Фрэд притащил ее сюда.

— Это профессор Кэй Квинн,— представил Сантомассимо, глядя прямо в глаза капитану.— Я хотел, чтобы она увидела жертву. Хочу, чтобы вы послушали, что скажет она.

— Нельзя было подождать? Непременно надо вызывать ее сюда?

— Она эксперт по Хичкоку.

Капитан взглянул на Сантомассимо и понял — лучше не спорить.

— О'кей. Прекрасно. Давай, Фрэд. Покажи ей сундук и содержимое.

Капитан махнул, и Ал Гилберт с остальными отодвинулись. Вдруг оробев, Кэй замешкалась на кромке огромного ковра, на

котором была расставлена мебель, включая и разукрашенный сундук. Сантомассимо снова взял ее под руку.

— Сумеете взглянуть на труп? — мягко спросил он.

— Взгляну, конечно... — Но она вся сжалась, когда он потянул ее на ковер.

Сглотнув, Кэй зашагала между шкафов, фарфоровых ваз и бидэ. Наконец Сантомассимо остановился, глядя на сундук. Полисмены молча смотрели больше на нее, чем на убитого. Кэй плотно закрыла глаза. Медленно открыла.

— О Боже!.. — выдохнула она.

Накатила волна тошноты. Ее качнуло. Окоченелость смерти искривила губы трупа в чуть ли не похотливой ухмылке, одно веко было приподнято, и половина зрачка уставилась прямо на Кэй.

Она крепче вцепилась в руку Сантомассимо и глухо произнесла:

— «Веревка»!

Не поняв, капитан Эмери наклонился, чтобы расслышать.

— Веревка? — переспросил он. — Ну конечно, это веревка. Но мы пока не знаем точно, она ли причина смерти...

— Нет! — перебила Квинн. — Фильм. Называется «Веревка»! Фильм величайшего мастера саспенса... О, Господи!.. Джон Дал... и Фарли Гренджер... — лепетала она, сражаясь с подступающей чернотой — ...задушили студента-приятеля... веревкой... а труп затолкали... в сундук... Джим... Боже! ...Стюарт...

Чернота победила. Квинн почувствовала крепкую руку Сантомассимо, обнимающую ее, и рухнула в пустоту...

Очнулась Кэй в объятиях Сантомассимо. Они стояли на улице. Фрэд повел ее к бару «У Зиппи» — маленький неприглядный зальчик, совсем мало клиентов. На них обернулись несколько угрюмых женщин с табуретов у стойки, наблюдая, как он ведет Кэй к кабинке.

— Ну вот, — тихонько прошептал Сантомассимо, подкладывая ей куртку вместо подушки. — Положите голову на стол.

— Мне так неловко...

— Ш-ши! Простите, что подверг вас такому испытанию.

— Вы меня предупреждали.

— Да, но... Понимаете, я думал — это важно, чтобы вы точно узнали фильм. Не для меня, для капитана Эмери. Убедить нужно было его. Вы узнали. И это сработало. Теперь он на нашей стороне.

— Великолепно! — бледно улынулась Кэй. — По-моему, лейтенант, нужно выпить.

Сантомассимо кивнул и встал, чтобы принести чего-нибудь покрепче.

Вернулся он с лучшим бренди «Зиппи».

— Вот, глотните.

Кэй кивнула, позволила поднести рюмку к ее губам. Бренди обожгло, она поперхнулась, попыталась сесть прямо.

— Со мной уже все в порядке, спасибо... А кто... жертва? Узнали?

— Да. В кармане брюк лежал бумажник. Звали его Чарльз Пирс. Студент Калифорнийского университета. Возможно, спортсмен. Не повезло пареньку. Случайно подошел на роль.

— Этот убийца — безумец!

— И то верно. Свихнутый.

— Нет, я хочу сказать... он сумасшедший по-настоящему.

— Верно, настоящий сумасшедший.

— Его надо остановить!

Сантомассимо наклонился, чтобы рассказать о капитане, когда свет загорела упавшая тень: за столик, как раз напротив их кабинки, усаживался Стив Сафран.

Сафран оглядел их обоих с улыбочкой на пухлых губах. На плече у него еще болтался шнур от микрофона, но вездесущий оператор исчез.

— Не возражаете, если присоединюсь к вам? — спросил Сафран, подтаскивая стул к их кабинке.

— Возражаем! — ответил Сантомассимо.

Сафран как-будто не услышал. Он не отрывал взгляда от Кэй. Потом щелкнул пальцами, вспомнив.

— Да это же профессор Квинн! Привет! Помните меня?

— Нет.

— Ну как же! Два года назад. Приглашал вас в свою передачу «Женщины в кино»! Вспомнили? Сам придумал такую серию. Вы, по моему, тогда рассказывали про Алфреда Хичкока.

— Возможно.

— Как вы называли свой рассказ? «Императив Хичкока»?

— Да, сейчас вспомнила.

— Сотрудничаете в расследовании с полицией?

— Она со мной, Сафран, — вежливо, но твердо вмешался Сантомассимо. — Моя приятельница.

Сафран расхохотался, упав на край стола и пристально следя за обоими.

— Ох, ну конечно! Романтическое свидание над трупом! В интересных вы местах развлекаете своих дам, лейтенант!

— Отвали, Сафран!

— Да ты что, Фрэд! Объясни лучше, почему полиция так туго натянула одеяло на это расследование? Слишком взрывчатое?

— Знаешь, что тебе надо сделать, Сафран?

— Нет. Что?

— Повидайся с комиссаром. Скажи, я прислал. Все официальные заявления исходят от него.

— В данный момент комиссару сказать нечего. Только это от него и слышишь. От фактов, лейтенант, не убежишь. Публика — любопытная, многочисленная — желает знать. Имеет, между прочим, право. И я непременно сообщу ей все, с твоей помощью или без нее. Ясно? Свяжу вот только пару ниточек.

Сантомассимо так и подмывало запихнуть пивную кружку в глотку Сафрану. Но он сдержался. Встал, положил руку на плечо Кэй.

— Пойдем!

Та, чуть пошатнувшись, поднялась. Они выбрались из кабинки

и, протиснувшись мимо Сафрана, направились к выходу, миновав двух пьяниц, споривших о бейсбольном матче. Сафран остался сидеть, сгорбившись над столом, провожая их глазами. Легкая усмешка играла на круглом лице. Он потянулся к вазе с закусками «Зипси», толстые пальцы машинально пошарили по керамическому дну и... наткнулись на попкорн.

Намасленный, желтый, подсоленный.

Сантомассимо повел Кэй к полицейской машине. Зеваки еще глазели через полицейское ограждение на мебельный склад. Капитан Эмери находился внутри, споря с другим полицейским капитаном.

Когда Сантомассимо открыл для Кэй дверцу, подскочил Бронте, он обливался потом.

— В Голливудском доме был взлом! — выпалил он. — Убийца взломал замок задней двери. Я послал команду искать отпечатки.

— Много это поможет молодому Пирсу!

Бронте заглянул в свой вечный блокнот, смахнул влажные пряди волос со лба.

— Фрэд, мы выяснили, что у Пирса был маленький бизнес по погрузке и перевозке вещей. «Погрузка и перевозка. Симпатичные ребята-студенты». Ему, как выяснилось, позвонили четыре дня назад, сделали заказ.

— Значит, убийца заманил его сюда... Потом убил и запихнул в сундук.

— Именно, сэр.

— Потому что видел такое в фильме...

— Похоже что так, лейтенант.

— Значит, мы сами плодим таких маньяков, а, Лу? — сердито спросил Сантомассимо. — В других странах тоже так?

Бронте не ответил. Да и кто мог бы? Им ничего не было известно про убийцу, может, сейчас он замешался в толпу, наслаждаясь спектаклем. Сантомассимо повернулся, уходя, но заметил, что Бронте остался стоять в нерешительности.

— Что такое, Лу? Есть что-то еще для меня?

— Понимаешь... странность одна...

— Что же?

— Да вот! — Бронте вынул из кармана куртки пластиковый конверт, обращаясь с ним бережно, точно внутри хранилась редкостная бриллиантовая пыль. Извлек зернышко попкорна и протянул Сантомассимо. — Нашел сам. На дне сундука. После того, как беднягу Пирса распрямили и увезли.

Сантомассимо осторожно принял зерно, осмотрел, поднял на свет. Попкорн как попкорн...

— И что?

— У нас в управлении лежит еще одно, — напомнил Бронте. — Среди хлама, который сгребли с набережной.

Сантомассимо протянул попкорн обратно. Бронте ловко сунул его в пластиковый конверт.

— Пусть профессор Квинн посмотрит на мусор, собранный на пляже, — сказал Сантомассимо.

— Босс ты.

— Подожди нас там, ладно, Лу?

Бронте кивнул и пошел через дорогу к своей машине.

Сантомассимо поехал с Кэй к бульвару Санта-Моники, оттуда прямо на Побережье. Спустились глубокие сумерки, на небе цвета индиго выступило несколько звездочек, видных над ярко освещенной эспланадой Санта-Моники. Перед высокими отелями трепетали и шелестели пальмы.

— Ну как? Получше тебе? — ласково спросил Фрэд.

— Гораздо лучше, спасибо.

Они ехали по автостраде Санта-Моники. Все было как во сне. Полицейская машина катилась гладко, Сантомассимо был водитель-ас. Он включил магнитофон, полилась сладкая, плавная мелодия Смоуки Робинсона. Кэй откинулась на сиденье, прикрыла глаза и улыбнулась.

— А я и не знала, что в полицейских машинах бывают магнитофоны, лейтенант.

— Обычно не бывает. Кстати, можешь звать меня Фрэд.

Когда он затормозил перед полицейским участком, Кэй, выбравшись из машины, замешкалась.

— Там не трупы?

— Нет. Так, хлам разный. Осколки, обломки... подхлестнуть твое воображение.

Они вошли. Бронте уже ждал их, пил черный кофе, деревянной палочкой выбрасывая крошки пластика, плававшие на поверхности.

— Привет, Фрэд. Профессор Квинн, сюда.

Все прошли в длинную комнату со столом посередине. Бронте первый. Только настольная лампа, выгнув гусиную шею, освещала пляжный хлам. Сантомассимо включил свет под потолком. Кэй увидела мусор, оглянулась на него, и Сантомассимо кивнул, показав ей жестом — подойди к столу. Сам он остановился у игрушечного самолета, точно готового вот-вот сорваться и взлететь над пейзажем из осколков бутылок, конфетных оберток и прочим песочным мусором.

Бронте подождал, пока Кэй наглядится на самолетик. Для нее все стало каким-то слишком реальным.

— Вот, профессор! — окликнул Бронте.

Кэй медленно оглянулась: на решетке, почти в углу стола, лежало одинокое желтое зернышко — местонахождение на Тихоокеанском берегу помечено жирным фломастером. Еще не пожухлое. Бронте вынул из конверта второе и примостил рядышком. Зерна попкорна устали на них подслеповатыми зазубренными глазками. Идеальная пара.

— Видите? Неплохо, а, Фрэд? — сказал Бронте. — Я вспомнил, что еще накануне обратил внимание на попкорн.

— Ты хочешь сказать — их обронил убийца?

Бронте пожал плечами.

— Я вижу только, их уже два. Посчитай сам. Раз, два...

— Это как подпись! — высказалась Кэй.

— Подпись? — переспросил Сантомассимо.

— Хичкок славился тем, что появлялся в своих фильмах. Хоть

на секунду, да мелькнет. Трудно было даже заметить, но публика всегда напряженно караулила. Игра такая. Своеобразная роспись художника.

Сантомассимо взглянул на Бронте, ища поддержки.

— Фрэд! — настаивала Кэй.

— Да?

— Где люди обычно жуют попкорн?

— В кино...

Щелк... Двинулась, записывая, лента... человек притулился у окна, выходящего на старый умирающий Голливуд: студии великих фильмов, особняки киношников, биллиардные залы, кинотеатры... несколько минут протекло в молчании...

— Почему Хичкок?

Новая пауза... Откупорив бутылку пива, человек поднес к губам, отпил, отер рот...

Снаружи раздался шум. Моментально он выключил магнитофон. Подождал. Шаги стихли, а с ними хриплый кашель. И снова закрутилась, записывая, лента.

Щелк...

— Почему Хичкок? Сложный вопрос. Почему вообще случается что-то? Почему я родился? Почему в Боге забытой дыре? С талантом или проклятием, называйте как хотите, от которого не могу избавиться. Почему моя жизнь загублена этим талантом? Почему студии, даже самые мелкие, захлопывали дверь у меня под носом?

Хичкок... Потому что это он выбрал меня. Не я.

Длинная пауза. Человек не двигался, казалось, не замечая крутящихся бобин, не замечая ничего, кроме окружающих шумов, отдаленного грохота машин, бульканья водопроводных труб. Спустя некоторое время голос начал снова, отстраненно, будто человек задумывался о трудностях, которые ему предстоят, а теперь снова возвратился к настоящему.

— Я чуть не покончил самоубийством. Я вроде уже упоминал про это. После того как негатив превратился в зеленую труху, я как отключился, бросил все. Даже подрядился торговать мылом вразнос. Можете поверить этому? Я продаю мыло домохозяйкам в Вэлли! Работал вдесятеро больше, чем прежде, но через три недели бросил без гроша в кармане... Продавец из меня получился никудышний.

А потом, как по волшебству, случилось чудо. Умерли отец с матерью в Италии. В отпуске, в Неаполе. Поели протухших моллюсков. Но даже мертвые, они ухитрились поганыть мне жизнь. Наследство отпускалось по каплям — крошечными дозами, только на хлеб и воду хватало, для удовлетворения потребностей желудка, но не аппетита к творчеству. Я единственный наследник состояния в несколько миллионов, которые не могу ни продать, ни обменять, ни распорядиться ими, пока не достигну 45 лет. Нет, вы представляете? СОРОКА ПЯТИ ДЕРЬМОВЫХ ЛЕТ! Это ведь еще ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ЖДАТЬ!

Щелк... Человек откинулся в кресле... дыхание вырывалось затрудненно, с каким-то слабым мяукающим звуком. Постепенно

к нему вернулось самообладание. Он наклонился над магнитофоном... Шелк... И запись продолжалась.

— Тем не менее... все-таки стало получше... Чеки дали возможность оглядеться, передохнуть, не горбатясь на хлеб насущный. Я пришел в экстаз от Лос-Анджелеса. Город, похожий на раскинувшиеся щупальца монстра. Я обалдевал от солнца, образа жизни людей. Все точно вопяет: да, мы жулики, мы прохвосты, мы все гнием. Но, эй! Мы ж на все наводим глянец, организовали грандиозную тусовку под названием Лос-Анджелес! Мы снимаем фильмы, разговариваем о фильмах, смотрим фильмы! Фильмы заполняют все! Люди тут верят в фильмы. Верят в то, что им рассказывают фильмы. Большие верят кино, чем науке или религии или тому, чему их пытались научить в школе. Фильм как веселящий газ. Для всех, в том числе и для меня. Особенно для меня. Поселился я над табачной лавчонкой на бульваре Санта-Моника, и по ночам слышал, как шуришат в кладовке тараканы. Я мог бы снять комнату и получше, но мне было наплевать. Меня опять захватила лихорадка во что бы то ни стало снимать фильмы. Трясло сильнее прежнего. Так что на все остальное мне было плевать.

Опять я пристрастился к старым фильмам. Черно-белым, ранним цветным. Наверное, скажете, я бежал от действительности. Но бежал я не от чего-то, бежал я к чему-то. Вот он, мой прежний мир, самый реальный для меня: съемки, кран-тележки с камерами «долли», трансфокаторные объективы, оттенки сюжета — все, что пропускают мимо глаз зрители и улавливаю я.

А Хичкок был самый великий. Разве это так трудно понять?

Шелк... Человек поднялся. ...Издали послышался шум спускаемой воды в туалете... Вернулся... послушал записанное... Шелк... И снова поплыла лента...

— Когда я смотрел хичкоковские фильмы, я понимал — он создает иллюзии. Разумеется! Все режиссеры творят иллюзии. Но послушайте, черт побери... В этой чепухе больше, чем видно глазу. Вашему, во всяком случае... Когда Хичкок создает иллюзию, он не скрывает, что это — иллюзия. Но все равно его фильмы срабатывают. Можете вы постигнуть такое? Словно бы фокусник, который показывает вам, как сделан трюк, и потом проделывает его, но, ей-Богу, вы все равно всерьез верите, что чертов кролик выскочил из его штанов или откуда там еще... так получается и у Хичкока. Кино — оно и есть кино, понимаете? Фантазия. Актеры тупари все. Скот. Проговаривают реплики. Проигрывают сногшибательные сюжеты. И прямо на глазах нарастает напряженность, санспенс. У Хичкока это срабатывает всегда. Потому что таким ему представляется мир. Убийство как розыгрыш. Сама жизнь — розыгрыш. Я понял это. Вот отчего фильмы его и комические, и зловещие одновременно.

Я наблюдал за лицами зрителей, они раздирались между страхом и смехом, и я презирал их за то, что они пассивные игрушки в руках мастера.

Я хотел стать Хичкоком. Хотел стать режиссером, только для этого я и рожден. Хотел дико. Но я только и мог слушать

лекции неудачника-писателя о мастерстве написания сценариев, а я умел это в сто раз лучше.

Нет, Хичкок — это мощь, уникальная сила нашего времени. Печать его на каждой картине, которую он снял. Уайлер, Кьюкор, Зиннеман — все они хороши, но в сравнении с Хичкоком — пылинки. Хичкок как наваждение. Хичкок знает, смерть — это хохма; жизнь, талант, честолюбие, надежды, желания сердца — все в конечном счете бессмысленно. Хичкок наглядно обнажил жестокость изнанки всей нашей жизни.

Короткая пауза. Голос замурлыкал, едва слышно: классическая мелодия. Мари. Гуно. Потом расхохотался и снова заговорил бодро, напористо.

— Позвольте мне сказать. Между прочим, это ведь нелегко, заставлять людей поступать так, как тебе хочется. Актеры людишки, конечно, никудынные, с их мелким самолюбием, аффектированностью, но они хотя бы знают, что положено делать по сценарию. Чарльз Пирс не ведал ни черта, но играл непревзойденно. Я бы сказал, он был лучшим. Хасбрук был заурядным бизнесменом и, по-моему, особой оригинальности не выказал и в конце: валялся в грязи да барахтался в приливе, точно выброшенный на берег тюлень. Ни проблеска достоинства, стиля.

Сколько приходится вкладывать в мои эпизоды! Ритм, замысел. Экстерьер. Интерьер. Время дня. Мотивация. Ракурсы. Уга-сающее осознание ставшего жертвой. Делал эскизы, рисунки, раскадровку. Я ведь не клею кадры тяп-ляп, вроде режиссеров, которых я зову многокадровыми Чарли. Раз, два, три — обвал! Готово! Да, такой сокращает бюджетные расходы. Потому-то ему и дают работу. Но с таким же успехом он мог бы пирожки печь. В его фильмах ни крупинки творчества, выверенности, точности, изобретательности. Ведь всякое использование «долли» — камер на тележках, трансфокаторных объективов, наездов, крупных планов — все это должно применяться в абсолютной нужной момент, органично, выверенно. Я могу. У меня уже получалось. И я сделаю еще. Эффектнейшие сцены...

В общем-то без камеры даже лучше... Забирает покрепче секса... крепче, чем самый забористый наркотик...

Даже крепче, чем сам Хичкок...

Да-а! СНЯТО!

8

«КДЛП» был телеканал молодой, существующий всего каких-то пять лет. Его студия располагалась на Сансет-бульваре, позади старого помещения Режиссерской гильдии. Наружные стены покрашены бледно-зеленым, а сверкающие желтые двери и сверхмодная изысканная обстановка в вестибюле не скрывали того, что само строение старое, со щелями в фундаменте. Но телеканал быстро стал популярным.

Обычно он показывал самые жареные новости и крутые видеофильмы.

11.15 вечера. Стив Сафран сидел на помосте в клетчатой спортивной куртке с микрофоном-брелоком на лацкане под обстрелом

двух телекамер, а дежурный режиссер передачи, нацепив наушники, следил по записям. Новости Сафран читал тоном уверенным, непререкаемым.

— Убито двое ни в чем не повинных людей. Расследованием занимается одно полицейское управление, хотя трупы были обнаружены в разных районах города: на Тихоокеанском побережье и в Западном районе. Что происходит? Лос-Анджелес желает знать. Лично я хочу знать. Полиции не утаить от нас правды, не утаить ее от меня. Когда же комиссар полиции откроет ее нам? С вами Стив Сафран, канал «КДПП».

Режиссер жестом перерезал себе горло, и красный огонек над главной камерой потух. Второй оператор начал складывать кабель, помощник отодвигал массивные записывающие аппараты к стенке. Сафран, вытирая лицо, спустился с помоста и заметил, что Моника, девушка за пультом, машет ему, тыча на белую телефонную трубку в руке. Он подошел к контрольной кабинке и взял трубку.

— Сафран у телефона.

Ответ раздался не сразу. А когда раздался, то показалось, говорят откуда-то очень издали. Голос говорил медленно, однако очень напряженно. Бесцветно и глухо, словно из плохой тонстудии.

— У меня имеется информация.

— Да-а? И какого рода?

— Понимаете, мистер Сафран, меня очень заинтриговала ваша передача. Мне кажется, вы зацепили настоящую тайну. По моему, мои сведения будут полезны вам. То есть если вам и вправду небезразлична разгадка этих убийств.

Сафран легонько отодвинул Моника. Повернулся лицом в угол — так его не могли услышать ни она, ни режиссер, ни техник и никто из собирающихся на следующую передачу.

— Разумеется, небезразлична, — тихо проговорил он. — Вы и сами знаете. Правильно, что позвонили. Так какая информация?

— Факты, которых не откроет вам лейтенант Сантомассимо... ни за что... То, что он отказывается разглашать...

— А что вам известно про Сантомассимо?

— Ох, к черту! Я...

— Нет! Не вешайте трубку! Я очень заинтересован!

Повисла томительная пауза. Сафран слушал ровное дыхание на другом конце. Моника, заинтригованная, взглянула на него, но Сафран только отвернулся и забился еще дальше в угол.

— Так что же? — настойчиво, но осторожно пытал он.

— Прежде чем выложу, нужно обсудить...

— О'кей...

— Вопрос о деньгах...

— То есть? — сглотнул Сафран.

— Ваша цена? — нетерпеливо потребовал голос.

— Хм... ну не знаю. Зависит от реальной ценности. Сотня-другая баксов?

Новая длинная пауза. На этот раз Сафран различал едва слышные посторонние шумы. Снова возник голос, размеренный, ровный.

— А как насчет пары тысяч?

— Забудьте! Э, хотя нет! Погодите! Вы кто — коп? Работаете с Сантомассимо?

— Не ваше дерьмовое дело, кто или что я! Мне известно и про профессора Квинн тоже, Сафран. Известно, почему ей досталась роль в этой мелодраме. Но вам, чтобы узнать, — придется заплатить.

Сафран опять вспотел, отчасти от возбуждения, отчасти от странной необъяснимой лихорадки.

— Слушайте, столько денег я достать не сумею, у меня их просто нет. Может, порешим на пятистах?

— Поднимите до тысячи.

Сафран лихорадочно соображал, где бы можно стрелнуть наличные в такой час.

Режиссер Фрэнк Хоуард уже натягивал куртку. Сафран повернулся к нему, прикрывая трубку рукой.

— Фрэнк, погоди! Не уходи! — торопливо бросил он. И снова в трубку: — О'кей. Договорились. Встретимся перед студией. Подождите меня. Знаете, где она находится?

— Нет уж, мистер Сафран. Это вы меня встретите там, где скажу я.

— Ну, ну? Где же?

Сафран слушал, с трудом разбирая слова. Голос куда-то уплывал, сыпались грязные ругательства. Наконец опять сфокусировался, четко назвал место встречи. Сафран сдвинул в недоумении брови.

— Что? Но почему там? Господи, ведь...

В квартире творился настоящий бардак. Раскиданы книги, альбомы, открытый музыкальный инструмент, всякое киношное оборудование, фотографии, на доске старый перемотчик. А на столе снимки Алфреда Хичкока. Рядом с холодильником кадры из его фильмов. На стене огромные афиши «На север от северо-запада», «Веревка», «Саботаж», «Птицы».

Человек улыбнулся, смакуя пылкую нетерпеливость Сафрана. Поиграл с телефонным шнуром.

Мягким глянецом отсвечивали афиши. Они казались более полноправными обитателями комнаты, чем скорчившаяся в потемках фигура у окна.

— Почему там? — передразнил он Сафрана. — Да потому... ох, дерьмо... потому... что... потому...

Вывернув шею, человек бросил взгляд на длинную афишу, поблескивавшую в свете из окна. Большие буквы кричали: «ИНОСТРАННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ». Ниже, шрифтом помельче, «Хичкок», и кадр — человек падает в вечность с высоченной церковной колокольни.

Обитатель комнаты снова повернулся к телефону. Первый раз он заговорил дружелюбно и даже расслабленно.

— Да потому что беседа у нас секретная, — поведал он Сафрану. — Информация только для вас.

Церковь Сен-Амос была громоздкой, многочисленные при-

стройки и ремонты изменили за долгие годы ее вид. На фоне ночных облаков силуэтом среди зданий центрального Лос-Анджелеса чернела башня-колокольня.

Сафран притормозил перед церковью. Приехал он на маленьком лакированном «вольво» и быстро подошел к парадному входу, растворившись в сумраке Сен-Амоса. С минутку стоял, мигая, в полнейшей темноте зала, затем тихо притворил дверь. Оглянулся назад и, разглядев еще одну дверь, потемнее, направился к ней. В нерешительности он потоптался, осторожно потянул за ручку. Та сначала не поддавалась, потом на удивление легко отворилась. Сафран кинул взгляд наверх. Винтовая лестница вилась ввысь к башне-колокольне.

И он ступил на первую ступеньку. Деревянные ступени были скользкими, ноги едва удерживались на слегка покато́й лестнице. Стив распустил галстук, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Холодно, но, одолевая крутую лестницу, он запыхался, вспотел. В открытый люк на потолке потянуло сквозняком.

Колокольня представляла из себя купол — десять на десять квадратных футов. Почти все пространство занимал черный колокол, лишь узкая дорожка бежала вокруг него.

Стив покрепче уцепился за перила. Те зашатались под пухлой рукой. Отвратительная пустота поднялась в желудке, репортера затошнило. Отвернувшись, он пошел по узкой дорожке вокруг колокола к дальнему концу башни.

С этой стороны было не так ветрено. Внизу расстилались, перебиваясь, необыкновенные сполохи огня: красные, желтые, прорезанные черными полосками, убагавшие в бесконечность. Ночной Лос-Анджелес.

— Мистер Сафран?

Сафран резко оглянулся. Никого.

— Эхм... да, я,— промямлил Стив, все еще стараясь проникнуть взглядом в темные закоулки купола.— Я тут. Деньги принес.— Он вытащил конверт из кармана, высоко поднял.— Видите?

— Положите на пол.

Сафран пристально всматривался в направлении голоса. Но видел лишь паутину да черные тени.

— Где вы? — потребовал он.— Ну-ка, покажитесь. Мне не нравится иметь дело с голосом, без тела.

— Бросьте деньги на пол, тогда и покажусь.

Сафран наклонился, положил конверт на пол.

— Вот. Они на полу.

Конверт лег на покоробившиеся вздувшиеся доски. Дерево было таким старым, что уже давным-давно потрескалось вокруг гвоздей, ржавых, вылезавших над полом. Сафран разглядывал их, когда донесся непонятный шум.

Быстрый топот бегущих ног.

Обернувшись, Сафран услышал взвизг: дикий, ликующий. Из-за края колокола выскочила черная фигура, налетела на него... Сафрана сшибло с ног, он ухватился было за перила, промахнулся и полетел в открытый зев глубокого колодца.

Напоследок Сафрана посетило диковиннейшее явление: он

стремительно падал и все-таки напряженно всматривался, вперив глаза в того, кто столкнул его, — сосредоточенный его взгляд, казалось, устремлялся наверх с той же скоростью, с какой он падал. Сафрана грохнуло о бетон пола, в глазах запечатлелись сменяющиеся пролеты винтовой лестницы, и смотреть ему уже стало нечем.

Долгое время в Сен-Амосе царил тишина. Все так же чернела башня-колокольня на фоне облаков, подсвечиваемых снизу городскими огнями, теперь розовыми, охряными, желто-серыми, а там, где проступали звезды, полосы стали цвета темнейшего индиго.

Колокол отбил час.

Полицейская «скорая» притормозила у тротуара, рядом патрульные машины, машина без опознавательных знаков. Быстро сбилась толпа. «В церкви облава на наркоманов», — тут же пополз слухок. Полицейские техники прошли в лестничный пролет, сделали, что требовалось, и появились из дверей с пепельными лицами. Один забежал за «скорую», его вырвало.

Сантомассимо стоял на нижних ступеньках над растекшимися останками того, кто был раньше Стивом Сафраном. Он взглянул наверх. Ну и высота! Муха с такой упадет целой и невредимой, мышь сломает лапку, а толстяк вроде Сафрана попросту разобьется в лепешку. Сафран и разбился. Техники даже со стен соскребали.

В дверях появился капитан Эмери, заглянул через плечо Бронте. Он долго смотрел на ворох ошметок: клочки одежды, наручные часы, торчащие кости и лужи крови. Потом, почувствовав на себе выжидающий взгляд Сантомассимо, обернулся на лейтенанта и смущенно прошептал:

— «Головокружение»?

— Возможно.

— Там тоже колокольня. Жертву сбрасывают с нее.

Сантомассимо потер глаза:

— Если я помню правильно, жертвой была Ким Новак и играла она не репортера. Профессии не сходятся.

— Так что ты хочешь сказать? Теория неверна?

— Чтоб я треснул, если знаю сам, Билли.

Медики собрали и уложили останки Сафрана в черный мешок, застегнули «молнию» и покатали его к «скорой». Фотографы снимали оставшиеся следы.

Сантомассимо ждал у дверей. Сквозь толпу пробиралась полицейская машина. С заднего сиденья выбралась Квинн, в хлопковой курточке, наспех наброшенной поверх блузки и юбки. Ноги у нее подкашивались.

Сантомассимо ласково взял ее за руку:

— Спасибо, что пришла. Жертву уже увезли. Смотреть не на что, так что не нервничай.

С Бронте вышел капитан Эмери, взглянул на Кэй удивленно и подозрительно. Он облизал губы, слотнул и жестом приказал Бронте оставаться на месте. Подозвал Сантомассимо к себе.

— Ты впутываешь эту особу в расследование больше, чем требуется.

— Без нее, капитан, и расследования нет.

— С каких это пор полиция настолько зависит от помощи гражданских?

— Расследование, Билл, в данный момент — это она. Пока что у нас только она и есть.

— Тут ведь репортеры, Фрэд, учти, и ребята с телевидения. Они работали с Сафраном. Ловят каждое наше слово, наблюдают за каждым шагом. Неосмотрительно вмешивать Квинн.

— Ничего не поделаешь, Билл.

— Ладно, — вздохнул Эмери. — Давай ее сюда.

Сантомассимо вернулся к Кэй, положил ей руку на плечо.

— Убитый — Стив Сафран. — Он услышал, как у девушки перехватило дыхание. — Да. Тот самый, с которым мы встретились в баре. Телерепортер. Его столкнули с колокольни. Капитан Эмери думает, тут связь с «Головокружением». В том фильме смерть тоже произошла на колокольне...

Кэй залилась смехом. Силится остановиться, но не могла.

— Не глупи! — наконец удалось выговорить ей. — Это не может быть «Головокружение»... Это «Иностранный корреспондент»... Считали, что Доэл МакКри сорвался с колокольни... он был репортером!

— Спокойнее, Кэй...

— Фрэд, но на самом деле с колокольни сорвался Эдмунд Гвинн... убийца... Разве ты не понимаешь?

Медики закрывали заднюю дверцу «скорой». Кэй указала на мелькнувший пластиковый мешок, аккуратно застегнутый на «молнию». Смех все сотрясал ее, пока наконец градом не покатились слезы.

— В мешке не Ким Новак! — выкрикнула она. — Это... это Эдмунд... Хотя нет... О, Господи! ...Не знаю сама, кто... там... я не знаю... кто... больше уже не знаю... не разберу...

Смех перешел в рыдания, и она уткнулась в грудь Сантомассимо. Тот поддержал ее, молча повел к машине.

— А попкорн нашелся опять? — внезапно спросила Кэй.

— Да. Одно зерно. На дорожке у колокола.

— Значит, все-таки подпись.

— Похоже на то. И еще нашли кое-что. Запечатанный конверт, а в нем пятьсот долларов. Еще пятьсот оказалось в бумажнике у Сафрана.

— Сам видишь. Деньги убийцу не интересуют. Его интересует одно...

— Убийство.

Сантомассимо повернул ключ зажигания, взглянул на Кэй и перевел взгляд на пустынную дорогу, густо засаженную дубовыми деревьями.

— Довезу-ка я тебя домой!

— Куда угодно. Только подальше отсюда.

Сантомассимо едва заметно кивнул, ободряюще пожал ей руку и двинулся к Тихоокеанскому побережью.

Длинный холм впереди вел к северу, мимо перекрестка Сансет-бульвара, к Зума Бич и центральному району Калифорнийского побережья.

- Хочешь есть? — спросил Сантомассимо.
 - Умираю с голоду!
 - Вон моя квартира. В большом квартале на холме.
 - Надеюсь, что могу вам доверять, лейтенант.
- Фрэд засмеялся и повернул направо...

Темноту комнаты разгонял янтарный свет под акварелью Джона Марина. Сантомассимо забыл выключить лампочку. Разгулявшийся шторм на акварели опрокидывал яхты: необузданное вторжение природы в удовольствия цивилизации. Сантомассимо помог Кэй снять куртку, но Кэй уже перестала обращать на него внимание, даже не замечала его, ошеломленная обилием прекрасных вещей.

— Боже!.. Какая прелесть! И все оригиналы?

Фрэд закрыл дверь, тщательно заперев. Он шелкнул выключателем, и под потолком засветились глубоким светом две лампы. Кэй невольно охнула от восхищения. Улыбнувшись, Фрэд взял ее под руку и устроил импровизированную экскурсию.

— Каждый предмет мебели тут подлинный, — объяснял он. — Это кресло красного дерева было сделано Полом Трайбом в 1912-м. Музейная ценность. Одно в своем роде.

Он подвел ее к набору: стол и кресло. Так приятно было ощущать ее присутствие, ее руку на своей. Приятно делиться радостью, быть вдвоем в роскошной обстановке.

— А эти четыре кресла эбенового дерева изготовил Андрэ Кроул в 1925-м. Стол с фабрики Эмиля Жака Рулмана. Вот эти два кресла тоже его.

Кэй засмотрелась на сверкающий волнообразный абажур одной из горевших ламп.

— А это?

— Джин Пуфокэт.

Кэй подошла к инкрустированному дивану, в глаза ей тускло сверкнул узор из слоновой кости.

— На этом всем сидят или только глазект?

Сантомассимо расхохотался и чуть ли не бросился в кресло рядом.

— Роскошная мебель для того и делается, чтобы ею пользовались. Так она становится антикварной.

Кэй подошла поближе, тронула длинный край стола, и кончилось тем, что ее рука очутилась в его, пальцы его сжали ее. Она шуточно вырвалась и опять оглядела гостиную, даже бра в завитках на дальней стене.

— И все на зарплату копа? — поддразнила она.

— Никак невозможно! — расхохотался Фрэд. — Мебель досталась мне от родителей. Они собирали коллекцию всю жизнь. Началось еще в 20—30-е годы, когда цены были доступны. А когда умерли, сестра взяла себе страховые деньги, а мне отошла мебель.

— Ты застрахован, наверное, на миллион долларов.

— Почти. Пошли.

— Куда?

— В спальню.

Фрэд подвел ее к дверям спальни, распахнул. Кэй онемела. Шкаф до самого потолка, изящно разукрашенный перламутром, высокие прямые лампы школы Макинтоша поднимались у книжного эбенового шкафа. Но царила в спальне кровать, не иначе как из замка. Покрытая лаком, в длину больше восьми футов, с массивным изголовьем, изножье разукрашено изящными японскими золотыми рыбками и водяными лилиями.

Кэй тронула гладкую лакировку, инкрустацию. Охряная вода, камыши и зеленые улитки — водяной мир, переданный художником, вечный пышный мир, в котором эстетическое удовольствие граничит с эротическим.

Фрэд подошел к ней сзади. Кэй грустно взглянула на него. Он не был уверен, что означает ее взгляд, но догадывался.

— Ты спала когда-нибудь на кровати Джин Дунард ценой в пятьдесят тысяч долларов?

— Нет. Это что, лучше, чем на шестидесятидолларовой кровати от «Симмонса»?

— Еще бы, гораздо больше испытываешь благоговения.

Фрэд поцеловал ее, очень нежно. Девушка присела на край кровати. Теперь она чувствовала себя увереннее. Расслабилась. Улыбаясь, взглянула на него, дотронувшись до его лица, медленно пробежала по нему пальцами, как раньше по креслу, взгляделась в его глаза. Чуть печально нахмурилась.

— Скажи мне кое-что...

— Что угодно!

— Почему вдруг — Фрэд? При такой пышной фамилии?

Он хмыкнул. Поцеловал ей кончики пальцев.

— Э... по правде говоря, зовут меня по-другому. Но я еще в средней школе переименовал имя. А то мальчишки дразнились.

— Так, не говори! Сама догадаюсь. Доминик? Кармин?

— Хуже.

— Анджело?

Он покачал головой.

— Сдаюсь!

— Амадео.

— Амадео? — изумилась Кэй. — Ама Део. Ама Деус. Любимец Бога. — Она недоверчиво взглянула на него. — Любимец Бога Великий Святой! Господи, Фрэд, мне что, поклониться колени?

— Это уж как желаешь, Кэй!

Он обнял ее. Она не сопротивлялась, когда он расстегнул ей блузку. Пахло от нее душисто, как от цветочного луга.

— Все, что желаю? — прошептала она. — Все!

Она засмеялась, наклонилась и поцеловала его. Они легли на кровать рядом. Кэй была такой теплой. Сантомассимо окунулся в знакомый и все равно таинственный мир. В Кэй были все сезоны мира и больше любви, чем он встречал раньше.

И все-таки Фрэд отодвинулся и лег на разукрашенное изголовье. Она была нужна ему, но сегодня вечером все шло отчаянно не так.

— Кровать была ее, да? — спросила Кэй. — Маргарет, твоей бывшей жены?

Он кивнул.

— Не думал, Кэй, что это будет иметь значение.

— Где-то глубоко внутри она тут.

— Нет. Не она. Просто не знаю. Неудачность всего, что было. На это мы возлагали самые большие надежды. Но думаю, лгали с самого начала. Прости, Кэй. Чувствую себя дураком. Хочешь, чтоб я отвез тебя домой?

— Мне намекают, чтоб я уезжала?

— Нет, нет! Этого я хочу меньше всего!

— Тогда разреши, я приготовлю потрясающий завтрак!

Улыбнувшись, Фрэд поцеловал ее в губы. Он чувствовал себя утиренным. Он-то считал, что Маргарет совсем умерла для него. Теперь же понял: эти три года мертвым был он сам.

Кэй прошла на кухню, соорудила на медной сковородке настоящей омлет: с соусами, грибами, ржаным хлебом.

— Этому я научилась в Лондоне, пока работала над диссертацией, — сказала она. — Омлет для гурманов.

Он накрыл для двоих и отошел к окну.

— Отсюда восход солнца особенно красив. Сейчас еще не видно, но солнце показывается из-за скал вон того каньона, как только начинают петь птицы.

— Ой, давай посмотрим, Великий Святой! Давай подождем зари!

Фрэд вышел на балкон, сдвинул вместе два шезлонга, навалил на них одеяла. Уютно угнездившись в них, они поели омлет. Полежали, прислушиваясь к ранним птицам, пока не заснули. Несколькое раз Сантомассимо просыпался, но не шевелился из страха разбудить Кэй. Рука его лежала у нее на груди, и ему было спокойно, такого покоя он не испытывал уже много лет, всякая неловкость прошла.

Позднее Сантомассимо проснулся, разбуженный черным тихоокеанским приливом, подкатывавшим под пирс на песчаный берег далеко внизу. Кэй крепко спала, засунув руку ему под рубашку.

Внезапно она села, ее била дрожь.

— Тихо, тихо! — шепнул Сантомассимо.

— Мне снился тот бедняга, мертвый парень. Он такой молодой. Я никак не могу выбросить его из головы.

Сантомассимо нагнулся ближе, его тепло успокоило ее.

— Понятно. Убийства приятными не бывают.

Кэй чуть отодвинулась, задумавшись.

— Но ведь в том-то и дело! — воскликнула она. — А мы превращаем их в приятные!

— Не понял?

Теперь она сползла на самый краешек шезлонга. Фрэд никогда не видел такого красивого лица, но одновременно и такого замученного.

— Мы играем с насилием, — объяснила Кэй. — И с убийствами. Люди вроде меня. Вроде Хичкока. Люди, которых влекут его фильмы. Мы расчлняем убийство, выставляем напоказ, восхваляем его... Да что я! Даже возносим-ему почести... как акту искусства... — Глаза у нее стали большими, страдальческими. — Мы даже... любим его. О, Боже, Фрэд! Как меня-то занесло в этот

безумный мир? Я была простой старательной студенточкой, занималась в школе Чосера, а потом случайно, в дождливое воскресенье, забежав в «Талию», увидела новую копию «39-ти ступеней». Я не была такой уж заядлой киношницей, но фильм меня просто потряс. Размах фантазии, выразительность языка, символов. Столько трюков, тончайшего манипулирования, но была и новая литература, новое искусство. И я потряслась. Ринулась в мир кино, не думая, не рассуждая...

Она прильнула к нему и задремала, держась за его руку. Он тоже заснул беспокойным сном, а ранние птицы уже вовсю щебетали у дома.

9

На пятом этаже здания Уголовных судов м-сс Жаклин Рандольф, окружной прокурор, проводила совещание. Рядом с ней сидели комиссар полиции, Тэрэнс МакГрат, грузный детина лет пятидесяти. За длинным конференц-столом сидели также капитан Эмери, лейтенант Хирш из Центрального управления, капитан Халлек из 33-го участка и капитан Каллахан из ньютонского отделения.

Присутствовал и представитель мэрии — Престон Уилкинс, худенький, невысокий, в строгом черном костюме. Рядом с Рандольф спокойно покуривал трубку Уоллес Перри, капитан Главного Уголовного управления Лос-Анджелеса.

Кэй и Сантомассимо устроились вместе на дальнем конце стола.

Рандольф была еще симпатична, хотя долгие годы на посту окружного прокурора вытравили из ее лица всякую мягкость. Она была хорошим юристом и превосходным прокурором. Теперь она стремилась стать лучшим окружным прокурором в истории Лос-Анджелеса. Говорила она саркастически, протяжно, но довольно дружелюбно, глаза смотрели пронзительно и испытующе.

— Что происходит, джентльмены? У нас тут что, конфликт из-за сфер полномочий? Почему лейтенант Сантомассимо возникает в Голливуде? В центре Лос-Анджелеса?

Капитан Эмери нервно откашлялся.

— Лейтенант Сантомассимо, который, кстати, хочу указать, получил три награды за храбрость при исполнении служебных обязанностей и...

— Давайте, Эмери, без славословий.

— Ладно. По нашему мнению, три убийства: на пляже, на мебельном складе «Лайонс» и в церкви Сен-Амоса — связаны между собой.

— Как же?

— Убийца один и тот же.

Рандольф обменялась взглядом с Уилкинсом, представителем мэра, и рассердилась.

— Вот именно! Такое впечатление вы и умудрились навязать городу! Покойный и неоплаканный Стив Сафран воспользовался несанкционированным появлением лейтенанта Сантомассимо и

подкинул зрителям идею об убийце-маньяке. Некоторые жители уже так напуганы, что боятся вечерами выходить.

— Мы никому, м-сс Рандольф, никаких версий не подкидывали, — возразил капитан Эмери.

М-сс Рандольф достала номера «Лос-Анджелес Таймс», «Санта-Моника Джорнел» и три листка бульварных газетенки. «УБИЙЦА-МАНЬЯК РЫЩЕТ ПО ГОРОДУ!» — кричал заголовок одной. «ЖУТКИЕ УБИЙСТВА БРОСАЮТ ТЕНЬ НА ЛОС-АНДЖЕЛЕС», — вопил другой. «МАНЬЯК СТРОИТ ИЗ СЕБЯ БОГА, НАВАЛИВАЯ ТРУПЫ!» — жаловался третий. Жаклин Рандольф бросила все на стол.

— Репортеры осаждают мэрию, — прибавил Уилкинс. — Требуя ответа, что намерен предпринять мэр.

Воцарилось угрюмое молчание. Капитан Каллахан и лейтенант Харис избегали глаз Рандольф и капитана Эмери. Капитан Халлек, в чьем ведомстве находилась Сен-Амос, растерянно крутил карандаш. М-сс Рандольф безжалостно накинулась на Сантомассимо.

— Лейтенант Сантомассимо, почему вы заявили в «Лайонс»? Почему возникли в церкви Сен-Амос? Объясните, пожалуйста, свои поступки.

Сантомассимо откашлялся.

— Бомба в самолете, которая разорвала Хасбрука, м-сс Рандольф, напомнила мне сцену из «На север от северо-запада». Фильм режиссера Алфреда Хичкока. Там намеченная жертва тоже работала в рекламном бизнесе.

Рандольф вперила в него непонимающий взгляд.

— Убийство студента колледжа, которого задушили и засунули в сундук, — точная копия сцены из «Веревки». Режиссер...

— Ой, позвольте высказать дикую догадку! Алфред Хичкок!

— Вот именно. А смерть сброшенного с колокольни Стива Сафрана — прямо из «Иностранного корреспондента». Там жертва тоже репортер.

М-сс Рандольф скептически вздернула брови. Взглянула на других полицейских.

— Вы покупаете это?

Ответом было молчание.

— Тогда скажу вам, что думаю лично я, — адресовалась Рандольф к Сантомассимо. — Считаю, лейтенант, что вас подставили. Отделения спихнули на вас неразрешимые убийства. Многие убийства в Лос-Анджелесе напоминают сцены из фильмов. Откуда, как по-вашему, черпают вдохновение сценаристы?

— Есть еще кое-что, — вмешалась Кэй. — Хичкок всегда мелькал в своих фильмах. Короткие рольки, сцена без слов, миг. Но публика ждала его появления. Зрители знали его маленькую игру. Они свистели, приходили в восторг, когда замечали Хичкока. Это стало его фирменным знаком, как и обманка.

— Что еще за обманка? — осведомилась м-сс Рандольф.

Кэй отпила воды из стакана.

— Некий предмет, приманка, которая дает толчок сюжету. Но обычно это — ложный ход. В «39 ступенях», например, обманкой была секретная формула, спровоцировавшая погоню. В «Дурной

славе» — уран в винной бутылке. И появления режиссера, и обманки — это фирменный знак Хичкока, его подпись... Как этот попкорн...

Окружной прокурор проследил за взглядом Кэй. Капитаны, комиссар и Уилкинс — тоже. Три желтых зернышка попкорна в пластиковом конверте красовались в центре длинного стола.

— Суд попкорном не убедишь, — решительно отрубил Рандольф. — Как и вашими рассуждениями. Я не могу основывать обвинение против убийцы... Если вы вообще поймаете его на подобного рода уликах. — И Рандольф резко толкнула конверт с попкорном по скользкому столу назад к капитану Эмери. — Вам известно, капитан Эмери, сколько в Лос-Анджелесе попкорна?

— М-сс Рандольф, пожалуйста, выслушайте...

— Ну попробуйте, догадайтесь. Миллион зернышек? Триллион?

— Но мы не выстраиваем сейчас для вас судебное дело, м-сс Рандольф, — только и сумел оправдаться Эмери. — Профессор Квинн, известный эксперт по фильмам Хичкока, говорит лишь о вероятных мотивах, и, мне кажется, она сумела обосновать свои доводы.

— Попкорном?

— Заглянув в психически неуравновешенный разум убийцы, — вмешался Сантомассимо. — Три убийства, три зернышка попкорна, миссис Рандольф. Это подпись. Все логично.

— Возможно. — Рандольф опять повернулась к Кэй. — Пусть так, профессор Квинн. А фильмы Хичкока говорят, как поймать убийцу? Я имею в виду, если у убийцы такое наваждение, такая маниакальная идея? Есть какие предложения? Практические?

— Одно.

— Выкладываете.

— Возможно, убийца мелькает тоже. Символически. Как Хичкок. Это дерзко, это безумие. Дразнит публику...

— Публику? — недоуменно перебил комиссар МакГрат.

— Нас, — пояснила Кэй.

— Может, сумеем сфотографировать его, когда будет убивать очередную жертву? — высказалась Рандольф. — Вот был бы трюк!

— Нет, я имела в виду после преступления. Может, он смешивается с толпой зевак, превращается в любопытного. Ради того, чтобы поиздеваться...

— Великолепно! Потрясающе! Оттолкнемся от теории — кто жует попкорн, тот и убийца!

— В «Бешенстве» у Хичкока был зевака на верфи, он наблюдает, как полиция выуживает задушенную им девушку из Темзы!

— А может, его уже сфотографировали! — бросился на выручку Кэй Сантомассимо. — Сафран вечно толкался на месте преступления с оператором. Можем просмотреть его снимки, поискать лицо, которое возникает на всех!

— Только подальше от телевидения! — приказала Рандольф. — Сафран был одним из них. Они и так уже взбеленились. А мне не нравится терять контроль над расследованием.

— Если дело будет передано из отделения, — начал капитан Перри, — заметьте, я говорю — если... тогда оно должно стать

младенцем Главного Уголовного управления. Другие отделения не имеют таких компьютерных возможностей.

— М-сс Рандольф, — перебил его Сантомассимо, — мне бы хотелось заниматься им и дальше.

— Предоставьте это Центру, — покачал головой Перри. — У вас попросту нет необходимой техники.

— Я сумею схватить мерзавца! Я почти нюхом чую его!

— А почему бы лейтенанту Сантомассимо не возглавить команду особого назначения? — спросила Рандольф у Перри.

— Это можно, — кивнул тот. — Такое мы практикуем. Но тогда лейтенанту придется переехать временно в Центр, в Главное управление.

— Нет и нет! — вскинулся Эмери. — Мы уже трещим под грузом дел.

— Тогда невозможно! Так не делается! — отрубил Перри.

— Мне нужен Сантомассимо у меня. — Глаза Эмери потемнели.

Капитаны зашли в тупик. М-сс Рандольф побарабанила пальцами по столешнице.

— Капитан Перри, вы можете организовать особую команду так, чтобы лейтенант Сантомассимо подчинялся непосредственно вам?

— То есть оставаться он по-прежнему будет в Пэлисейдсе?

— Но работать непосредственно под началом Главного Уголовного управления.

— Но только, чтоб строго под нашим контролем.

— Каждый шаг, связанный с расследованием, будет санкционироваться управлением. И вся информация стекаться только к вам. До последнего ордера, предписания на обыск квартир, слежки, словом все.

Нельзя сказать, чтоб Перри сиял от счастья.

— Ладно. Переживем. Если желаете. Только командовать будет мое управление. Чтоб не гарцевали тут всякие ковбои.

Рандольф повернулась к Хиршу, Халлеку и Каллахану.

— Понятно? Всем расследованием — подчеркиваю, всем — занимается лейтенант Сантомассимо под началом Главного Уголовного управления.

Сантомассимо отвез Кэй обратно в университет и задержался в лекционной аудитории. Измученная физически и эмоционально, Кэй долго возилась с кейсом у кафедры. Она взглянула на слушателей, впервые испытала опасение, тому ли она их учит.

Кэй приладила микрофон, мигнул, угасая, свет, и один из ассистентов включил проектор с фильмом. Позади Кэй на большом экране появился огромный крупный план из «Головокружения». Увеличенный в лаборатории университета специально для ее занятия. В кадре руки, цепляющиеся за крышу. Ассистент остановил кадр, рамка застыла.

— Хичкоку нравилось заставлять своих героев удерживаться на волоске, — неторопливо начала Кэй. — Они цепляются за край крыши, буфера поезда, конечности статуй. На этом Джеймс Стю-

арт цепляется за лестницу в начальном кадре «Головокружения», Прокрути, Брэдли.

Плотный ассистент нажал кнопку. Поплыли ясные изображения, распечатка по кадрам. Кэй ничего не говорила. Слов тут и не требовалось. Даже замедленный ритм ярко передавал жестокою абсурдность увертюры к смерти, обнажал, с каким тонким садизмом, поданным как искусство, показан последний миг жизни человека.

— Остановите, пожалуйста, ленту, Брэдли! — попросила Кэй.

Ассистент остановил. Хотя фильм кончился на стоп-кадре милого свидания, напряжение было настолько ощутимо, что в зале прокатился нервный смех — как разрядка.

— Вы видите, как играет с сознанием Хичкок? — обратилась к студентам Кэй. — Он внушает самые глубинные и иррациональные страхи. Я хочу, чтобы вы смотрели его фильмы, для того вы и тут. Хочу, чтобы изучали язык его фильмов. Но помните, всегда помните — то, что вы смотрите, очень коварно. Коварно и опасно. Следующий клип, пожалуйста.

Новый увеличенный крупный план показывал актера Нормана Ллойда, вцепившегося в палец Статуи Свободы, а Роберт Каммингс тянулся, стараясь ухватить Нормана за рукав.

— Следующий наш герой, цепляющийся за краешек, — Норман Ллойд. Он играет нацистского шпиона в «Саботажнике». Шпиона в конце концов загоняют в ловушку, в Статую Свободы, Роберт Каммингс и Присцилла Лэйн. Кульминация разыгрывается внутри Статуи, в ее голове, в факеле, где Ллойд сваливается через перила площадки и едва успевает ухватиться за пальцы Леди... — Голос Кэй дрогнул. Она отпила воды. — Роберт Каммингс пытается спасти Ллойда, ухватив за рукав куртки, но... в этой, одной из самых напряженных и острых хичкоковских сцен, рукав начинает расползаться, рваться...

Кэй приостановилась, выдерживая эффектную паузу, и велела:

— Ладно, Брэдли, крути дальше.

Экран опять ожил.

— Итак, друзья, вы видите, как все вроде бы банально. Что же делает фильм таким страшным? То, что смерть Хичкок превращает в шутку. Рукав в самый нужный момент рвется, и человек разбивается насмерть, падая с головокружительной высоты. Выдумки за гранью реальности, но они все равно изобретательны, захватывающи и тонки, и мы принимаем их, они увлекают нас, даже когда отвратительны. Мы уходим из кинотеатра, чувствуя себя в безопасности, — чего там, это ж всего-навсего фильм, киношка, говорим мы себе, это никак не касается нашей реальной жизни... однако мозг вобрал образы, они запечатлелись в нашем сознании... — чуть помедлив, она закончила, — навсегда.

После завершения лекции Сантомассимо протолкался сквозь гущу расходившихся к дверям студентов.

— Минутку, друзья, — раздался в микрофон голос Кэй. — У меня остался один билет на тур «Сцены преступления в фильмах Хичкока», в него включена и Статуя Свободы. Нам даже дали разрешение посетить площадку факела, а это крупное везение: территория факела была закрыта для публики с 1916 года.

Кэй взглянула на блондинку с прической хвостиком, в белых тенниске и свитерочке, похожую на спортсменку.

— Как ты, Синди? У меня в группе трое мужчин, пусть хоть одна девушка будет.

— Извините, профессор Квинн,— Синди, грустно улыбнувшись, покачала головой,— но у меня нет денег.

— Брэдли, а ты? — обратилась Кэй к своему ассистенту.

— С удовольствием бы, но в эти выходные я работаю.

— Крис?

Обернулся высокий, спортивного сложения блондин, в синих джинсах и хлопковой куртке.

— Но у меня уже есть билет. Помните? Я, Тэд Гомез и Майк Риз.

— Ах да... Извини, Крис, совсем забыла.

Кэй удалось заинтересовать еще троих студентов, все с симпатичными именами — Стив, Кэрри, Джейд, но окончательного согласия она не получила ни от кого. Сантомассимо понимал, почему ей хочется продать побольше билетов — боится остаться одна. И здесь, и в Нью-Йорке. В аудиторию проникли убийства Хичкока. Вторглись в ее жизнь, как вторглись в его. Безопасности нет нигде.

— Спасибо, что посидел,— сказала Кэй, когда они остались одни.— Хотя лекция, правда, получилась так себе.

— А мне показалась удачной.— Сантомассимо улыбнулся.— Может, куда-нибудь сходим? Возможно, я сумею объяснить тебе все, когда мы останемся наедине.

Кэй взяла его под руку, прижалась к его плечу.

— Подальше, пожалуйста!

— Куда?

— Уведи меня от всех этих людей, Сантомассимо. Подальше от кино и зияющих черных пещер. Туда, где чисто, светло и тепло.

...Шелк...

Смех перебивал слова. Хохот сотрясал человека, сидящего на продавленном диванчике в самом сердце Голливуда, пока на глаза ему не навернулись слезы.

— О, Г-господи!.. Он был до того хорош! Совершенство... Нет, этот толстяк прямо-таки «Оскара» заслуживает...

Жаль только, не актерам Академических премий не присуждают.

И снова от раскатов хохота чуть не зашкалила стрелка уровня записи.

— Ф-фух, дерьмо! Надо успокоиться. Дело в конце концов нешуточное... «Оскар»...

...Шелк...

— Где спички? «Травку» без спички не раскурить. Главное правило. Черт, а прикурю-ка я от газовой плиты. Доброй старой плиты. Давно в духовку надо было бабку сунуть. А занялся вот выполнением этого проекта... Что ж, теперь про меня читают все... Пытаются присобачить мне прозвище... «Киношный охотник»? «Киноманьяк»? «Попкорновый псих»?.. У газетчиков этих все на штампах... Взяли б да назвали меня тем, кто я есть!

Режиссер!..

Человек уселся, умиротворенно покуривая, ловкие пальцы откупорили бутылку пива. Бульканье... он пил... Отдаленно — хруст попкорна...

Щелк... Магнитофон закрутился, записывая...

«Попкорновый убийца!» ...Смех...

— А что, ничего. В общем, как я уже сказал... Стив Сафран, телерепортер, похожий на буфер транзитного автобуса, сыграл великолепно. Блистательнее Чарльза Пирса, футболиста-недопеты. Сафран был — как бы это выразить... я восторгаюсь его талантом. Талант, о котором он не подозревал и сам. Вел себя так нетерпеливо, жадно, алчно; такой жирный, такой послушный, такой по-глупому умный. А когда я сишь его, выражение на лице... Господи! Ну тебе свинья на чикагской скотобойне!

Видеть, как Сафран глядит вверх, взгляд сфокусирован на мне, а он все летит и летит в бездну, в точности, как придумал Хичкок — наезд объектива, отъезд камеры... О, Господи! Как он шмякнулся на бетонный пол... разбрызгался на дне колодца лестницы... Я сделал это! В реальности!

Интересно, а Сафран видел «Иностранного корреспондента»?

Щелк... Человек принялся расхаживать по комнатухе... Взяв микрофон в руки, он записывал на ходу, говоря напористо, нетерпеливо...

— Мне не дают снимать фильмы... Они уже все сняты... Не могу ж я шагнуть на экран и стать их частью. Поэтому я воспроизвожу фильмы в реальности, в действительной жизни... Воспроизвожу сцены лучшего режиссера, какого Бог послал на землю... Это киноэпопея... Самая настоящая киноэпопея, перевертывающая душу!

Щелк... Текли часы... Человек все расхаживал... Стемнело... Правда, в этой квартирке всегда было сумеречно... Человек перебрал почту, швырнул на пол счета...

— Ничего! — пробормотал он. — Новый день и опять — ничего!

Комнату наполнили запахи жарящегося мяса. Со сковородки на грязные стены брызгал жир. Человек переложил мясо на грязную тарелку, прихватил пакетик попкорна.

Поел, сидя на диване, в окружении великолепия глянцевых афиш хичкоковских фильмов.

Щелк...

— Стипендии я так и не добился. Вроде бы уже говорил вам? Я подал заявление на режиссерскую стипендию, приложив сценарий, который написал на вечерних курсах. Но, видно, нужно быть чьим-то сыном или дочкой, чтобы добиться ее. А может, заплатить за нее сексом. Стипендии эти, сами понимаете, нарасхват. Конкуренция — глотку друг другу готовы перегрызть.

И в Университете Лос-Анджелеса то же самое. Дивное оборудование и несколько хороших преподавателей, во всяком случае, на сценарном отделении. Но все эти примадонны! Самомнения куча, а таланта ни на гран! Суется, снимая то феминистский фильм, то деконструктивистский, то дерьмовистский, не разбираясь ни черта даже в простейших основах, в том, что по-настоя-

цему двигает фильм. Возможно, даже и к лучшему, что меня не приняли. Но до собеседования я добрался. Мой сценарий произвел на них впечатление. Думаю, им захотелось взглянуть на парня, который отгрохал такой. Они сразу учуяли: в нем есть нечто опасное. Выламывающееся из общих норм. Никаких государственных дотаций на свои фильмы я не получаю. Это уж точно. Слишком взрывчатые, слишком злые.

Злые... Я рассказывал вам, что мою квартиру в Голливуде обчистили дважды, а в третий раз обворовали меня самого на бульваре? Весь город принесен в жертву. Бродяги, вымогатели, наркоманы, киношные студенты, актеришки и без конца секс, наркотики, деньги... товар, которым обмениваются. А четвертый товар — фильмы. Все, что угодно, ради шанса попасть хоть в какой-нибудь, пусть самый захудалый, фильмишко, но в настоящем кино. Мне тоже делались непристойные предложения, могу вам доложить. Умей эти парни и правда снимать фильмы, кто знает, может, и согласился бы.

Я даже занимался на вечерних актерских курсах. Потому что режиссер должен уметь общаться с этими бедными тупыми животными. Но меня обвинили, будто я украл деньги у учителя, и в отместку я разгромил всю аудиторию, меня арестовали — я был готов поубивать всех этих подонков, но они отказались от обвинений. Видно, почуяли, с кем имеют дело, из какого я сорта людей. И перед убийством не остановлюсь. Напугались...

Но калифорнийские актерские курсы — дыра, между прочим, самая настоящая. Уж не знаю, откуда они выкопали козлов, которые наводнили эту помойку. И в Валенсии оказались не лучшие. Только и есть, что Волшебная гора да апельсины растут. Я возненавидел и преподавателей, и студентов. Их нетронутый педантизм, торгашеский дух. Их положительность. Хотя фильмы они там делали ничего себе, а от мультипликаций я прямо балдел. Но я не собирался кончать, рисуя маски для режиссера специальных эффектов. Я отсидел семинары по двум предметам и бросил. Декан сказал, чтоб я больше не пытался восстанавливаться у них.

А в Лос-Анджелесе конкуренция, куда ни ткнешься. И побеждает один из тысячи. Хоть по Голливуд-бульвару прогуляйтесь. Хоть по Сансет-бульвару. Да просто вон выгляньте из моего дерьмового окошка. Толпы недоучек, неудачников, еще молодых, еще не смирившихся, обалдевших от провала, не желающих постигнуть, что их уже выбросили на свалку жизни и единственное их спасение — бегом мчаться назад в бухгалтерскую фирму папочки и умолять дать им работу. Все эти курсы надо расследовать, а деканов в тюрьму упечь. Работы для их выпускников нет нигде. Сколько работают на профессиональных студиях? Снимают настоящие фильмы? — Один процент. И то еще неизвестно, наскребется ли хоть один-то. Курсы просто соблазняют простачков, чтобы выкачать плату за обучение.

Есть причина, почему я пустился рассказывать о всяких киношных курсах. Я не перелопачиваю дерьмо без причины. Вы ведь так не думаете, правда? А если так, то и проваливайте к чертям собачьим! Нет. Все, что я говорю, все, что делаю, имеет свой

мотивы. Как эпизоды фильма, все ведет к главной кульминации. Так что угонитесь, сосредоточьтесь, глядишь, что-то из моего рассказа и дойдет до вас. Хотя тогда, конечно, будет слишком поздно. Но так уж заведено в шоу-бизнесе. Ха-ха! Итак, я расскажу вам о выпускниках киношных курсов.

Они заполняют бульвары, как полчища тараканов. 99 процентов из них — неудачники, но ясноглазые наивные ребяташки, которые еще учатся на курсах, даже не замечают их.

Моему кузену еще повезло в сравнении с тем, что уготовано им. Шелк...

— Не такие уж они болваны, оказывается... Хоть этот коп — Сантомассимо... его интервьюировал преемник Сафрана... Мне кажется, Сантомассимо догадался. Я чувствую — догадался...

И Квинн тоже совсем не дура... Очень хороша... В своем Хичкоке разбирается здорово... для нее он интеллектуальный, визуально мощный... в другой жизни я, пожалуй, мог бы даже полюбить ее... Но сейчас слишком поздно... может быть, этот эпизод посвящу ей... в память... Посвящается Кэй Квинн...

Видел ее с Сантомассимо... Колоритная пара... Думаю, они трахаются...

По-моему, я забыл упомянуть, что записался на факультет Кино. Занимаюсь в семинаре «Хичкок-500». Благотворно действует мне на мозги. Это тихая гавань. Хорошо одеваюсь туда. Записываю лекции. Делаю все, что и другие студенты. А между тем...

Режиссирую...

Мне кажется, моя режиссура становится все отточеннее. С Сафраном получилось шикарно. Охота на охотника. Нашлись охотники половчее. Сантомассимо... Кэй Квинн... что за имя такое Сантомассимо? На кого он похож?.. На Фарли Грэнджер, может?.. Занятие — коп. Она — учительница. Коп. Учительница. Подходящие профессии... Излюбленные хичкоковские типажи... Следующий эпизод потребует тщательной разработки... Где мой блокнот?.. Эскизы... Раскадровка...

Кэй Квинн посвящается... покойной...

ЗАТЕМНЕНИЕ!

10

Сантомассимо отвез Кэй домой. Она вышла из машины и отперла калитку. За калиткой открывалась керамическая чаша фонтана в павлинах и ивах, а на воде плавали лилии, росли камыши. По дну мелькала черная зубатка. Между растений на поверхности сновала золотая рыбка. Тени их виднелись смутно, изломанные и затемненные веерами пальмы.

— Правда, здесь чудесно? — заметила Кэй.

— А кто тут живет? — поинтересовался Сантомассимо.

— В основном интеллигенция. Адвокаты. Студенты-медики. И одинокий профессор. Во всяком случае, у нас никто не закатывает буйных вечеринок.

— Давно тут живешь?

— Три года. По лос-анджелесским меркам это долго. Въехала сюда, меня взяли на работу в университет. Прежде снимала квартиры у всяких неприятных домовладельцев.

— Похоже на виллу моего дяди Паоло.

— Да, дом в итальянском стиле, — согласилась Кэй. — Вернее, в псевдоитальянском. Зайдешь на чашечку кофе?

— Я бы с удовольствием. Но не могу.

— А кофе хороший...

— Зашел бы и не ради кофе.

— Тебе, правда, пора возвращаться?

— Боюсь, да.

Лифт поднял их на верхний этаж, к ее квартире. У дверей он обнял ее за плечи. Она замерла.

— Кэй... ты сама знаешь, ты мне очень нравишься!

Фрэд погладил ее по лицу. Кэй поцеловала его руку.

— Ты смущаешь меня, Великий Святой, — тихо проговорила она. — Ужасно не хочется, чтоб ты уходил. Зайди, пожалуйста.

— Не могу, Кэй. Пора идти.

Она поцеловала его в щеку и улыбнулась:

— Вот вернусь из Нью-Йорка, наверстаем упущенное.

— Долго пробудешь в Нью-Йорке?

— В понедельник вечером уже вернусь. Не так уж и надолго, правда?

— Я буду скучать по тебе, профессор. Когда улетает твой самолет?

— Завтра вечером в 10.45. Дешевенький рейс. Дешевая пицца. Дешевый отель...

— А какой?

Кэй состроила кислую гримасу.

— «Дарби» на 55-й Западной. — Лицо ее осветилось. — Что, хочешь приехать?

— Хотел бы, но не могу. А в аэропорт тебя отвезу.

— Договорились, Амадео.

— Ты единственная женщина в мире, кроме матери, которой я разрешаю называть себя так.

Кэй тихонько засмеялась и прикрыла дверь. Сантомассимо подождал, пока защелкнулись оба замка. Спустился вниз. Оглянулся. Во дворе — пусто. Но в атмосфере было что-то зловещее. Слово и керамические плитки, и лилии, и пальмы, камыши и золотая рыбка тоже испугались надвигающихся густеющих сумерек.

В машине он взял микрофон.

— Джим! Это Сантомассимо.

— Сэр?

— Джим, я прошу полицейской защиты для профессора Квинн.

— Сэр, но она не попадает под нашу юрисдикцию. Капитан Эмери ни за что не разрешит...

— Позвони в Центральное капитану Перри. Скажи, касается расследования «Хичкока». Скажи, наш эксперт нуждается в охране. Розмари драйв, 1266. Понял?

— Капитана удар хватит.

— Да шевелись ты, Джим!

Кэй включила свет. В наступившей тишине прислонилась к двери, раздумывая о новом странном явлении в своей жизни. Явление это — коп! И имя какое-то необыкновенное — Фрэд Сантомассимо. Амадео Сантомассимо. Сердитый в душе. Сердитый и уязвленный. Бойтся давать волю чувствам. Но все-таки такой теплый, незащищенный и нежный.

Она включила лампу у тахты. В ее квартире было аккуратно прибрано — убежище от беспорядка на факультете, от преподавания. На стенах висели фото старой «Иллинг студии», редкое фото молодого Алфреда Хичкока, сына бакалейщика, уроженца лондонского Ист-Энда.

А на полу желтело зернышко попкорна.

Кэй обмерла. Застыв, она смотрела на него. Прислушалась. В квартире тихо. Она медленно оглянулась. Ковер, письменный стол... дверь в спальню чуть приотворена...

Кэй неслышно отступила, пока не достигла окна. Она выглянула в прорези жалюзи. Сантомассимо маневрировал взад-вперед, выезжая с дорожки. Кэй рванула раму. Но ее заело. Она обернулась. Дверь в спальню легонько подрагивала. Кэй яростно рвала окно.

Заперто. Она потянулась, отперла и рывком подняла раму.

Огромная безумная тень вырвалась из спальни, визжа, влетела в гостиную, промахнула над письменным столом и толкнула Кэй на книжный шкаф.

— О, Господи!..

Сокол метнулся, задел Кэй когтистыми лапами по лицу.

— Фрэд! — закричала она.

На плечи каскадом обрушились книги. Она загородила лицо, но огромная птица рвала ей руки. Повинуясь слепому инстинкту, Кэй молотила по воздуху, кулаки ее скользили по крыльям.

— Фрэд!

Сокол ударил клювом, целя в глаза, промахнулся, но оставил глубокую рану на лбу.

— Фрэд!!

Сантомассимо резко тормознул, скользнул по сиденью и взглянул вверх.

Он увидел Кэй. Опрокинулся шкаф, полетела лампа... Сантомассимо вырубил мотор, вывалился из машины и рванул к калитке.

— Кэй!..

Он услышал, как она визжит, и хлопанье крыльев; так бьет крыльями разъяренная птица, готовясь к убийству.

— Кэй! — завопил он. — Кэй!

В гостиной Кэй ползла к двери на четвереньках. Юбка у нее была разодрана, полоски крови проступили на желтой блузке. Сокол над ней расправил крылья и ринулся опять, долбя клювом, подбираясь к глазам.

Она мельком увидела загнутый хищный клюв, забитый ее волосами, злобное безумное сверкание глаз, горящих угольно-черными точками зрачков.

Птица издала дикий торжествующий клетот. Кэй споткнулась о длинную тахту и свалилась на пол. Сокол налетел ей на грудь, раздирая, царапая, метя в большую вену на шее.

— Фрэд... О Господи! Господи!..

— Откройте! Кто-нибудь! Откройте! — вопил Фрэд в домофон, давя пальцем кнопку Кэй. — Кэй! Дверь!

Кэй заслонила подушкой лицо. Та взорвалась перьями под напором птицы. Кровь — ее кровь — пятнала материю. Рот Кэй забили белые и коричневые перышки. Сокол взмыл, захлопал крыльями, стал парить по квартире.

На долю секунды он присел между ней и дверью на разоренный кофейный столик, пристально оглядывая Кэй, словно бы выискивая тайные местечки на большой вене на шее. Кэй овладело чудовищное чувство, будто она очутилась в фильме ужасов, в гротескном хичкоковском гран-гиньоле. Она ощущала его насмешливое присутствие, он довольно улыбался, наблюдая где-то на границе съёмочной площадки.

Сокол будто тоже насмешливо усмехался. Он точно знал — ей не спастись.

— Кэй! — кричал из домофона Сантомассимо. — Дверь! Открой дверь!

Кэй загородилась руками, внезапная атака сокола отшвырнула ее от двери. Клетот птицы сливался с криками Сантомассимо. Дверной звонок трещал непрерывно, безумно.

— Кэй!

— Фрэд! Господи...

Теперь сокол стал неутомим. Он гнал ее в спальню. Она швыряла в него лампой, кофейником, керамической вазой, чувствуя, что слабеет с каждой минутой.

— Фрэд... — запинаясь, шептала Кэй. — Господи... спаси меня!

Сантомассимо опять нажал все кнопки подряд. Наконец кто-то отпер калитку. Сантомассимо распахнул ее, ворвался во двор.

Из-за своей двери выглядывала пожилая дама в халате.

— Что тут за суматоха? Что за грохот?

Сантомассимо бросился к лифту, на бегу передумал и помчался по лестнице через три ступеньки зараз. Напуганная пожилая дама захлопнула дверь.

Фрэд подскочил к двери Кэй, забарабанил по ней. Он слышал, как она плачет, слышал мощное хлопанье крыльев.

Кэй ковыляла по стенке. Сокол избрал новую тактику. Отлетев к дальнему концу комнаты, он развернулся и, когда Кэй попыталась отступить, налетел на нее с бешеной скоростью. Она упала на письменный стол.

— Фрэд... Помогни!

Сантомассимо колотил в дверь.

— Кэй! Постарайся отпереть!

— Я... не могу...

— Ты должна! Отопри!

Кэй увернулась от хлопающих крыльев и побежала к двери, не обращая внимания на сокола, приготовившегося спикировать на нее из-под потолка.

Израненной рукой Кэй потянулась к двойным запорам. Сдви-

нула задвижку, и тут же сокол долбанул ее по руке, на дверь брызнула кровь.

— О... Фрэд...

Голос ее стал неузнаваем. Страдальческий, угасающий... Кро-воточащие пальцы шарили вслепую, наконец, попав на цепочку, сбросили ее.

И Кэй свалилась на пол. Сантомассимо удалось протиснуться в щель лишь наполовину. Но он учуял запах крови, увидел разоренную комнату и почувствовал, еще даже не увидев, как пронес-лись над ним темные острые когти.

— Иисус!— завопил он.

Кэй приподнялась с пола. С трудом села. Она больше не сообра-жала, где находится. Зрачки расширились от ужаса.

Сантомассимо иступленно колотил по воздуху. Разъяренный сокол налетал на него, раздирая в клочья костюм. По шее Фрэда уже текла кровь. Он схватил афганское одеяло и хлестнул сокола. Сокол будто удивился, отлетел к опрокинутому шкафу. Тяжело дыша, стиснув зубы, Сантомассимо шагнул вперед и хлестал одеялом снова и снова, его удары заставляли сокола отступать.

— Что, не нравится? На тебе! Получи!

Сокол оказался у стены, потом отлетел, ударился о стену, захо-пал огромными крыльями. Наконец, отыскав открытое окно, вылетел. На улице сокол подлетел к фонарному столбу, непода-леку от дома, и неслышно сел.

Сантомассимо опустил раму и, шатаясь, вернулся к тахте. Кэй стонала, он ласково поднял ее с пола.

— Все в порядке, Кэй. Милая Кэй... О Боже, во всем виноват я... моя вина...

Фрэд крепко обнял ее. Провел пальцами по лицу. Раны были не такими глубокими, как он опасался. Но напугана она была до смерти.

— Все кончено!— шептал он.— Все кончено, прошло!

Но каждый раз, выглядывая в окно, он видел: сокол еще тут, еще наблюдает, невозмутимо восседая на фонарном столбе. Неслышно огромная птица снялась с фонаря. Крылья заслонили его свет, и сокол заскользил все дальше и дальше, пока не раство-рился в темноте.

— Фрэд?... Он хотел убить меня...

— Тише, тише... Сокол уже улетел... улетел...

Сокол плыл над мостовой переулка. Ноги его были вытянуты вперед, крылья выгнуты аркой назад, а туловище устремлено кверху. Быстро трепетали кончики крыльев, а когти цеплялись за черную кожаную перчатку на кулаке человека.

...На голову сокола натянута черная колпачок. Он сидит совер-шенно спокойно.

Руки сунули птицу в черный кожаный чемодан с вентиляцион-ными отверстиями. Перчатку сняли, засунули в карман куртки. Руки защелкнули замочки на чемодане, и чемодан, ставший очень тяжелым, поднялся над парой потрепанных белых «Ри-боков».

Человек зашагал, насвистывая, по тротуару. Свист нарушал

покой ночи, тихим эхом отзывался в проулке. Мелодия отрывистая, четкая, звучавшая то торжественно, то медленно, словно похоронный напев, ритмически замаскированный под марш.

«Похоронный марш марионеток» Шарля Гуно.

Щелк...

— Профессор Квинн... Дорогая моя профессор Кэй Квинн... Сокол за десять минут научил тебя большому о Хичкоке, чем ты узнала за четыре года в институте... Интересно, мне дадут за это степень? Ага, третью... Ха-ха-ха! Третью степень наказания дадут... Ха-ха-ха!

Магнитофон крутился, записывая... Голос стал тяжелым, почти монотонным...

— Расскажу вам, чтоб не считали, будто мои заявления о моем таланте — чушь собачья, самообман. Мой сценарий — тот, который я написал в Нью-Йорке, переработал в Лос-Анджелесе и отдал заново на каких-то тупоумных вечерних курсах, а потом редактировал еще, тот самый сценарий, слушайте, в который я вложил свое мышление, кровь, все, что знаю о кино, о жизни. Кстати, он не был насквозь жестоким, в нем бывала и отвергнутая любовь, и поразительная нежность. О, вы бы удивились, каким нежным я могу быть... Так вот, этот самый сценарий — послушайте только! — нашел свою нишу в кино. Не совсем, правда, ту, как я надеялся.

Слушайте.

Этот сценарий был о разрушенных мечтах и желаниях — слишком реальных, слишком сладких для нашего мира...

Я принес его в агентство «Кассо, Дитерлинг и Борн». Самое крупное агентство талантов в Лос-Анджелесе. А может, и во всем мире. Сердце у меня колотилось, как бешеное, и я был разочарован, как же непрофессионально я себя веду! Потел, как свинья. Со стороны не видно, но я знал, и мне было стыдно, что я так переживаю. Ведь сценарий, доложу я вам, был великолепен. Сложные характеры. Нельзя было не сочувствовать им. А развязка! О-о!.. Иисус!..

Такие развязки осеняют вас милостью Божьей.

Сценарий я сначала зарегистрировал в Гильдии писателей — те ищут мне штампик на первую страницу — и отдал младшему клерку. Некой мисс Ховард, веснучатой, умненькой альбиноске с жесткими пружинистыми колечками волос, в толстых очках, похожей на белого дикобраза. Сценаристка-неудачница. Их узнаешь сразу. В общем, положила она мой сценарий на кипу других, уже скопившихся на столе, и обещала почитать.

Ждал я две недели. Я не из самых терпеливых. Это вы уже поняли. Миновало три недели. Я превратился в комок нервов. Имеете представление, какие двери распахиваются перед человеком, если первый сценарий возьмут к постановке? Нет, разумеется. Но я имею. И могу доложить вам: разница, как между жизнью и смертью. Меня ведь не манила перспектива кончать жизнь в комнатухе, вроде мисс Ховард, так?

В конце месяца я отправился в агентство и промаршировал в приемную «белоснежки». Эта стерва даже позабыла обо мне.

Зато мой сценарий помнила прекрасно. Заметьте себе — бледно-желтый бурдучок передала сценарий с одобрительной пометкой главному читателю — тину под названием Зелх.

Итак, ввалился я в кабинет Зелха, вид из окна открывался потрясающий, кстати, а мебель — черная, кожаная, такой красивой я и не видел никогда. По-моему, Зелх голубой. Он, само собой, мигом выбросил меня. Но сначала все-таки сказал, что непременно прочитает сценарий на этой же неделе.

Я похудел фунтов на десять. Так нервничал, что не мог есть, только курил и наливался кофе и пивом.

Зелх так и не позвонил. А его секретарша никогда не соединяла меня с ним. Я названивал раза по три в день. Вечно одна и та же песня — мистер Зелх на сценарной конференции. Неужели у агента круглые сутки сценарные конференции? Наконец я сочинил фальшивое письмо от имени своего будто бы адвоката, потребовав ответа в течение недели. И получил письмо от секретарши. Она сообщала, Зелх назначает мне встречу на четверг.

День стоял прекрасный. Прошел дождь, и Лос-Анджелес смотрелся чистеньким, умытым до самых вершин Сан-Бернардино. Я чувствовал себя заново родившимся. Внутри я благодарил Бога — да, даже так. Он существует где-то, и я благодарил его за все страдания, боль и разочарования, потому что они дали мне силы и способность постижения сути вещей и решимость вытерпеть все.

С Зелхом я так и не встретился. Он уехал в Рим на переговоры не то с Понти, не то еще с какой итальянской важной персоной. Меня проводили к главе агентства, самому Дитерлингу.

Он едва смотрел на меня. Отдал мой сценарий — когда я передавал его им, рукопись была в безукоризненном виде, а теперь вся замусоленная, с загнутыми углами. Дитерлинг начал мямлить, что сценарий де прелюбопытный. Но странное совпадение, они как раз только что запустили фильм в точности на такой же сюжет.

Даже если я сойду в могилу через тысячу лет, то все равно не забуду усмешечку, танцевавшую в уголках его губ.

По-видимому, я затеял скандал. Помню, вбежала секретарша с охранником. У Дитерлинга, очевидно, была под столом кнопка, и он на нее нажал — я визжал, обзывал его фашистом, гробокопателем, плагиатором. Вопил, что подам на них в суд. Взорву к чертовой матери бомбой их агентство. Поубиваю его детей.

А он все так же мило улыбался. Даже когда меня волокли в коридор, заломив руки за спину. Приятного вам дня, пожелал на прощание он.

Перед тем, как выбросить меня на улицу, охранник предупредил, что, если я еще хочу работать в этом городе, мне лучше всего заткнуться, потому что у Дитерлинга связи со всеми другими агентствами и он друг-приятель многих директоров студий. Я в сравнении с Дитерлингом — мелкая рыбешка, пара телефонных звонков от него, и я поимею такую дурную репутацию, что мне и полкорна в киношке не продадут.

А вот, кстати, попкорн я люблю с настоящим маслом и подсоленный покруче. Попкорн такой я могу жевать килограммами.

Вот так и произошло с моим сценарием. Посоветовался я в Гильдии сценаристов. Они сказали, что я, конечно, могу подать в суд, но у кого же есть столько денег? Кроме того, Дитерлинг наверняка поменяет реплику тут, вставит новенькую характерную деталь там. В этом городе гуляют буквально тысячи сценариев. Совпадения неизбежны. И ни один судья не вынесет решения в пользу истца.

Месяцев через девять-десять я увидел свой фильм. «Пейзаж Любви». Может, и вы смотрели его. Действие они из Калифорнии перенесли в Нью-Мехико, героя сделали на десяток лет старше и поменяли ему профессию. Еще внесли пару косметических поправок, но сценарий остался мой. Я произносил реплики, слегка подправленные, в унисон с актерами. Целые эпизоды, чуть отредактированные, и все-таки я знал их наизусть! Черт подери! Как же иначе! Ведь я сам и написал все!

Наконец зрители позади велели мне заткнуться, подошла билетерша и попросила меня выйти. Я ушел, нельзя сказать, что так уж деликатно.

Но мне необходимо режиссировать. Для меня режиссировать — одержимость, которую я могу сравнить только с попытками выплыть в стремительной, бурной реке. Не очень поэтичная метафора, верно? Но так оно и есть на самом деле. Если я... не выражу себя... каким-то образом, я утону. Моя душа потонет. Если у вас есть душа, может, вы поймете...

Шелк...

— Проклятущая птица... разодрала мне руку...

Шелк... Магнитофон крутился, записывая... Минуты спустя... или часы? Недели?..

— Приходилось сжигать сокола в мусоросжигателе. Ха-ха-ха! Поймите меня правильно. Животных я люблю не меньше любого другого. Но мне точно ни к чему, чтоб он пугался у меня в квартире. Эта дерьмовая птица все время прилетает обратно ко мне.

— Эй, Джо! Гляди-ка, дохлая птица в мусорном баке. У кого-то, видно, рано наступил День Благодарения. Ха-ха, Христос! Вот так падаль!

Давай и дальше так, парень!

СНЯТО! СНЯТО!

11

Сокол-сапсан взмыл в синее небо, перекувырнулся и стрелой кинулся к земле. Крылья его распушились, замедляя падение, блеснули на солнце и снова замахали, увлекая вниз.

Мередит свистел в свисток. Свист, слышный только для сокола. Большая птица мелькнула над клетками ранчо, обогнула деревья на пригорке. Сантомассимо увернулся, когда, расправив крылья, заслоняя солнце, сокол приземлился на перчатку Мередита. Мередит надел черный колпачок на голову сокола. Птица затихла.

Лет Мередиту было около шестидесяти трех. Поджарый, глаза за выпуклыми линзами казались вдвое больше, чем были, на

поясе болтался зачехленный длинный нож. Черные кожаные сапоги доходили почти до колен.

— Вот так свисток! — заметил Бронте.

— Да уж. Такой слышит только сокол. Слух у соколов! Слышат, как кролик за милю от них икнет.

Мередит был руководителем Американской Ассоциации соколиной охоты. С виду очень нервный. Лу Бронте и Фрэд Сантомассимо слушали его крайне внимательно, отчего он нервничал еще больше. Мередит смотрел на этих двоих в городской одежде: двое полисменов казались в его коралле совершенно неуместными и оттого угрожающими.

Сантомассимо посмотрел на лапы сокола, туловище, неподвижное под колпачком, когти, терзающие черную перчатку Мередита. От вида птицы его пробирали мурашки.

— Это сокол-сапсан, — объяснял им Мередит. — Король среди хищников. Главная характеристика — мастер атаки. Он преследует. Убивает. Абсолютно неутомим. Видит за пять миль. Если достаточно голоден, то нападает на животное размером с него самого.

— Но не крупнее? — уточнил Сантомассимо. — На человека, например?

Мередит покачал головой. Вопрос оскорбил его.

— Никогда не слышал, чтобы на человека нападал!

— Даже с голоду?

— Нет, что вы!

Бронте всматривался в птицу. Та почуяла его близость, напряглась, Бронте отступил. Его гипнотизировали когти, те вылезали из-под напрягшегося туловища, точно грязные кривые шприцы.

— Птица была заперта в спальне несколько часов, — сказал Бронте. — А может, и весь день. Возможно, перед этим ее морили голодом.

— И сокол напал на человека, — упорствовал Сантомассимо. — Как только женщина вошла в свою квартиру, он кинулся на нее.

Мередит уперся тоже.

— Нет, сэр, я этому не верю. Сапсаны не едят человечины.

— Но, может, из страха? — предположил Бронте.

— Нет. Она бы улетела. Она нападает только ради еды. На кроликов, лисят, белок.

Сантомассимо закурил. Мередит беспокойно наблюдал за ним. В пэддоке всюду валялась сухая солома. Неподалеку стояли лошади. До Сантомассимо доносился их запах. Мередит опасался, как бы от спички не занялся пожар. И держать сокола на руке тоже было тяжело.

— Извините меня, джентльмены.

Он понес птицу к огромной клетке. Бережно оторвал когти от перчатки и перенес сокола на деревянную жердочку в проволочной клетке. Запер дверцу. Несмотря на все заверения сокольника, Сантомассимо чувствовал, что Мередиту стало спокойнее, когда он запер сокола. Все смотрели на сапсана. В черном капюшоне, как какой-то древний инквизитор, он восседал — нахохлившийся, смертоносный, опасный, окутанный тайной, непостижимый в своих яростных инстинктах к насилию.

— О, я не говорю, что большой харриер или сапсан не могут нанести тяжелых увечий человеку — у меня у самого стеклянный глаз, видите? Но это случается из-за того, что птица сама не понимает, что творит. Недооценивает своих сил. Когти его могут разодрать тело даже не нарочно, так, случайно зацепить. Но — убивать? Нет, такого в моей практике не бывало.

— Но я сам сражался с соколом, мистер Мередит! — настаивал Сантомассимо. — И птичка совсем не играла!

— Со всем уважением, — Мередит покачал головой, поглядывая на руку Сантомассимо, свежую ссадину под глазом, — я очень сомневаюсь, чтобы сокола поместили в квартиру с целью убийства.

— Но птица же напала! — мягко указал Бронте.

— Ну, если с соколом плохо обрацались, возможно, он и может напасть на человека. Но убивать — нет. Только напугать.

— А сапсанов трудно дрессировать?

— Конечно. Но требуется на это всего пара месяцев. Ими двигает голод. Все просто. Они, как машинки для убийства. Но только ради пищи.

— А можно выдрессировать их на другое? Например, чтобы они бросались в лицо человеку?

— Не говорю, что совсем уж невозможно, — проговорил Мередит. — Птицу можно натаскивать на приманку — связать для нее пищу с определенным силуэтом. Конечно, надо иметь большое воображение, даже чтобы придумать эдакое.

— Вы продаете соколов? — спросил вдруг Бронте.

Мередит оглянулся на него. Полисмены думают одинаково и становятся агрессивными. Это злило Мередита. И он чувствовал себя виноватым, непонятно почему.

— Членам Ассоциации соколиной охоты — да.

— Исключительно им?

— Э... э... главным образом.

— А вы проверяете членство?

— Прощу обычно членскую карточку.

— А если я дома забыл?

Мередит промолчал, потом ответил:

— Иногда членство принимается как должное. Если вы знающий человек, показываете умение в обращении с соколами...

— А за сколько вы их продаете? — поинтересовался Бронте.

Мередит, застигнутый перекрестным огнем вопросов, крутился направо и налево, то к одному, то к другому. Он прислонился было к воротам пэддока, но те качнулись, особой поддержки от них не было.

— Тысяч по пять, — признался он.

Сантомассимо присвистнул.

— А недавно никому не продавали?

— Несколько штук.

— Не членам Ассоциации?

— Можно взглянуть. Зайдемте в контору, я посмотрю.

— Да, не мешало бы, мистер Мередит.

Они последовали за Мередитом под прохладную тень навеса ранчо, где в передней комнате, обшитой фанерными панелями и

увешанной сертификатами и наградами, помещалась его контора.

— Ничего незаконного, джентльмены, я не совершал,— твердил Мередит.— Продавал честно. У меня хорошая репутация, я известен во всем каньоне. Я пятнадцать лет президент Ассоциации.

— Покажите просто записи о продаже, мистер Мередит,— попросил Сантомассимо.— У вас фиксируются все продажи?

— Да, сэр.

Сантомассимо начал изучать бухгалтерскую книгу. Палец его бегал по колонкам, страница за страницей. Против большинства имен стояло АСО. Лишь у некоторых пометки не было.

— А кто вот этот? — поинтересовался Бронте.

— Гарриет Сентер. Она из Тафта, Роуд Айленд. Ей мне пришлось переправлять птиц специальным транспортом. В некоторых штатах они считаются опасными. Бумажная работа, скажу вам...

— А кто она?

— Гарриет Сентер.— Мередит посмотрел на запись.— Англичанка, очень старая, обожает Вальтер Скотта. Адрес — 481 Дженкинс-авеню, 207 555-1173. Это было два года назад.

Вынув черный блокнот, Бронте записал информацию. Мередит разошелся, припоминая старых клиентов, особые проблемы кормления соколов, окружение.

— Давайте перейдем к продажам посвежее! — перебил его Сантомассимо.

— Хорошо, лейтенант. Вот 16 июля этого года. Продал Митчеллу Бреннеру из Ингльвуда, 2636 Мапл-авеню. Телефона нет.

— Каков из себя?

— Капитан ВВС в отставке. Хотя нет. Это я вспомнил о Митчелле Райдере, из Мемфиса. Это он отставной капитан ВВС, очень симпатичный. Даже ходили с ним удить на Рашин рыбу. Умер от рака. Уж если заболеешь раком поджелудочной железы...

— М-р Мередит, у нас время ограничено. Вы помните, каков из себя Бреннер Ингльвуд?

— Блондин. Молодой. Довольно симпатичный. Среднего роста. В соколиной охоте, безусловно, разбирается. И про все породы соколов знает. И детали соколиной охоты всякие. Прямо учебник мог бы написать. Я и решил, он — член Ассоциации. Но если нет, пусть сам и отдувается.

— Запиши адрес, Лу,— распорядился Сантомассимо.— Все, м-р Мередит? Больше никому за последние месяцы соколов не продавали?

— Нет, лейтенант.

— А в аренду их не сдают?

— Это все-таки живые существа, лейтенант, не мебель.

Сантомассимо пристально всмотрелся в водянистые голубые глаза Мередита.

— Бреннер заплатил чеком?

— Нет, наличными.

— Сколько?

— Три тысячи.

Сантомассимо сделал легкий итальянский жест Бронте. Бронте согласно кивнул. В конторе было так же неприглядно, как в пэд-доке. Бронте дал Мередиту карточку с номерами телефонов пэлисейдского участка. Сантомассимо уже направился к двери.

— Если вам что вспомнится о соколах, — бросил он на ходу, — или о Бреннере, или о ком-то еще — известите нас.

— Помогу, чем могу, — покраснев, Мередит любезно улыбнулся.

Двое детективов вышли на жаркое солнце.

— Хочешь, чтобы я проверил адрес Бреннера? — спросил Бронте. — А ты взгляни, как там Кэй.

— Проверишь, а, Лу?

— Без проблем.

Сантомассимо затормозил у дома и поднялся в квартиру Кэй. В комнатах был страшнейший кавардак. И чуть ли не холодно. Всюду опрокинутая мебель и сломанный стол, там, где Кэй загнали в ловушку.

Кэй быстро упаковывалась. Сантомассимо наблюдал за ней. Она стала казаться ему гораздо более одинокой, чем при первой встрече.

Фрэд осмотрел дверь на террасе. Сейчас она была заперта, но к ней легко было добраться с железной пожарной лестницы. Убийца, наверное, стоял в проулке и любовался представлением. С лучшего места в партере, подумал Сантомассимо.

Кэй храбро улыбалась, но ей не терпелось поскорее убраться из квартиры. Было 8.25. Сантомассимо снес чемодан в машину. Он быстро поехал к автостраде Санта-Моники, затем к Лонг-Бичу. Когда они проезжали Лойлу, лицо Кэй помрачнело, ее поразила неожиданная мысль.

— Но, Фрэд, откуда он вообще узнал про меня?

— Как ты и говорила в кабинете у окружного прокурора — скорее всего смешивался с толпой. Тут-то он и засек тебя. Со мной. Видел не однажды. Разнюхал, что ты учительница. Подходящий персонаж.

— Значит, он знает, что мы оба поняли его безумную игру. Как узнал и Стив Сафран. — Она повернулась к нему. — Ты будешь осторожен?

— В общем-то мне ничего больше так не хочется, как встретиться с нашим мистером Хичкоком, — сказал он, руки его крепко вцепились в руль. — Хочется высказать ему свою критику его фильмов лично.

Международный аэропорт Лос-Анджелеса бурлил. Оранжевые и синие огни на взлетных полосах дрожали в радужных облачках тумана. В стеклянных окнах терминала играл розовый отсвет. Подъезжали и отъезжали лимузины и наемные машины с посадочных грузовых площадок. Из вестибюля «Пан-Америкэн» выходили туристы с круглыми от восторга глазами, ошеломленные ослепительными огнями Лос-Анджелеса.

Сантомассимо зарегистрировал Кэй у стойки «Пан-Америкэн». Они спустились по длинному, в коврах, коридору, мимо службы

безопасности, киосков аэропорта. По терминалу разнесся последний вызов пассажиров на «Пан-Америкэн». Кэй и Сантомассимо влетели на площадку выхода. Когда они оказались там, стюардесса проворно проверила билет Кэй, вручила ей талон.

— А мои студенты в самолете? — спросила запыхавшаяся Кэй. — Из университета?

— Могу сказать только одно — в самолете все, кроме вас.

— Слава Богу. Еще минутку...

— Самолет улетает, профессор Квинн!

— Хорошо. О, Фрэд, пожалуйста, береги себя. Я позвоню.

Сантомассимо попытался поцеловать ее, но Кэй отступила.

— В самолете мои студенты.

— Профессорам любить не положено?

— До приема в штат — нет.

Она побежала по красному ковру в «747». Но вдруг рванулась обратно, крепко поцеловала его в губы. И снова побежала по коридору к самолету, помахав на бегу.

— Позвоню из Нью-Йорка! — снова пообещала она и скрылась в самолете.

Минутку подумав, Сантомассимо быстро зашагал к телефонной будке и набрал номер полицейского участка. Капитан Эмери, как всегда, работал допоздна.

— Билл? Сантомассимо. Только что отправил Кэй самолетом 10.45 в Нью-Йорк. Она будет жить в отеле «Дарби» на Западной 55-й стрит... — Сантомассимо приостановился, обдумывая следующую фразу. — Не то чтобы я беспокоился, Билл, но так, для страховки, звякни, чтобы те присмотрели за ней. Да... знаю, знаю... у них у самих там дел по горло, но, может, попытаешься? О'кей, Билл, прекрасно... большое спасибо.

В самолете Кэй пробиралась по длинному проходу. Руками в поясках нести сумку было трудно. Она прошла через салон бизнес-класса и наконец очутилась во втором классе. В дальнем конце поднялась знакомая фигура, махая рукой. Светловолосый паренек из ее семинара — Крис Хайндс.

— Сюда! Профессор Квинн! — позвал он.

Она кивнула, улыбнулась и направилась к нему. Вот наконец и ее место, между Крисом и еще одним студентом, Майком Ризом. Она попыталась затолкать сумку под сиденье впереди, но не сумела. Майк встал и аккуратно уложил сумку в ячейку. Кэй поблагодарила его дружелюбной улыбкой.

— Господи, профессор Квинн, — удивился Майк, — что случилось с вашими руками и лицом?

— На кухне обожглась.

— Как ужасно. Вы себя нормально чувствуете?

— Конечно. Просто плеснула кипятком. Сливала спагетти, представляете?

Теперь Крис обратил внимание на перевязанные руки.

— Ожоги третьей степени, профессор?

— Первая, вторая, третья! — легко засмеялась Кэй. — Никогда не могла разобраться, какая хуже! Но у меня слабые, так что все в порядке, не волнуйтесь.

— Мы поухаживаем за вами, профессор,— произнес голос позади. Это был высокий, худощавый Тэд Гомез.

— Очень приятно, Тэд. Спасибо.

Медленно, очень медленно, сзади потянулась рука. Коснулась ее шеи.

— Кто?.. — вскрикнула Кэй. Обернулась.

Над ее плечом склонилось лицо. Ассистент преподавателя Брэдли Бауэрс.

— Хэлло, профессор!

— Брэдли... Ты-то как тут очутился?

— Купил билет в последний момент. Решил, соблазн слишком велик.

— О, это чудесно, Брэдли! Я рада, что с нами еще один. Ты очень мне поможешь.

— Надеюсь и многое узнать, — отозвался Брэдли. — Не терпится попасть в Нью-Йорк. Здорово развлечемся!

— Да. Все будет замечательно.

12

Когда Кэй с ребятами прилетели в Кеннеди, носильщики в аэропорту бастовали. Тэд понес ее сумку, а Крис прокладывал путь через толпу, ведя всех к стоянке такси. Глаза у Майкла Риза покраснели, в такси он приложил к ним лекарство.

— Ничего себе полетик, — ворчал Брэдли. — В стиральной машине и то лучше б выпался.

Такси высадило их у отеля «Дарби» в 5.14 утра. Еще не рассвело. Дежурный клерк пролистал лохматую регистрационную книгу. Майк в ужасе вглядывался в стариков, спящих в вестибюле. Они явно не были постояльцами отеля. Даже на таком расстоянии от них несло вонью. Кэй обменялась с ним взглядами.

— Ну, что будем делать, Майк? Нам же необходимо поспать.

— Я могу выдержать, — храбро улыбнулся он, — если сможете вы, профессор.

— А остальные — как вы?

— Перетерпим. Лишь бы тут не водилось тараканов, — бодро откликнулся Крис.

— Тэд?

— Решайте вы. Только не ждите, что мне тут понравится.

— По-честному, отель этот — дыра страшная, — заметил Брэдли. — Спорю, у них даже лицензии нет. Грязища-то! Шторы, похоже, не стираны с той поры, как индейцы продали Америке свой остров.

— Да, но выбора у нас просто нет! — возразила Кэй.

Клерк нашел их фамилии в регистрационной книге.

— Да, вот — Квинн. Номера 334 и 336. — Он взглянул на Кэй. — А... в какой... то есть... как же вы все... Кто в какой точно поселится?

— Я заказывала отдельный номер для себя, и мне сказали, что будет комната для остальных, — сердито ответила Кэй.

— В комнате могут поместиться только трое, вы не предупредили про четвертого.

— Вы что, не можете раскладушку поставить?

— Извините, комната слишком маленькая. Правила пожарной безопасности... — Клерк побарабанил пальцами по грязной книге. — Так что кому-то придется ночевать с вами. Номера заказывали только на троих и на вас.

— Неслыханно! — возмутился Крис. — Это профессор Квинн, она прилетела из самой Калифорнии, чтобы провести тур...

— И может отправляться обратно в Калифорнию, сынок. Желающих у нас десятки. Все ждут свободных номеров. На уик-энды отели переполнены даже не в сезон. Вам еще чертовски повезло, что мы сумели забронировать комнаты для вас. А теперь решайте — нужны они вам или нет?

— Не смейте называть меня «сынок»! Не то берегитесь, книга ваша поменяет место!

Кэй встала между ними, смахнула волосы с глаз. Ей до одури хотелось спать, даже голова кружилась.

— Пожалуйста, можно взглянуть на комнаты?

— Комнаты превосходные...

— Но взглянуть сначала можно?

— Слушайте, я не обязан...

Тэд зашел за стойку, сорвал ключи от 334 и 336 номеров.

— Эй...

— Мы их берем! — заявил Тэд, поднимая сумку Кей вместе со своей.

— Не беспокойте ваших гостей, — добавил он, показывая на людей, свернувшихся в тени на кушетках.

Лифт не работал. На лестнице пахло чем-то вроде затхлой капусты брокколи, а в коридорах и того хуже. Брэдли открыл дверь 334-го. Кэй опасно заглянула... Мебель образца 50-х, обшарпанная, на розовом покрывале выжженная сигаретой дыра, обои во многих местах отвалились. И хотя вроде не грязно, притрагиваться ни к чему не хотелось. Даже издалека она могла сказать — кровать мягкая, как черствая лепешка. Спина у нее точно выйдет из строя. Ладно, она будет спать на кровати, а Брэдли устроится в кресле. Спать они легли, не раздеваясь.

Жалкое подобие сна. Часа через три их разбудили звонком, как они и просили. Заспанные, с заплетающимися ногами, они спустились в вестибюль, где их ждал полисмен. Здоровила с ирландской физиономией, карикатура на нью-йоркского копа. Он прикоснулся к шлему и обаятельно улыбнулся Кэй.

— Доброе утро, мэм! Дежурный сказал, вы — мисс Квинн.

— Да, — Кэй чуть нервничала. — А что, возникли какие-то проблемы?

— Нет, что вы, мэм! — улыбнулся он и предъявил удостоверение. — Меня зовут Даффи. Офицер первого класса из 28-го участка. Нам позвонили из Лос-Анджелеса, чтобы мы... хм... ну вроде как присмотрели за вами, пока вы гостите в Нью-Йорке.

По спине Кэй пробежал холодок. Неужели Фрэд считает, что и в Нью-Йорке ей грозит опасность?

— Что ж, спасибо, офицер, — ответила она. — Ценю вашу заботу. Но пока что все нормально.

— И прекрасно, мэм! — усмехнулся Даффи. — На нас ведь весь этот огромный проклятуший город, работы невпроворот. Так что постоянной охраны мы обеспечить вам не сможем, хотя со всем бы удовольствием. — Он вручил ей карточку. — Вот тут номер нашего отделения на случай, если вам потребуется помощь. Звоните в любое время дня и ночи.

Кэй взяла карточку, сунула в сумочку. Даффи притронулся к шлему и вышел через грязные вращающиеся двери.

Брэдли с другими студентами наблюдал сценку между полисменом и Кэй, вежливо держась в сторонке. Когда полисмен отошел, они поспешили к ней.

— Что ему понадобилось? — спросил Майк.

— Ничего. Проявлял нью-йоркское гостеприимство. Обычай у них такой.

Ребята смотрели на Кэй с сомнением.

— Ладно, двинулись, — скучно бросил Крис. — Давайте возьмем такси. Таксисту наверняка известен какой-то другой отель. В котором мы не погибнем.

Им пришлось подождать такси, куда вмещались пятеро. Когда все забрались, Брэдли с Тэдом устроились на откидные сиденья.

— Ну и поездочка! Гнусная, дальше некуда, — высказался Брэдли.

— Заткнись, Брэдли! — прикрикнул Майк. — И без тебя тошно.

Таксист отвез их в «Вилтон». Отель был старый, но дамский туалет чистенький, а кафе рядом с вестибюлем опрятное. Они ждали, пока клерк посмотрит, есть ли свободные номера.

В сентябрьском воздухе висела гарь от выхлопных газов. Гудение Манхэттена не стихало ни на минуту. Кэй вспомнила Сантомассимо. Он бы ни за что не вынес такой незлегантной обстановки. Но энергия Манхэттена начинала заряжать ее и ребят тоже. А тур опять сосредоточит мысли на фильме. Глоток новой жизни.

В дамской комнате Кэй сняла повязки, осмотрела над раковиной руки. Раны немножко подсохли. Она снова перевязала их и спустилась в вестибюль, где четверо ребят уже задремали на красных диванчиках. Кэй смотрела через огромное окно на бурлящий город. Какой же он яростный и равнодушный! — думала она. — Всегда необыкновенный, от него дух захватывает! Нью-Йорк — по-прежнему главный город мира! Может быть, уик-энд все-таки удастся.

У маньяка в игре уже есть первая ложка дегтя. Новой мишенью станет Сантомассимо. Кэй это чуяла нутром. У Хичкока фильмов о копах полно.

Но кто же, раздумывала она, гоняется по Лос-Анджелесу, охотясь на Великого Святого?

Той ночью Сантомассимо спал плохо. Шторы он не опустил, и яркое утреннее солнце било ему в лицо. Солнце и трезвонящий

телефон разбудили его. Толком не очухавшись, Фрэд потянулся за трубой.

— Великий Святой? — раздался издали жизнерадостный голос Кэй.

Сантомассимо тут же сел.

— Привет, — прохрипел он. И проснувшись окончательно, пободрей: — Сколько времени?

— Девять.

— Это в Нью-Йорке. А у нас — шесть.

— О-о! А я-то думала, копы никогда не спят!

— Лично я сплю. Мне сегодня на смену заступать только в полдень.

— К тому времени мы уже будем два часа ходить по святым местам: полицейский участок на Канал-стрит, вслед шагам Генри Фонда в фильме «Не тот человек». Звоню тебе сказать, что мы въехали в отель «Дарби», а потом выехали. Вонючая дыра оказалась, сумрачная, грязница и полно микробов.

— А сейчас где?

— Я в кафе «Вилтона» на углу 8-й и 40-й стрит.

— Вы там уже поселились?

— Пока нет. Ждем очереди. Отели все забиты. Но дежурный клерк заверил, что сможет поселить нас — многие должны съехать. Мы в списке первые. Да, между прочим, с какой стати ты напустил на нас копов?

— Что? — С минуту Сантомассимо не мог сообразить. Но тут же, вспомнив, сказал: — Значит, нью-йоркская полиция уже встретилась с вами?

— А то! — рассмеялась Кэй. — Прислали самого тупоумного копа. Такой очаровашка! Насквозь ирландец, как свинья Пэдди. Прямо с центральной актерской биржи!

— Ну и чудесно! Они рядом, если тебе потребуется. Но надеюсь, что нет. Хочу, чтобы ты про все забыла и развлекалась на всю катушку. Звякни вечером, когда устроитесь.

— Обязательно. А теперь отправляйся спать и не беспокойся обо мне, Фрэд! Рядом со мной четверо парней для защиты. Один даже футболист.

— Шикарно. Ты там в Нью-Йорке с красавчиками спортсменами, а я торчу в Лос-Анджелесе с Лу Бронте.

Мишенью стал Сантомассимо, и Кэй знала это. И он — тоже. Она догадалась об этом по его голосу. Кэй опять обуюл страх.

— Береги себя, милый! — прошептала она.

Майкл Гордон, мальчишка лет 12-ти, болтался перед «Базаром Удачи», когда к нему подошел мужчина со странной просьбой. Майкла, конечно, не раз предупреждали о незнакомцах. Он жил в Лос-Анджелесе, где ребятишкам известно о всяких отклонениях. Но человека он выслушал. Чудная просьба. Однако на тело Майкла тот явно не покушался. А 100 долларов — неплохие деньги, когда тебе 12 лет. И Майкл согласился.

Теперь он ерзал на заднем сиденье в жарком такси и допытывался у водителя:

— Вы знаете, где это?

— Да знаю, знаю.

Они проехали мимо пальм, мебельного магазина, магазина кожаных товаров, потянулась полоса ресторанов на бульваре Санта-Моника.

— Далеко еще? — не терпелось Майклу.

— Уже близко.

— Район этот мне знаком. Так что, гляди, не петляй.

— Я везу тебя напрямик в полицейский участок, малыш.

— Вот и порядок!

На коленях у Майкла лежал коричневый пакет.

Такси притормозило перед палисейдским полицейским участком. На ступеньках стояли несколько полисменов, а на стоянке блестел хвост патрульных машин.

— Подождите, — велел он таксисту. — Я сейчас, мигом.

И Майкл, сунув пакет под мышку, повернулся было идти, но водитель высунулся из окошка.

— Эй! А ну-ка осадил, малыш! Полно людей уходят, и след простыл!

— Да я только пакет передам. Честно. И бегом назад.

— А у меня счетчик щелкает. Деньги-то у тебя есть?

— Сказал же тебе! Денег у меня навалом!

— Ну гляди.

Майкл внес пакет в участок. Джерри Роллинс, служивший в полиции уже пять лет, притормозил его у стойки дежурного. Независимо шагая, Майкл совсем уж было миновал ее. Роллинс выскочил, сгреб его и развернул мальчишку лицом к себе.

— Не так быстро, мой маленький дружок! Кого ищем?

Майкл посмотрел на ярлык на коричневой оберточной бумаге, повернул пакет, чтобы прочитать.

— Лейтенанту Сан... Сант... том... там...

— Сантомассимо. Давай мне. Я передам.

— Но мне поручили отдать ему. Лично.

— Порядок. Лично ему и передам.

Майкл оглядел коридор.

— Давай, давай! — настаивал Роллинс.

Майкл рассудил, что уже сполна отработал сотню, данную незнакомцем. И протянул пакет Роллинсу.

— Только чтоб до полудня получил.

— До полудня? А что так?

Так наказывал Майклу незнакомец. Майкл только повторил.

— Пожалуйста, передайте обязательно до полудня.

Роллинс взглянул на часы над дверью. На них было полдвенадцатого.

— Ладно, не сомневайся, получит он пакет!

Майкл вышел. Роллинс наблюдал, как мальчишка усаживается в такси, и взглянул на ярлык на пакете.

Красная наклейка со штампом «УНИВЕРСИТЕТ ЮЖНОЙ КАЛИФОРНИИ. ФАКУЛЬТЕТ КИНО». Адресовано — Фреду Сантомассимо. Участок Палисейдс. Лос-Анджелесская полиция. Отправитель — Квинн».

Роллинс усмехнулся. Квинн — это профессор, помогавшая Сантомассимо в расследовании убийств «Хичкока». Роллинс

видел ее в новостях Стива Сафрана. Ну и ножки у нее! В отделении ходили сплетни, что они с Сантомассимо спелись.

Роллинс обернулся на шум шагов. Подошел детектив Хабер. Роллинс протянул пакет ему.

— Для его лейтенантства, — пошутил он.

— От Квинн, — взглянул Хабер на адрес. — Как думаешь, Джерри, что там? Спортивные рубашки?

— Поувесистее. Думаю, книга в подарок.

— Для Сантомассимо? Да он и читать-то не умеет!

Хабер все-таки обнюхал пакет, надеясь уловить аромат духов. Но унюхал только оберточную бумагу. Ну может, еще слабенький запашок пота посыльного.

— Малыш какой-то притащил. Просил — непременно передать Фрэду до полудня.

— Малыш? Что за малыш?

— Не знаю. Первый раз его видел.

— Хм. Смена Фрэда начинается только в полдень. Положу ему на стол.

И Хабер понес пакет по лестнице, в комнату полицейских. Окна в потолок, промытые утренним дождиком, сияли ярче обычного. Полицейских в комнате было битком. Столы все еще заняты. У стены детективы спорили о полицейском отчете, без передышки пищало радио, стучали пять пишущих машинок.

Бронте смотрел в окно с чашкой кофе в руке, когда к нему подошел Хабер и положил пакет на стол.

— Что это? — спросил он.

— Для Фрэда что-то, — пожал плечами Хабер. — От его подружки-профессора. Ну, как у вас тут?

— Все как обычно. Взломы. Изнасилование. Два мошенничества, не принесшие добычи. Обе жертвы в больнице. У одного разбита челюсть, у другого треснула ключица. Ничего, выживут.

— Нет, а из «Хичкока» что-нибудь есть?

— Пока ничего.

Хабер хохотнул.

— На уик-энд, может, смотаться. Надеюсь. Я уже устал. Этим летом у меня ни дня выходного.

— У всех так, Джон.

Бронте посмотрел на часы: 11.42. Допив кофе, он уселся за свой стол. Задумавшись, ждал Сантомассимо. Нового убийства психопата. С хитроумными вывертами, попкорном, сюрпризами. Скуку ежедневной рутины оно взорвет наверняка.

В комнату вошел Сантомассимо.

— А для тебя есть пакет! — сообщил Хабер. — От твоей... хм, приятельницы. Квинн.

— От Кэй?

— Ну да. Только что принесли.

Сантомассимо взглянул на пакет. Нахмурился. В недоумении Хабер с Бронте наблюдали за ним. Фрэд поднял пакет, осторожно взвесил на руке и так же осторожно положил на стол.

— Ты что, не собираешься открывать? — спросил Хабер.

— Когда он прибыл?

— Минут десять назад. Роллинсу его принес мальчишка. Какая-то служба доставки. А я принес сюда.

— Что за служба доставки?

— Не знаю, Фрэд. Взял пакет у Джерри и все.

— Приведи Роллинса.

Хабер кивнул, немного сконфуженный, и быстро спустился к столу дежурного. Бронте подошел к Сантомассимо ближе. Он положил руку на плечо Фрэда, оба смотрели на пакет.

— В чем дело, Фрэд? — осведомился Бронте.

— Пакет. С какой стати Кэй послала мне что-то?

— Может, книги о фильмах мастера. А может, она сентиментальна. Женщины, хм... такие тонкие натуры, такие выдумщицы.

— Про женщин я тоже знаю. А вот что подельывает тут этот пакет?

Сантомассимо обогнул стол, по-прежнему не отрывая взгляда от пакета, изучая красный ярлык с адресом.

— Когда же она успела послать его? — недоумевал он. — Вчера вечером я посадил ее на самолет в Нью-Йорк.

— Ну...

В комнату вошли Роллинс с Хабером. Хабер быстро отбуксировал Роллинса к столу Сантомассимо.

— Мальчишка, который принес пакет. Расскажи про него, — попросил Сантомассимо.

— Да самый обыкновенный мальчишка, лейтенант.

— Не в форме?

— Нет, сэр.

— В чем был одет, Роллинс?

— В брючата хорошенькие такие, тенниску. Лет 12-ти. И обратно поехал на такси.

В глазах Роллинса отразилось быстро нараставшее беспокойство. И тут же оно передалось Хаберу, детектив побледнел.

— Имя мальчишки узнал?

— Нет. А нужно было?

— Могло бы пригодиться, — саркастически отозвался Сантомассимо.

Из кабинета вышел капитан Эмери. Увидел группу у стола, заинтересовавшись, подошел и ощутил общую нервозность. С чего вдруг? Все, что он увидел, — самый обыкновенный коричневый пакет на столе Сантомассимо.

И тут же отчетливо услышал голос Бронте:

— Фрэд, ты думаешь — это бомба?

Глаза Сантомассимо были прикованы к пакету. Он подошел к длинной схеме с перечнем хичкоковских фильмов. Полицейские сгрудились вокруг стола, детективы и полисмены бросили пишущие машинки, радио и процессоры. В комнате наступила мертвая тишина.

— «Шантаж» под номером 17, убийство, — читал Сантомассимо, палец его водил по названиям фильмов.

В другой колонке стояли профессии жертв, методы убийства.

— «Человек, который слишком много знал», — медленно читал Фрэд, следуя по строчкам. — «39 ступеней», «Секретный агент»...

Хабер, Эмери и Бронте едва дышали. Глаза патрульных бежали по схеме быстрее, чем палец Сантомассимо. «Саботаж», «Молодые и невинные»...

— Эй, притормози-ка, Фрэд! — остановил Бронте.

— Что?

— Взгляни снова на «Саботаж». Занятие жертвы — детектив. Орудие убийства — бомба.

Сантомассимо облизал губы, отошел от схемы. Комната заплесала у него перед глазами.

Патрульные переглянулись, посмотрели на Сантомассимо, на схему, на Бронте, Хабера и Роллинса. Чуть позади стоял толком еще не врубившийся в ситуацию капитан Эмери, остальные застыли как парализованные.

— Что происходит? — потребовал Эмери.

Роллинс произнес, ни к кому в отдельности не адресуясь:

— Мальчишка сказал, чтоб тебе передали непременно до полудня.

Сантомассимо взглянул на часы: 11.59. Он быстро схватил пакет.

— Скорее! Открой окно!

Бронте колебался.

— ДА СКОРЕЕ ЖЕ!

Бронте подскочил к окну, рывком поднял раму, Сантомассимо крепко держал пакет, глаза у него были широко открыты, он уже мчался от стола.

Размахнувшись, Фрэд зашвырнул пакет на стоянку машин и тут же отскочил от окна, увлекая за собой Бронте. Коричневый пакет, плавно кувыркаясь, летел вниз, вниз — в центр асфальтовой площадки. Стукнулся, застыл между двух патрульных машин. И остался лежать, растрепанный.

Роллинс, сгорая от любопытства, осторожно приблизился к окну. Хабер и Эмери встали позади. Высунулись из окон и патрульные, припорошенные песком. Эмери покрутил головой:

— Ну ты, Фрэд, совсем уж чокнулся!

На стене щелкнуло. Патрульные и детективы, Хабер, Бронте, Роллинс и Сантомассимо невольно обернулись. Даже капитан Эмери повернул голову. Длинная красная стрелка часов, дрогнув, перескочила с 11.59 на 12.00.

Сантомассимо отвернулся, посмотрел на пакет вниз...

Белая вспышка пламени подбросила патрульные машины, швырнула их о кирпичную стену. Раздался скрежет металла, каскадом взметнулись осколки, куски асфальта, обивки, столбы жаркой пыли, а в комнату плеснули волны жара, опрокидывая лампы, сбивая телефоны, бумаги, кофейные чашки.

Из окон и дверей первого этажа посыпались стекла, Сантомассимо услышал визг секретарши. В асфальте зазияла дымящаяся воронка. Силой взрыва Сантомассимо и Бронте отбросило к дальней стене. Капитана Эмери — очки у него слетели, по лицу текла кровь — швырнуло назад, он хватался за вешалку, удерживаясь на ногах.

Роллинса садануло о боковую стенку. На него сыпалась штукатурка. Потом его ударило по ногам, и в облаках дыма и осколков

он увидел детектива Хабера в порванных на коленях брюках, тот пытался отползти назад, лицо у него почернело от сажи, на спину валились ящики из столов.

Патрульные и детективы со стонами ползали на четвереньках, руки конвульсивно сжимали то, что держали в момент взрыва: телефоны, осколки компьютеров, блокноты. Один из детективов уполз в коридор, ощупывая, нет ли на теле ран, и там потерял сознание.

— Что это за сумасшествие, Фрэд? — яростно и бессильно прошипел Эмери.

Сантомассимо прикрывал платком рот. Маслянистые клубы валили из одной загоревшейся машины. Снаружи крики, топот бегущих ног, сирены, с бульвара Санта-Моника влетели пожарные машины.

Врачи подскочили к нему, но он махнул им на раненых посерьезнее.

По всей комнате летали клочки схемы убийств Хичкока. Словно конфетти, свернувшиеся, почерневшие от взрыва. Обрывки строчек «Психо», «Бомба», «Торговец», «Склад», «Особняк на Пятой авеню», «Пустое поле», «Статуя Свободы», «Викторианский особняк», «Птицы», «Веревка», «Пистолет» — мешанина психопатических методов убийств, мест и профессий. «Саботаж» и «Саботажник», «Лондон и гора Рашмаор», «Нью-Йорк». В Нью-Йорке сейчас Кэй...

13

Сирена патрульной машины Сантомассимо пронзительно выла в жарком смоге над автострадой. Он гнал на 80 милях в час, и все-таки находились машины, не отстававшие от них. Некоторые даже маячили впереди на скоростной полосе. Мигали лампы на крыше, горели фары, но патрульной машине все равно пришлось сбавлять скорость: поток транспорта все густел, вскоре вытянулся хвост глянцевиных машин. Водители изнывали от духоты, тоскливо надрывались клаксоны.

Однако в кампусе университета воздух был еще хуже. От адского дыма у Сантомассимо запершило в горле. Он припарковался у красной полосы позади — тон-студии Изивена Спилберга. Миновав короткую лужайку и одолев живую изгородь, детективы очутились во дворе факультета Кино.

Бронте пыхтел следом за Сантомассимо, весь взмокнув. Свернув за угол, они чуть не налетели на секретаршу Алису Кахэл. Лет ей было около 45-ти, обычно строгая, но сейчас взвинченная, она хлопала глазами на мужчин в непривычно строгой одежде. Несколько студентов, бродивших по двору, оглянулись на них.

— Это вы — полисмены? — спросила Алиса.

— Да, мэм, — ответил Сантомассимо.

— Как я вам уже сказала по телефону, по субботам я обычно кончаю работу в 12 дня.

— Спасибо, что подождали.

Они прошли за ней по коридору в приемную. На стенах

пестрели огромные афиши кинофестивалей и киношные награды в рамках, завоеванные студентами и выпускниками факультета.

— Из этой конторы, как я вам уже говорила, никаких пакетов в полицейский участок не отправлялось! — заявила Алиса. — Ведь всю почту регистрирую я.

— Да, но на ярлыке стояло «ФАКУЛЬТЕТ КИНО. УНИВЕРСИТЕТ ЮЖНОЙ КАЛИФОРНИИ», — возразил Сантомассимо.

Алиса Кахэл подошла к своему столу. Выдвинула ящик и достала красный клейкий ярлык.

— Такой?

Сантомассимо взял ярлык, чуть повернул, чтоб не отсвечивал, показал Бронте. Тот взглянул и отдал обратно.

— Да, — подтвердил Сантомассимо. — Именно такой. У кого еще есть доступ к этим наклейкам?

— Вы, наверное, шутите?

— Мне, мисс Кахэл, совсем не до шуток.

— Извините. Так вот, доступ к ним имеет кто угодно: преподаватели, технические работники, студенты. Чужие с других факультетов, пытающиеся вписаться в нашу программу обучения. Даже родители, жалующиеся на преподавателей. Бизнесмены из Голливуда — мы получаем оборудование от них, дотации, стипендии, тому подобное... Не говоря уже о секретаршах...

— И все могут взять эти ярлыки?

— Не только. Берут и конверты, и бумагу с нашим грифом, и расписания занятий, кофейные чашечки... Марки, стиплеры. Все, что размерами меньше хлебницы и не приколочено гвоздями. Мы тут не воры, лейтенант Сантомассимо. Но у нас все время лихорадка, атмосфера творческого хаоса.

Бронте с Сантомассимо обменялись взглядами.

— А может, уборщица? — спросил Бронте. — То есть абсолютно все? И преподаватели? И помощники преподавателей?..

— Или студенты, — хладнокровно докончил Сантомассимо.

До него наконец дошла подоплека. Ошибка совершена снова. Сантомассимо почувствовал, как вспотела у него спина, и виной тому была не только духота. Он весь напрягся, но крепко держал себя в руках.

Бронте недоверчиво взглянул на него.

— Почему бы и нет? — произнес Сантомассимо. — Вполне возможно, кто-то из студентов Кэй.

— Ты что! В ее семинаре?!

— «Хичкок-500», — кивнул Сантомассимо. — Норка для него — лучше не придумать. Удобно и уютно, как дома.

— Господи, Фрэд...

— Мисс Кахэл, — попросил Сантомассимо, — у вас есть список студентов профессора Квинн?

— Конечно.

Алиса ловко перебрала папки, вытянула одну и распахнула на столе. Сантомассимо с Бронте нагнулись, вчитываясь в аккуратно распечатанный на компьютере список. Бронте разбирался с трудом. Тянулись длинные колонки: фамилии, статус в колледже, консультанты, главные консультанты, факультетские советники, преподаватели...

— В ее семинаре 36 студентов,— подсказала Алиса.

— А где они по субботам бывают? — осведомился Сантомассимо.

— Те, кто в киношных командах, на уик-энде где-нибудь снимают. Приближаются полусеместровые экзамены, и, значит, сценаристы засели в «Мальчике Бобе» и зубрят закономерности драматических конфликтов. Остальные — в общежитиях, клубах братств, у родителей или отправились на прогулку в горы Сан-Бернардино. Короче, кто где.

— А есть и такие, кто уехал в тур,— произнес Сантомассимо.

— Фрэд... — Бронте не понравилось то, что он услышал.

— В Нью-Йорк,— упрямо гнул свое Сантомассимо.

Внимание его привлекла Синди МакЛафин, вошедшая в контору. Девушка лет 20-ти, в белом свитерочке, клетчатой юбке. Блондинка с поразительно синими глазами. Как и большинство студентов, которых он тут встречал, она была мила, хрупка, но и предельно тщеславна.

— Увидела, что контора открыта,— обратилась она к Алисе.— Можно мне перепечатать заявление на стипендию?

Синди решительно села за стол секретарши и включила машинку. Каменное молчание мисс Кахэл и мужчин ничуть не трогало ее. Бронте снова отвернулся к Алисе.

— Кто поехал на тур? — спросил Сантомассимо.— Список у вас есть?

Алиса протерла очки, нервно, сконфуженно — она уже забыла, куда засунула этот проклятый список. В середине семестра все куда-то теряется. Она повернулась к Синди:

— Синди знает лучше меня! Она тоже занимается в этом семинаре. Синди!..

Синди оторвала глаза от машинки. Ласковые, как у куклы, но Бронте разглядел в них одержимость.

— Синди, это полисмены. Им надо знать, кто из студентов поехал в Нью-Йорк с профессором Квинн.

— Тэд Гомез, Крис Хайндс и Майк Риз,— ответила Синди.

Бронте записал имена в блокнот:

— Все?

— Все. А, хотя погодите. Я случайно наскочила на Брэдли Бауэрса, ассистента преподавателя. Он сказал, что тоже поедет, если успеет. Но поехал или нет — без понятия.

В памяти Сантомассимо мелькнуло — плотный грузный парень, сидящий на месте ассистента. Нетерпимость на его лице, помятый темный костюм, не очень чистый. Сантомассимо стало дурно.

— А не знаете, где они остановились в Нью-Йорке? — попытался Бронте.

— Извините, но мне никто ничего не сообщал.

Сантомассимо вдруг саданул кулаком по столу:

— Дерьмо!

— Ты что, Фрэд! — удивился Бронте.

— Я ведь знаю — где! По крайней мере знал. Кэй звонила сегодня утром. Они выехали из отеля «Дарби» и пытались вселиться в другой. Стояли в очереди...

— В какой?

Сантомассимо раздраженно мотнул головой:

— Никак не могу вспомнить, Лу. Я толком не проснулся, когда она позвонила. «Вейленд». Нет — «Витланд». Помню только, на «В» начинается.

Бронте снова подошел к столу Алисы, полистал папку. Ничего, только компьютерные списки студентов.

— Мисс Кахэл, — мягко осведомился он, — профессор Квинн не оставила маршрут тура?

— Не-ет.

Синди, кончив печатать, выдернула заявление из машинки.

— Утром они собирались в полицейский участок на Канал-стрит, днем в Гринвич Виллидж. А завтра у них с утра — Статуя Свободы и особняк на Пятой авеню — днем. Хотя нет... — поправила девушка. — Утром особняк, а Статуя — днем. — Глаза ее затуманились. — Кажется...

— А эти четверо студентов, — продолжал Бронте, — они живут в кампусе?

— Мне надо заглянуть в записи в книге, — ответила Алиса.

Она пошла к стопке папок. Вытащила одну, очень замызанную, открыла ее. Каких только бумажек тут не было! Очевидно, некоторые студенты занимались не по полной программе.

— Тэд Гомез и Майк Риз, — прочитала Алиса. — Майк — звезда футбола. Только первокурсник, но уже посещает...

— Мисс Кахэл, пожалуйста, — перебил Сантомассимо. — Срочно!

— Живет Майк в общежитии «Пси Дельта Чи». Место, лейтенант, очень приличное. А Тэд — в общежитии для женатых. У него жена и маленький сын.

— Майк не попал в беду, а? — встряла Синди. — Он такой дивный парень.

Сантомассимо чуть не выхватил папку из рук Алисы. Они с Бронте принялись быстро просматривать список.

— А Крис Хайндс? И ассистент Брэдли? Где живут они?

— На квартирах.

— Адреса?

— Их, по-моему, в компьютере нет. Но это уже ошибка компьютера, не моя, — оправдывалась Алиса.

— Мисс Кахэл, — сказал Сантомассимо, — поймите, нам жизненно важно найти эти адреса.

— Н-ну... думаю, они есть в приемной. Там списки хранят из-за стипендий и...

— Сегодня в приемной есть кто-нибудь?

— Да. По-моему, декан Рейнольдс. И м-сс Уилсон по субботам обычно работает. Я вас провожу. Но сначала надо им позвонить, иначе они не отпрут дверь.

— Пожалуйста, мисс Кахэл, поторопитесь! — Сантомассимо отвернулся к Бронте. — Лу, позвони капитану Перри. Попроси, пусть свяжется с нью-йоркской полицией, и те разошлют оперативку о задержании Кэй и студентов для их допроса.

Судья Робертсон человеком был добродушным, жизнерадо-

стным, любителем дорогих сигар. Он нежилась под солнцем в своем подогретом бассейне, наслаждался триллером, ноги его лениво свешивались с внутренней трубы. Перри и Эмери, пройдя через гостиную за горничной, встали, загораживая Робертсону солнце, у площадки для ныряния.

Судья Робертсон прикрыл ладонью глаза:

— Уоллес?

— Да, Генри,— отозвался Перри. Они с Эмери подошли к Робертсону.— Генри... у нас срочное дело, не очень приятное.

— Догадался. Иначе не явились бы ко мне в субботу.

Судья передал Перри свой триллер, попятился, плывя задом, как жирный тюлень, но с поразительной ловкостью, и выбрался по стальной лесенке. Накинув махровый халат, зачесал черные волосы и указал гостям на белые шезлонги под зонтиком. Когда все подошли туда, он вытер лицо белым полотенцем.

— Так в чем дело, Уоллес?

Все расселись. Перри устроился под зонтиком неудачно: после-полуденное солнце било ему в глаза.

— Генри, это капитан Эмери, начальник пэлисейдского участка.

Судья Робертсон и Эмери обменялись рукопожатием.

— Его лейтенант, Фрэд Сантомассимо, возглавляет оперативную команду по убийствам «Хичкока» под моим командованием.

— А, да, Хичкок! Что могу для вас сделать? — спросил Робертсон.

— Есть достаточные основания подозревать,— ответил Перри,— что убийца — студент из Калифорнийского университета и находится сейчас в туре по Нью-Йорку с профессором Квинн.

Капитан Эмери подался вперед:

— В этом туре, ваша честь, четверо студентов. Все мужчины. Мы не знаем, который из них — он. Нам требуются ордера на вход и обыск их квартир. Возможно, найдем улики, которые свяжут кого-то из них с преступлениями.

— Четверо? — Брови Робертсона чуть поднялись.

— Да, сэр.

— Мне требуются основания.

Перри показал судье перечень фактов плюс ярлыки с факультета Кино. Судья Робертсон, кисло проглядев все, скорчил гримасу:

— И вы рассчитываете, что я разрешу вам вломиться в квартиры четырех людей на таких основаниях?

— Но, сэр... — заикнулся было Перри.

— Я с гражданскими свободами не забавляюсь! — огрызнулся судья Робертсон.— Весь наш проклятый штат, вся страна — насколько мне известно — пристально следит за нами. Я не намерен разрешать вам ломать двери на таком хлипком...

— Значит, дадите ему резвиться на воле в Манхэттене! — жестко перебил Перри.

— А это не понравится ни американцам, ни газетам,— добавил капитан Эмери.— Ваша честь, у нас есть основательные

мотивы подозревать, что по меньшей мере одна жизнь — жизнь профессора Квинн — подвергается опасности!

Судья отдал бумаги назад Перри.

— Этого, Уоллес, недостаточно, — решил он. — К ярлыкам доступ имеет любой.

— Это мы знаем. Сейчас ведем опрос преподавателей факультета.

— Ваша честь, — напирал Эмери, — бомба, предназначавшаяся для лейтенанта Сантомассимо, разнесла половину западной стены моего отделения!

— Я читаю газеты, капитан Эмери, и смотрю телевизор!

— Сколько ему еще надо совершить убийств? Сколько еще людей вовлечь в свои психоделические фильмы-фантазии?

Робертсон извлек пухлую сигару из инкрустированного ящичка. Он старался закурить ее, но после трех неудачных попыток сдался и просто жевал кончик, пока тот не стал влажным и черным.

— Неубедительные улики, — мямлил он. — Слишком шаткие.

— Уотергейт раскололи по меньшим! — парировал Уоллес Перри.

— У нас времени в обрез, — добавил Эмери.

Судья пробурчал что-то, дав сигару в пепельнице. Вынул изо рта табачную крошку.

— Хотел бы я, чтоб вы не впутывали меня в эту кутерьму, Уоллес!

— Мы все в ней по шейку, Генри! На «Хичкока», похоже, сейчас работает куча статистов!

Судья, побурчав еще немного, прошел в спальню и быстро оделся. Все отправились в суд, в центр города. Судье понадобилось полчаса, чтобы выписать четыре ордера.

В комнате Майка Риза в «Пси Дельта Чи» царил морской порядок. Секретарь братства Рой Петерс встревожился, но помогал рьяно. В доме мигом разбежался слухок, что пришли копы, расследуют серийные убийства, и шумиха будет нежелательна для братства. Рой наблюдал, как Сантомассимо обходит комнату. Чистота и аккуратность повсюду. Когда Сантомассимо проверял постель, он пощупал даже простыни, заправленные под матрац на армейский манер. На полках стояло всего с десяток книг.

— Разве этот парень не учится? — осведомился Сантомассимо.

— В библиотеке занимается, — объяснил Рой. — Майк часто уходит заниматься туда.

— А вы с ним занимались в одном семинаре?

— Нет, сэр.

— А кто-нибудь еще с ним ходит заниматься?

— Нет, Майк у нас одиночка.

Сантомассимо заглянул в кухонные шкафы. Риз был к тому же фанатиком диеты. В холодильнике полно йогуртов. В углу гантели. Риз накачивал мускулы.

— А на футбольные тренировки часто уходит?

— Да каждый день. В «Пси Дельте» живут пятеро футболистов из команды. У нас в университете игроки высшего класса. Майк

ходит на тренировки каждый день после обеда, а в субботу и по утрам.

- А чем увлекается, когда не учится и не гоняет мячик?
- Фильмы смотрит.
- Какие?
- Лорела, Харди, Чаплина. Он хочет писать комедии.
- Он что у вас, весельчак?
- Майк? Вот уж нет!

Сантомассимо ощущал смутное беспокойство. Чересчур уж аккуратной была комната.

Оперативники ничего не обнаружили ни в спальне, ни в камере хранения, отданной Ризу в холле. Сантомассимо перебрал бумаги на письменном столе, ища какие-то признаки, имеющие отношение к соколу, инструменты для сборки моделей самолетов, номера телефонов — может быть, антикварных магазинов, фотографии... Но — ничего. Он захлопнул дверь и гаркнул:

- Кто следующий по списку, капитан?
- Тэд Гомез.

Общежитие для семейных студентов оказалось бетонным зданием. Перед дверью маленькая лужайка с тонкими шестами на тропинках. Хотя солнце уже село, несколько студентов, болтая, еще катали коляски с младенцами. Сантомассимо и капитан Эмери обогнали остальных, постучались в металлическую дверь. На пороге появилась очень хорошенькая брюнетка, недоумевающая, с ребенком на руках.

- Тэда нет дома, — сказала она с мексиканским акцентом.

Потом, видя, как много пришло полицейских, встревожилась, отступила. Сантомассимо показал ей полицейское удостоверение. Глаза девушки округлились.

- С Тэдом несчастье?
- Нет. Можно войти? Нам надо задать несколько вопросов про Тэда.

Брюнетка нехотя впустила их. И сразу доказала, что соображает быстро.

- Тэд наркотиками не балуется! — предупредила она возможные расспросы. — Ничем таким не занимается.
- Не сомневаюсь, м-сс Гомез.

Квартира была завалена детскими кастрюльками. На полу — желто-красные пластиковые гусеницы и уточки. Кольца, погремушки свисали над обеденным столом. На пробковой доске были прикреплены фотографии семьи. Пахло мексиканскими кушаньями.

- М-сс Гомез, мы хотим знать, где Тэд проводил последние несколько недель.
- А что?
- Пожалуйста, отвечайте, м-сс Гомез. Тэд уходил куда-то?
- Нет, он обычно занимается дома, в спальне.
- Каждый вечер?
- Ну, иногда выходит прогуляться.

М-сс Гомез совсем не понравилось, что полицейские сунули нос к ней в спальню. Вернувшись, детективы пожалы плечами. Сан-

томассимо обернулся к м-сс Гомез. Ребенок заворочался, стал дрыгаться, хныкать.

— Тэду, наверное, здорово доставалось, — заметил Сантомассимо.

— Конечно, иметь семью и учиться нелегко. Он сильно беспокоился, нервничал. Изливал чувства в дневнике.

— Он дневник ведет?

— Говорит, да. Я никогда не читала. Он мне не позволяет. Даже не знаю, где он.

— Значит, выплескивал мысли в дневнике?

— Да. Или уходил на прогулки. Иногда очень надолго. У него сильные нервные перегрузки, и необходимо было разрядиться. Возвращался обычно повеселевший. Киношкола — это ведь не шуточки.

— Н-да, м-сс Гомез, не сомневаюсь.

Детективы внимательно осматривали маленькую квартирку: кухня, гостиная, кладовка — ни дневника, ни химикалий, ни оружия, ничего. Аккуратное уютное жилье, благоухающее испанским супом и сладкими младенческими запахами.

— А вы разговаривали с ним после его отъезда в Нью-Йорк?

— Зачем? Что-то случилось?

— Некоторые мужья звонят женам по приезду в незнакомый город.

— Если бы что случилось, Тэд позвонил бы.

— Не сомневаюсь, м-сс Гомез, — улыбнулся Сантомассимо. — А фото Тэда у вас есть?

— Конечно. Полно.

Они ушли с портретом Тэда Гомеза, восемь на десять, который капитан обещал вернуть ей, как только полиция снимет копии.

— Что-то не пойму, чисто тут или нет, — задумчиво произнес капитан Эмери, пока они шагали через лужайку к машинам. — Дневник? Прогулки? Почему он так взвинчен? Неужели учеба так трудна? Мне она кажется просто занудной.

Остальные переглянулись. Капитан Эмери старался завязать общую дискуссию, но у них никаких соображений не было.

— Ладно, двинулись искать квартиру Брэдли Бауэра, — нервно сказал Бронте.

Чуть в стороне от Гувер-бульвара, в центре Лос-Анджелеса, в миле от университета стояло четырехэтажное здание. Светло-зеленого цвета, пожарные лестницы выкрашены персиковым. На карнизах кое-где сохранился цветочный орнамент из предыдущей эры. На внешней стороне провисли телефонные провода.

По коридору шагали Сантомассимо с капитаном Эмери, Бронте, двумя полисменами и тремя детективами из оперативного отряда. Оперативники держали топоры. Управляющий здания, маленький грек по имени Элиазис, заступил им дорогу, встав на первую ступеньку лестницы. Капитан Эмери показал свой значок и постановление суда.

— Пожалуйста, не ломайте дверь, — упрасивал Элиазис. — У меня чистенький дом, никто никогда не жаловался.

— Мистер Элиазис, — заявил Сантомассимо, — нам необходимо войти в комнаты наверху.

— Конечно, конечно, — твердил Элиазис, пятась по лестнице вверх, — но я ведь не застрахован от поврежденный топором.

Волна людей, грохочущая по лестнице, закрутила Элиазиса. Он прижался к перилам, пока те прошли, и пропустил следом, пере-скакивая через три ступеньки.

— Пожалуйста! Только без топоров! — кричал он.

На четвертом этаже темный коридор вел прямо к двери — в дальнем конце, расплывающейся в полумраке неоновых отсветов вывески. Сантомассимо увидел в окно верхние этажи магазинов одежды, складов, а внизу — темные размытые машины, бегущие по Гуверу.

— Вот эта дверь, Фрэд! — сказал Бронте.

Полицейские быстро подошли к двери. Тишина нервировала Элиазиса. Занесены топоры. Все напряженно застыли.

Сантомассимо щелкнул пальцами, указав на Джорджа Шмидта, эксперта по замкам.

Шмидт вынул из кожаного чемоданчика связку ключей. Некоторые почти подошли, наконец он всунул плоский ключ поменьше. Глаза Сантомассимо, как и у Бронте, были прикованы к двери с белевшей бумажкой: «ВХОД КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕН!».

Напечатано на машинке. Ниже вторая бумажка.

«И ТЕБЕ — ТОЖЕ!!!» И маленькая роспись — Б. Бауэрс.

— Скорее же, Джордж! — шепотом понукал Сантомассимо.

— И так тороплюсь, лейтенант. Изо всех сил, черт возьми!

Элиазис топтался впритык к Шмидту. Бронте оттолкнул его.

— Пожалуйста, не портите дверей! — умолял Элиазис. — Пожалуйста, не надо ничего ломать...

— Отойдите к стене, м-р Элиазис, — велел Сантомассимо. — Свет загорается.

Полисмен поднес фонарик ближе к рукам Шмидта. Наконец замок щелкнул. Шмидт толкнул, и дверь медленно поддалась. Сантомассимо и Бронте опередили капитана Эмери.

Сантомассимо щелкнул в прихожей выключателем. Полисмены внимательно оглядели комнату и, обойдя валявшиеся на ковре книги, переступили порог.

В квартире Бауэра чего только не было: и гниющие фрукты, и раскиданные журналы, у батареи горой навалено грязное белье, и даже осенние листья как-то залетели через окно. Потрепанная красная кушетка служила кроватью. Ни простынь, ни наволочек. Только армейское одеяло вместо матраца. У плинтуса сновала мышь.

— Очаровательно! — заключил капитан Эмери, морща нос. — Ужасно аппетитно.

Кухня — закуток со стойкой, раковина забита грязной посудой, открытыми консервами, ползающими тараканами.

Ржавчина в туалете уже стала черной, в душевой на занавеске зияли дыры. Сантомассимо огляделся. Бронте покачал головой.

— Надо узнать имя декоратора! — пошутил он.

Обстановка в квартире производила самое угнетающее впечатление.

Грязь и беспорядок кричали о невообразимом одиночестве. Сантомассимо заглянул под кушетку, за сломанное кресло. Опять киношные журналы «Экран, Свет и Звук», замызганное «Кинообозрение».

— Думаешь, убийца? — наконец спросил капитан Эмери у Сантомассимо.

— Трудно пока сказать, Билл. Не пойму, что можно вынести из этой мусорной свалки.

Капитан Эмери осторожно прохаживался по грязной запущенной комнате. Из окна видны внизу стоянка машин, черный выход из кинотеатра.

— Ничего здесь не указывает на то, что он шизик, — заметил Эмери. — Неряха, верно. Так и свинья не стала бы жить. Но убийца?..

Капитан Эмери увидел, как Бронте поднимает крышки с грязных кастрюль на плите, заглядывает в них. Открыл холодильник, осмотрел морозильник. Крепкий у Бронте желудок, подумал Эмери и спросил:

— Ну что скажешь, Лу?

— Может. Но не убежден. Всего лишь гора киношных журналов. Как у любого студента кинофакультета.

Бронте оглянулся на Сантомассимо, лицо у того дышало тревогой.

— Думаю, надо скорее открывать следующую дверь, Фрэд, — сказал Бронте.

— Да. Криса Хайндса.

Лезвие топора рассекло дверь Криса Хайндса. Щепки темного крепкого дерева полетели мимо лиц оперативников, дождем посыпались в коридор. Сантомассимо и Бронте прикрыли лица. В двери блеснула щель.

— Чертов дуб... — бурчал оперативник.

И саданул с новой силой. С гулким стоном дверь подалась. Сантомассимо нацелился плечом, стукнул. И ввалился в комнату Криса Хайндса. Бронте следом, выламывая дверную панель руками.

Фрэд включил фонарик. Капитан Эмери топтался за ними. Детектив и Шмидт, слесарь, вошли последними. Луч фонаря медленно рассматривал странную обстановку Криса.

Настоящий музей Хичкока. Открытки, фотографии, афиши, видеозаписи его фильмов, даже макеты декораций из картона, аккуратно надписанные и расставленные на рахитичных деревянных столах, заполнявших крошечную квартирку. Книжные полки прогибались под тяжестью томов, посвященных Хичкоку.

Сантомассимо осторожно вошел. В комнате беспорядок, как и у Бауэрса, но просматривалась определенная система. Не кавардак ленивого неряхи, а творческий хаос человека, который работает много и быстро. Бронте включил проектор, в котором был запрограммирован фильм. Капитан Эмери наблюдал. Плохая копия, в пятнах,

бликах, но странно завораживающая. Ужасающе знакомая сцена раскручивалась на экране: эпизод из хичкоковского фильма «Саботаж».

Везет в автобусе пакет маленький мальчик. Тикают часы, отменяя секунды. Застыв в пробке на Пиккадили-серкус, автобус ждет. Мальчик теревит пакет на коленях, ничего не подозревая. Срабатывает часовой механизм бомбы, взрыв! Медленно сыплются осколки, валит дым, летят обломки автобуса. Капитан Эмери отер лицо. Еще побаливали тонкие ссадины на щеке.

— Очень похоже на то, что случилось у нас, — пораженный, заметил он. — Секунда за секундой.

Сантомассимо просматривал папки, завалившие пол. Обрывки сценариев, жалобные письма к продюсерам, на студии — с просьбой о работе сценариста, черновой работе писателя, и даже о работе посыльного. Было очевидно, что ответа Кэй не получил ни от кого. Второй экземпляр курсовой работы для Кэй. «О методике нелогичного в фильмах «саспенс». Курсовую работу Кэй оценила высшей оценкой «А».

— Капитан, лейтенант! — окликнул детектив.

Рядом с проржавленной горелкой на столе в кладовке стояли замедлители химических реакций, пробирки в аккуратных деревянных гнездах, флаконы, стеклянные трубки, лежал моток медной проволоки и большой шкаф с химикалиями. Бронте наклонился, всмотрелся в осадок на дне мензурки. В прозрачном тщательно завязанном пакете лежало вещество телесного цвета. Полисмен принялся было разворачивать, но Бронте удержал его, положив руку на плечо.

— Пластик! — тихо предупредил он.

Полисмен отшатнулся.

— Тут достаточно, чтоб комнатуха эта летела до самой Пасадэны.

— Да еще и останется, — сухо добавил Бронте. — Что понравится продюсерам. Они обожают, когда экономят на бюджете.

Бронте поймал взгляд Сантомассимо.

— И нитрон тоже есть, — продолжал он. — Наверное, остался от взрывчатки, положенной в самолет для Хасбрука. Твоя бомба была поставлена с часовым механизмом, Фрэд. А бомба для Хасбрука взорвалась от толчка.

Бронте с отвращением оттолкнул моток проволоки и повернулся: Сантомассимо стоял перед ним с чистой стальной кастрюлькой.

— Что это?

— Открой попробуй.

Сантомассимо снял крышку. Попкорн — щедро посоленный, густо намащенный и совсем свеженький. Сантомассимо опустил крышку.

— Да, дерьма этого он наготовил вволю! — заметил он.

— Так, значит, действительно подпись! — заключил Эмери.

Со стены на них взглянул Алфред Хичкок. Толстяк-гений. Беззаботный, как младенец, зловещий, как Джек Потрошитель, он наблюдал за каждым, и каждый чувствовал на себе его взгляд.

— Лу, включи свет, — приказал Сантомассимо.

Вспыхнула под потолком лампа. Сантомассимо вытянул огромные черные папки из-под кровати. Развязав черные шнуры, распахнул первую. Внутри был очень подробный рисунок эпизода «На север от северо-запада». Тот, где опылитель посевов гонится за Кэри Грантом посреди кукурузного поля. Вместо полей Крис нарисовал прибор и песок. Кружит самолет, на нем надпись карандашом «миниатюрный». Другие рисунки были поменьше — схема самолета, место расположения взрывчатки в кабине, гнездо для пропеллера, скорость игрушечного самолета, вычисленная для толчка нужной силы на взрывчатку.

У Криса Хайндса были золотые руки. Сноровистый отточенный стиль, как у умелого механика.

В другой папке нашлись еще эскизы. Обнаженная женщина под душем. На рисунке — босая нога дотрагивается до провода. Сантомассимо перевел взгляд на медную проволоку на столе с химикатами. Нарисованные диаграммы свинцовых труб, заземленные провода. Женщина на рисунке обнажена и очень красива. Немного похожа на молодую Джанет Ли.

— Так. С меня достаточно! — прорычал капитан Эмери.

— Фрэд... — окликнул Бронте.

Сантомассимо обернулся. Бронте смотрел на магнитофон у кресла Криса. Аппарат профессионала — «Награ». На bobинах намотана лента. На принимающей bobине ленты на три четверти. Магнитофон отблескивал под светом лампы.

— Включи, Фрэд, — спокойно распорядился капитан Эмери.

— А если ловушка?

— Бряд ли он рассчитывал, что мы явимся к нему.

Бронте приблизился к магнитофону, чуть не вплотную, осматривая дно, боковины.

Сантомассимо взглянул на капитана Эмери, потом на детектива и оперативников, которые отступили к двери.

— Принеси-ка мне проволоку, Лу, — попросил он.

Бронте нашел обрывок на рабочем столе, подал. Сантомассимо медленно провел ее под магнитофоном. Тот был очень тяжелый, и проволока врезалась ему в ладони, когда он поднимал аппарат. Магнитофон наклонился вперед, и Бронте заглянул под днище.

— Пусто!

— Все, кто желает, могут выйти в коридор, — сказал Сантомассимо.

Никто не двинулся.

Сантомассимо нажал кнопку. Загорелся красный свет. Он нажал кнопку проигрывания. Лента провисла, натянулась... Все затаили дыхание, ожидая голоса. Но трещала только статика, комнатные шумы, и наконец — мертвая пустота.

Сантомассимо выключил магнитофон, быстро нажал клавишу перемотки. Лента жужжала несколько секунд, потом раздалось визгливое, быстрое сопрано. Сантомассимо снова ткнул клавишу «стоп», и снова пустил на проигрывание. Опять, сначала провиснув, лента натянулась. Быстрый визгливый голос превратился в голос Криса Хайндса.

— Извините, но вынужден прервать на этом свое повествование. Пора ехать на натуру. Рыцарь Квинн, этот итальяшка-

макаронник, спас ее. Придется разрабатывать для нее другой эпизод.

Очень жалко, что я уезжаю из Лос-Анджелеса, и мне не доведется полюбоваться, как развернутся кадры с Сантомассимо. А то развлекся бы, наблюдая, как его и его дружков соскребают с пола в полицейском участке. Да, заочное режиссирование не такое уж большое развлечение. Ладно, прочитаю в «Нью-Йорк пост» про взрыв.

А я вам еще не сказал? Я уезжаю в Нью-Йорк. Записался на тур профессора Квинн по местам натуральных съемок Хичкока. Но сцена, которую мы разыграем там вместе, будет из «Бешенства», одного из замечательнейших триллеров Хичкока.

ЗАТЕМНЕНИЕ! МОТОР!

Сантомассимо, выключив магнитофон, схватился за телефон. Набрал справочное — узнать номер Нью-Йорка. Слышались потрескивания, шум и, когда он уже собрался набирать номер снова, послышался утомленный грубый акцент нью-йоркского оператора.

— Оператор, срочный звонок.

— Что за срочность?

— У нас вопрос жизни и смерти. Говорит лейтенант Сантомассимо. Номер моего удостоверения — 6540, я начальник отдела расследований убийств палисейдского участка Лос-Анджелеса.

— Что за срочность? — повторил оператор.

— Требуется разыскать человека.

— Имя, пожалуйста, сэр?

— Прочитайте мне названия всех отелей в Манхэттене, которые начинаются на «В».

— Таких услуг мы не оказываем, сэр.

— «В». Как «Вильям».

— Сэр, но в Нью-Йорке полно отелей...

— Мешать полицейскому расследованию — уголовное преступление. Я приказываю вам дать названия отелей.

Сантомассимо услышал перецелкивание на операторской доске. Долгая пауза, и другой оператор начал считать названия с компьютера. Сантомассимо записывал, вместе с адресами и телефонами, на всей скорости.

Бронте вскинул глаза. Над столом с химикатами висела огромная афиша «Бешенства». Лицо, искаженное слепой ненавистью, актер Барри Фостер душит молодую женщину галстуком.

Лицо Криса Хайндса попало под свет фонаря. Бледное, как мел. Фонарь остался позади, и оно снова превратилось в белое пятно. Лишь глаза смотрели по-прежнему жестко, твердо. Впереди шагала Кэй — она проходила полосу черноты, направляясь к освещенному перекрестку.

Кэй шагала ровно. Перекинула сумку на другое плечо, сдула со лба волосы. Позади она услышала поскрипывание тufель на резиновой подошве...

Шагах в тридцати позади Крис ускорил шаг. Сдернул галстук. Кэй споткнулась о трещину. Остановилась. Поскрипывание смолкло тоже. Кэй была объята таким ужасом, что не могла пере-силить себя и оглянуться. В Манхэттене? Кто может преследовать ее тут, останавливаться, когда останавливается она, шагать в такт ее шагам? Только грабитель. Или... хуже? Кэй услышала убыстряющееся поскрипывание резиновых подошв и припусти-лась бежать. Крис побежал тоже. Они еще не миновали черноту боковой улочки. Крис стискивал галстук как удавку.

Кэй не видела, что творится позади, потому что не в силах была обернуться, посмотреть. Она побежала еще быстрее, каблучки цокали по тротуару, кроссовки сзади тоже набирали скорость...

Кэй домчалась до угла. Рядом притормозило такси, и она поско-рее забралась в машину.

Крис остановился, смяв галстук в кулаке, снова нырнул в тень. Кэй проплыла в окне такси, когда машина, дав задний ход, вли-лась в главный поток транспорта и, набирая скорость, покатила к Восьмой авеню.

— Везучая, стерва! — иронически ухмыльнулся Крис.

Он облизнул губы. В горле у него пересохло. Все тело, как избитое. Смято, как галстук в руке. Разочарованный, Крис побрел обратно в общежитие.

— Требуется местечко повязать галстук, миленький?

Он обернулся. В глубокой нише магазина стояла молодая девушка с густо нарумяненным лицом. Низенькая, с черными кудрявыми волосами, в облегающем красном свитерке. Крис застыл. Улыбнувшись, девушка вышла из темного подъезда. Парень показался ей иностранцем. Такой наивный. Студентик из колледжа? Паренек, томимый желанием... Она шагнула на тротуар. Улыбнулась.

— Ну? Что с галстуком собираешься делать?

Крис перевел взгляд на мятый, точно жеванный галстук. Пальцы его конвульсивно сжали тряпицу.

— Пойдем, золотце. Я совсем тут продрогла, одна-то. Вижу, ты горячий. Тебе кто-то нужен.

И поманила его кивком головы. Крис согласно кивнул, шагнул к ней. Глаза у него ярко блестели, точно девушка подала ему потрясающую идею. Он крепко ухватил ее за руку.

— Ни к чему так уж грубо, дружок, — проворковала девица. — Я и так знаю, на что ты способен.

Не отвечая, он затолкал ее в темный подъезд.

— Эй...

— Откуда тебе известно, на что я способен? — прошипел он.

— Ой, слушай... полегче все-таки...

Крис швырнул ее на стеклянную дверь, прижался к ней. Она испугалась.

— Ну хватит тебе... не тут ведь! У меня уютенькая комнатка...

— Как тебя зовут?

— Карла... Карла Мендоза...

— Нет, не так! Ты Анна Мэсси, ты не только шлюха, но и барменша! — Крис накиннул галстук ей на шею. Крепко затянул узел.

— Ты... что...

В ужасе девушка принялась отдирать галстук. Крис стукнул ее головой о стекло. Обеими руками она тянула удавку. Он все затягивал петлю, девушка ляглась, высокие каблочки стучали по крышке мусорного бака.

— Ты в кино, детка. Получила вторую роль в «Бешенстве».

— Пожалуйста...— сдавленно молила она.

Накрашенные ногти целились выпарапать ему глаза. Крис, уворачиваясь, затягивал петлю из галстука все туже. Как восхитительно! Она пискнула, точно подстреленный кролик. Глаза у нее выкатились, губы посинели. Она обмякла. Но Крис никогда не рисковал, он продолжал изо всех сил затягивать галстук.

Девушка стала тяжелой. Осела на плиточный пол. Пульс уже не прощупывался. Один глаз проститутки в упор смотрел на Криса. Тот, тяжело дыша, отступил.

Оттащил труп к мусорному баку. Забросал тело газетами, картонками. Потом достал из кармана попкорн, сжевал несколько зернышек, глядя на труп, бросил зерно попкорна ей под ноги.

— Неплохо! — удовлетворенно констатировал он. — Волнующий эпизод. — И Крис начал медленно отступать — медленный отъезд камеры от трупа в черноту подъезда.

Сантомассимо и Бронте быстро шагали по коридору к выходу. На ходу Бронте считывал из своего блокнота.

— Твой самолет прибывает в 5.30 утра. Тебя встретят в Кеннеди. Полиция. Инспектор Марксон. И по просьбе капитана Перри они уже разослали оперативку о розыске группы по всему Манхэттену. Фото Тэда идет к ним.

— Хорошо.

— С самой зари выставят пост у Статуи Свободы и у особняка на Пятой авеню для обнаружения молодой женщины и четверых студентов. Фрэд, они обязательно разыщут ее.

— Если еще жива.

Сантомассимо прошел через пост досмотра. Бронте проводил его до выхода на посадку. Последние пассажиры уже входили по трапу. Бронте быстро обнял его — прощанье на итальянский манер.

— Береги себя, Фрэд, — прошептал он.

— Прочитай за нее молитву «Аве».

Сантомассимо пожал руку Бронте и быстро взбежал по трапу на самолет «ТВА».

Четыре раскладушки теснились в крохотной комнатке. Неоновую вывеску общежития недавно выключили. В окно пробивался розовый свет с автостоянки. Брэдли Бауэр, не в силах заснуть, сидел на раскладушке в полосатом грязноватом халате, читая «Истории, которые не дают включить телевизор» Алфреда Хичкока.

Тэд, сняв рубашку и засунув в сумку с грязным бельем, сидел в одних черных брюках и шевелил пальцами босых ног. Напротив него за этим же низким столиком нагнулся над картами Майк, прикрывая глаза от лампы на потолке.

3.15 ночи. И хотя все до смерти устали, сон бежал от них.

— Джин! — объявил Майк, показывая козыри.

— Ты, Майк, наверняка жульничал, — проворчал Тэд.

— Мир ненавидит угрюмых неудачников! — хихикнул Майк.

Он пересчитал ставки. — Тэд, ты должен мне 28 баксов. Если так пойдет и дальше, окуплю свой билет на самолет.

— Не смешно. Дурак я, что сел с тобой играть. Известно, спортсмены только и знают, что в карты режутся.

Мак мило рассмеялся, сгреб карты и перетасовал их. Дверь позади них запахнулась, и вошел с раздутой дорожной сумкой Крис — рубашка его была расстегнута у ворота. Тэд, взглянув в карты, которые сдал ему Майк, скорчил гримасу и бросил их на стол.

— Дерьмо! — воскликнул Тэд. — Какого черта мы тут вообще торчим, парни? Мы все-таки в Нью-Йорке! Давайте смотаемся в город, гульнем!

— А чего прямо на месте не гульнуть? — возразил Крис.

И, подтащив сумку к столу, Крис вывалил картофельные чипсы, крендельки, печенье, орехи, упаковку в шесть банок «Будвейзера», а из чемодана достал две бутылки «текиллы».

— Желает кто «текиллы»? — предложил он.

Майк с Тэдом ухватились за одну бутылку. Крис откупорил банку, налил в чашку и, сунув туда соломинку, отнес Брэдли.

— Тебе, Брэдли. Ты ведь крепкого не пьешь?

Брэдли оторвался от книги, заглянул в чашку.

— Кока! Ух ты! Спасибо, Крис! А чего это с тобой? Совесть мучит?

Тэд налил в свою «текиллу» коки и, прикрыв стакан ладонью, шумно поставил на стол. Смесь получилась взрывчатой. Он залпом выпил. Усмехаясь обалдело, спросил:

— Эй, Крис! Откуда у тебя «текилла»?

— С собой привез. Не выезжаю без нее из дома.

Майк вытащил пакетик печенья.

— Ого! — с набитым ртом еле выговорил он. — Как вкусно! А мы-то гадали, куда ты запропастился после ухода профессора Квинн.

Крис сверкнул мальчишеской улыбкой. Присел на край раскладушки, наблюдая за Брэдли, Тэдом и Майком. Те угощались чипсами, крендельками, орехами и попкорном. Сам Крис держал только пакетик попкорна.

«747» рокотал в темноте над Америкой. Почти все пассажиры спали. Но у Сантомассимо сна не было ни в одном глазу. Он пил третью рюмку бренди. В такой час оно бодрило лучше кофе. Он взглянул на часы: 12.45 по-лос-анджелесски. Он перевел стрелки часов на нью-йоркское — 3.43 утра.

Засветилась панель наверху. Раздались музыкальные перебивы. Сантомассимо поднял глаза. Загорелась надпись «Не курить». И ниже «Пристегните, пожалуйста, ремни». Защелкнув пряжку, Фрэд допил бренди.

В салоне раздался голос капитана.

— Простите, что бужу вас! Говорит капитан Уилсон. В моторе номер два возникла небольшая проблема с электричеством. В целях безопасности самолету придется приземлиться на армейской базе в Седалии, проверить машину...

— О Иисус!..

— От имени «ТВА» мы приносим извинение за задержку. Стюардесса пройдет с дополнительными напитками, чтобы вы скоротали ожидание. Но вряд ли задержка будет долгой.

Сантомассимо оглянулся на соседей. Кто застонал, кто сдержался. Иные вообще спали и ничего не слышали. Кое-кто уже тянул шею, торопясь угоститься на дармовщинку.

— О, Матерь Божья! — пробормотал Сантомассимо и откинулся на спинку кресла в отчаянии.

В Нью-Йорке наступило уже 4 утра.

В комнате общежития стало тепло. Брэдли распахнул окно. Тэд стрел в кучу пустые пакеты, пивные банки. И бросил все в мусорную корзинку. Запах пива испарился.

— Что-то я беспокоюсь за профессора Квинн, — заметил Майк.

— Чего вдруг? — откликнулся Крис.

— Сам не пойму. Но какая-то она нервная. Дерганая. Совсем не похожа на себя.

— Да все из-за проблемы работы в штате, — объяснил Брэдли. — Примут ее в штат... Нет...

— Не знаю, не знаю, — упорствовал Майк. — Что-то ее тревожит. Ей явно не до нашего тура.

— А что за мужик ее провожал? — спросил Тэд. — Всегда в темном ходит. Похож на грека. По-моему, она спит с ним.

Майк лег, закинул руки за голову.

— Хм, надеюсь, личность особенная. Потому что она — точно да.

— Парни, а как насчет вздремнуть немножко? — предложил Крис. И выключил лампу. — Лично я с ног валюсь.

Десять минут спустя Брэдли заснул, сидя с томиком Хичкока на коленях. Крис, улыбнувшись, переложил книгу на пол. И подоткнул одеяло на Брэдли. Майк провалился в сон почти мгновенно, громко похрапывая. Крис и его укутал одеялом потеплее.

Тэд шепотом прочитал молитву, потом повернулся на бок, заснул. Крис укрыл одеялом и его.

— Спокойной ночи, миляги вы мои! Крепкого вам сна!

В общежитии всюду было тихо. Ни радио, ни телевизора тут не было, а шум машин едва доносился. Крис, стянув рубашку, затолкал ее в парусиновую сумку. Снял брюки. Закашлялся. Взглянул на спящих ребят и покачал головой. Ангелочки дерьмовые, мать твою... — подумал он и завалился на раскладушку. Лежал он без всяких мыслей. Сосредоточившись только на новом эпизоде съемки утром.

На армейской базе Седалия «747»-й откатали с главной посадочной полосы и припарковали рядом с терминалом. Подъехала на платформе бригада в серых комбинезонах и принялась копаться в моторе номер два.

Сантомассимо зашел в офицерский клуб, разыскал телефон. Он набирал номер, кося глазом на ремонтную бригаду за зеркальным стеклом.

Наконец услышал телефонные гудки.

— Давай же, Лу! Черт тебя побери!

В Лос-Анджелесе Бронте повернулся спиной к звонившему телефону. Его жена Терри открыла глаза и толкнула его.

— Лу! Телефон!

Бронте застонал, рывком сел, включив лампу, глаза у него слипались, он снял трубку, предчувствуя, что это Сантомассимо еще до того, как услышал его голос.

— Это я, Лу,— назвалса Сантомассимо.

— Где ты, черт подери?

— В Седалии, штата Миссури. Вынужденная посадка. Неполладки в электрической системе.

— Вот дерьмо!

— Отсюда другого самолета нет. Армейская база. Мне сказали, для ремонта потребуется около часа. Это означает, что в Нью-Йорк я прилечу около половины девятого.

— О'кей. Позвоню им, дам знать. Сообщу и Перри.

— Ты связался с Канал-стрит?

Бронте помотал головой, проясняя сознание.

— Ничего. Никто не помнит, чтобы видели учительницу и четырех студентов. А в университете фотографии Кэй нет. Зато раздобыл снимок Майка Риза, футболиста. Получил из картотеки команды. Переслал факсом в Нью-Йорк.

— Спасибо.

Пока говорил Бронте, Сантомассимо вспоминал голос Криса Хайндса на ленте. Надменный, сумасшедший. Маниакальный и изобретательный. Непредсказуемый.

Другие образы перебили его: Кэй с ним на холме, ее странная потребность в Хичкоке, фанатичная увлеченность им, ее страх перед ним сейчас. На последней лекции она пыталась остеречь студентов, пыталась объяснить им то, что едва понимала сама, и все время огромный крупный план актера издевательски ухмылялся на них с экрана позади нее.

— Лу...

— Я тут, Фрэд.

Сантомассимо боялся спрашивать.

— Э... какие новости еще есть?

— Нет, Фрэд. Сообщений о трупe, задушенном галстуком, не поступало. Во всяком случае, на два часа ночи — нет.

— Позвони в участок Марксону. Мне понадобится вертолет, когда я прилечу в Нью-Йорк. Сразу в аэропорту.

Бронте чуть замаялся.

— А куда? — спросил он.

— К Статуе Свободы.

— К Статуе? Но Марксона просили доставить тебя к особняку на Пятой. Там их первая остановка. Ты же помнишь, что сказала Синди. Утром — особняк, а Статуя — днем.

— Синди точно не знала. А я, Лу, нутром чую течение мыслей этого подонка. Статуя — уникальна. Внушает благоговение. Под-

хлестывает воображение. Подлинный Хичкок! Инстинкт подсказывает мне — Статуя! Там наш мальчик собирается отличиться!

— Полиция взяла Статую под охрану, Фрэд.

— Знаю. И рад. Но рыбку они ловят дырявой сетью. Кэй в лицо они не знают. Я же замечу ее среди тысячи.

Бронте предпочел не спорить с офицером старше себя рангом и с сильными инстинктами.

— Передам Марксону.

— Спасибо, Лу.

Напротив особняка на Пятой авеню затормозила полицейская машина без опознавательных знаков. В машине сидели два нью-йоркских детектива в штатском. Охрана особняка началась.

Вдалеке вильнул над темной водой вертолет, наклонился и медленно снизился, чуть не чиркая по волнам. В вертолете сидели пилот, второй пилот и детективы. Они посматривали в боковые окна, восторгаясь помимо воли. Величественная на фоне свинцово-серой зари, наполовину синяя — наполовину зеленая, позолоченная утренними солнечными лучами, стояла безразличная леди — Статуя Свободы, вздымаясь в клубящемся морском тумане среди парящих птиц.

Вертолет изящно спустился на бетонную площадку у основания на краю Острова Свободы.

Детективы выпрыгнули и заторопились к причалу. Один занял позицию на бетонном пятачке причала, двое на дорожке, ведущей к основанию Статуи, а четвертый устроился на лужайке. Все в темных очках. Все в ожидании прибытия первого парома.

На пристани Баттери толпились туристы. Не так, правда, густо, как в разгар сезона в июле или августе, но ясная осень и теплый воздух еще влекли народ из соседних штатов. Ходило пять паромов. На мачтах и веревках, тянущихся к мачтам, вились синие флажки. Всюду громкий говор.

Не успела Кэй открыть дверцу такси, а Крис уже заглядывал в машину. Он открыл дверцу, и Кэй вышла на тротуар.

— А где остальные? — тут же спросила она.

— Не пришли, профессор. Еще спят.

— Как спят? Что за бред! Поедем разбудим! — И Кэй повернулась было, чтобы снова забраться в машину, но Крис заступил ей дорогу.

— Извините, профессор. Ребята в отключке. Вчера после вашего ухода они отправились болтаться по Нью-Йорку. И гуляли допоздна.

— Но где?

— Не знаю. На дискотеке были, еще где-то. Заразились манхэттенской лихорадкой. Они, честно говоря, и вернулись-то всего час назад, пьяные в стельку. Брэдли даже вырвало. В общем, как говорится, покойники для окружающего мира, профессор.

— Господи! — Кэй недоверчиво покачала головой. — Наш тур превращается в настоящий кошмар!

Крис сочувственно улыбнулся.

— Но я готов идти, профессор. И паром вот-вот отплывет.

— Прямо не могу поверить! — вздохнула Кэй.

— Меня особенно привлекало это место нашей поездки, — напирал Крис.

Кэй с несчастным видом взглянула на паром.

— Господи, ну все кувырком! — Она повернулась к Крису. — Ладно, Крис. Пусть будем ты, я да великая Леди в гавани!

Крис усмехнулся.

По пути к причалу Кэй пытливо поглядывала на парня. Этого студента она знала не очень близко. Он никогда не заходил к ней обсудить экзамен. И никогда прежде она не оставалась с ним наедине. Искрит мальчишеским энтузиазмом, а какая у него чистая и ясная улыбка! Но что-то намекало, что за мальчишеской внешностью скрывается зрелость.

К билетной кассе тянулась очередь. Крис взял Кэй под руку и быстро провел к концу хвоста, ловко миновав компанию туристов.

Заря над аэропортом занялась неяркая, приглушенная. Вяло катились почтовые тележки во влажном рассеянном оранжевом зареве. Рейс «ТВА» 747, опоздав на три часа, прибыл наконец к своему терминалу. Взъерошенные, заспанные бизнесмены тяжело спускались по трапу.

Сантомассимо протолкался мимо них, сквозь компанию торговцев, хохочущих, обменивающихся рукопожатиями и адресами.

— Извините... Простите... Срочно... Извините... Простите...

Наконец-то выход. Сантомассимо выскочил первым. Вытащив бумажник, он распахнул его и над головой показал полицейское удостоверение.

Инспектор Дэниел Марксон из нью-йоркского полицейского управления проталкивался через толпу с противоположного конца.

— Сантомассимо! — заорал он.

Сантомассимо обернулся и нырнул мимо группы служащих.

— Сюда! Пойдем!

Марксон развернулся, и они с Сантомассимо помчались по длинным коридорам. Марксон едва увернулся от тележки, с верхом нагруженной багажом. Они обогнули носильщика, перепрыгнули через потерявшегося пуделя и очутились в коротком проходе. За дверьми зеркального стекла на бетонной полоске ждал вертолет Марксона.

Летчик из нью-йоркской полиции даже не выключил несущих винтов. Он помахал Сантомассимо и Марксону. Те промчались бетонкой, пригибаясь под ветром. Сантомассимо забрался в вертолет.

— Давай, Джо! — заорал Марксон.

Вертолет взмыл.

Остров Свободы лежал к югу от Манхэттена, далекий, зеленоватый массив в утренних отражениях травы, неба, воды. В погожий солнечный денек Статуя Свободы видна отовсюду, поднята

массивная бронзовая рука с факелом, смотрит через гавань страшное женское лицо.

Пассажиры едва успевали щелкать камерами, поднимаясь по трапу «Красавицы Либерти».

Кэй шагала в гуще толпы с Крисом Хайдсоном. Крис вежливо, но твердо прокладывал путь. Кэй чувствовала себя неудобно. Крис не сказал ни слова, пока они стояли в очереди за билетами.

— Поживее! — позвал матрос с парома.

Крис и Кэй шагнули на палубу. За ними еще пятеро. После чего матрос сбросил канат, прыгнул на паром тоже и втянул канат на палубу, закрутив тонкую цепь безопасности.

— Ты первый раз в Нью-Йорке? — небрежно спросил он Криса.

— Был тут раз и раньше. Паршивая поездка получилась.

— Ладно, постараясь, чтоб в этот раз тебе было повеселее, — бросил матрос.

Ощутимо повеяло прохладой, и Кэй натянула свитер. Паром качнуло. Раздались взвизги, хохот. «Красавица Либерти» зашлепала по глубокой воде.

Дежурный в общежитии СХМ был вне себя от ярости. Такой грандиозный скандал подрывал все, за что боролся Союз Христианской молодежи. Постояльцы, посторонние — все лица дышат любопытством — толпились в коридоре, заглядывая в комнату. Но еще больше тревожило его состояние трех молодых парней на раскладушках.

Старший клерк осмотрел Тэда Гомеза. Глаза Тэда не могли сфокусироваться и все утыкались в потолок. Старший придержал одно веко и поводил перед зрачком фонариком.

— Еще реагирует. Он жив. Едва-едва.

Он пощупал пульс Тэда на запястье, снова на яремной вене.

— Еле прослушивается, Джим, как и у остальных. Может, наглотались наркотиков в каких-то сверхдозах.

— Но выкарабкаются?

— Вызывай «скорую!» — только и ответил старший.

Напуганный дежурный помчался к телефону. На бегу он оглянулся еще раз. Майк и Брэдли лежали неподвижно, точно мертвые, дыша с большим трудом.

Нью-йоркский вертолет взмыл под углом вверх над грузовиком и электрическими тележками.

Сантомассимо протиснулся, устроился рядом с пилотом. Марксон сел сзади. Вертолет набирал высоту, срезал над Бруклином по прямой к Нью-йоркскому заливу. Мыс острова Манхэттен виднелся справа, а мост Верразино Нэрроуз слева. Далеко впереди, зыблясь в утренней дымке, поднимались пустынные доки Нью-Джерси, а в центре залива — туманный силуэт Статуи Свободы.

Летчик потянул за рычаг. Шасси завибрировали. Сантомассимо видел, как тень вертолета несется над бруклинскими домами, свалками, болотами и камышами, под ними парят чайки, крылья их отсверкивают на утреннем солнце.

Пилот поправил очки, а Сантомассимо проверил пистолет в наплечной кобуре.

«Красавица Либерти» тянула за собой белый хвост, несясь к Острову Свободы. Пестрая толпа пассажиров сгрудилась на носу. Огромная Статуя Свободы словно подплывала к ним.

— Совсем непохоже на «Саботажника», правда? — сказала Кэй. — Как бы ты определил разницу?

— Она, э... как бы это выразить... — Крис, облизнув губы, улыбнулся, — бесстрашна.

— Да, определение меткое. В ней отсутствуют чувства.

— Пока Хичкок не заставил нас увидеть, что она опасна!

— Вот именно.

Кэй облокотилась о поручни. В огромной короне-тиаре Статуи просвечивали черные точки — окна, через которые люди любовались гаванью внизу.

— А знаете, — заговорил Крис, напряжение отпускало его по мере приближения к острову. — Если задуматься, профессор, то «Саботажник» — это ведь предшественник «На север от северо-запада», и в основе использует ту же форму, что и в «Тридцати девяти ступенях». Структурно они все одинаковы.

Кэй взглянула на Криса. Она никак не могла понять парня. То кислый, насупленный, то заливаётся, как пташка.

— Из чего, Крис, ты это выводешь?

— Плутовской шпионский сюжет, межконтинентальная погоня... Хотя, конечно, «Саботажник» движется к востоку от Калифорнии в Нью-Йорк и кончается внутри головы Статуи Свободы, а не на президентских лицах на горе Рашмаор. В общем, «Саботажник» хуже остальных, — продолжал Крис. — Согласны, профессор? Роберт Каммингс и Присцилла Лэйн, несомненно, хороши, но типажи отнюдь не хичкоковские. Да и сюжетная линия... Боже, до чего ж неправдоподобна! Все эти так кстати появляющиеся оттяжки ради нагнетания напряженности! То у машины кончается бензин, то самолету приходится делать вынужденную посадку... Все так безнадежно фальшиво, так надуманно — так же, кстати, как и диалоги. Даже Дороти Паркер не сумела вдохнуть в них жизнь. Синтетика. Сляпано все. Натужно. Сюжет едва тащится. А все эти аляповатые дешевенькие стыковки — цирковая труппа встречается с эксцентричными психами. Это ж самое откровенное воровство из «Убийства», правда, профессор Квинн? А наручники на нем? В точности как на Донате в «Ступенях». Кражи у самого себя! У нас-то нет причин лукавить, верно? Слишком хорошо понимаем Хичкока и можем называть вещи своими именами. Да и сцена в кинотеатре перед мигающим экраном, когда Норман Ллойд затевает перестрелку с полицией к ужасу зрителей, идентична сцене в «Саботаже». Даже я мог бы выдумать лучше. Да я и выдумывал! А эта финальная сцена в голове Статуи... Бегство злодея в фонарь, затем нелепое падение через перила, смерть под тревожную музыку — и затемнение. Господи! До чего ж незрело! Как инфантильно! Ужасно, что Хичкоку приходилось идти на такие компромиссы.

Кэй повернулась к Крису. Цвет его глаз менялся от отражений воды и неба — то карие, то зеленые. Надо опустить его на землю.

— Да кто ж его вынуждал? — возразила Кэй.

— Богачи-магнаты! Те, кто сами погрязли в таких чудовищ-

ных пороках. Их поступки самого Иеронима Босха вогнали бы в краску стыда! Профессор Квинн, Хичкок был вынужден подлаживаться к тому, что они считали приемлемым для потребления публикой.

— Нет, Крис, я не согласна. Те же магнаты — кто они, по-твоему? Хичкоку под конец принадлежало 20 процентов студии «Универсал». Огромную прибыль получал от студийной системы. В Голливуде он был очень могущественным. Никто не мог указывать ему, как снимать...

— Цензура...

— Хичкок всегда славился тем, что показывал недопустимое. Попытка высказать все напрямую была признаком слабеющей творческой мощи.

Крис улыбался, пытаясь прикурить сигарету на крепнущем ветру, прикрыв ее ладонями.

— Отдаю вам должное, профессор. Соображаете вы здорово.

— Ну, а тебе, Крис, очень много известно про Хичкока. Но не я научила тебя этому. О, вот мы и пристали.

Матрос спустил узкий трап, бросил цепь и перепрыгнул на бетон. Одного за другим, любезно улыбаясь, он спустил всех пассажиров на Остров Свободы.

Две «скорые» под предводительством копа на мотоцикле мчались по Восьмой авеню. Машины осторожно теснились к обочине. «Скорые» свернули за угол и на полном ходу затормозили у общежития.

— Да скорее же! Скорей! — закричал старший клерк. — Высокого трясет всего!

Высоко над Манхэттеном Сантомассимо смотрел на беспокойные волны гавани, где стояли на приколе выпотрошенные грузовые суда; он видел грузчиков, перетаскивающих огромные тюки с грузом, краны, поднимающие тракторы и ящики.

Инспектор Марксон постучал Сантомассимо по плечу. Сантомассимо обернулся. Марксон ткнул на правое окошко вертолета. Совсем близко возвышалась Статуя Свободы, казавшаяся какой-то хрупкой, и вода вокруг нее исчерчена пенными хвостами десятков мелких суденышек. К своему ужасу, Сантомассимо увидел, что паром к Острову Свободы уже пристал.

— Нельзя ли побыстрее? — закричал он летчику.

— Ты что, угробиться рвешься?

Но все-таки прибавил скорость. Вертолет несся над холодной водой.

А в комнате общежития врачи не стали возиться и ставить диагноз. Едва взглянув на Брэдли и Тэда с Майком, они быстро ввезли их в лифт и спустили в машину «скорой».

Всех троих привязали к носилкам. В ноздри ввели нейлоновые трубки с кислородом. Электроды для электрокардиограмм были смазаны и приложены к тяжело вздымающимся грудным клеткам. У двоих пульс бился прерывистой ниточкой.

— Скорее! — заорал врач на водителя. — Шевелись ты!

Когда «скорая» подлетела к приемному отделению, санитары из больницы Бельвью бегом вкатили трое носилок в приемный покой, один расчищал дорогу в людном коридоре. Трех парней ввели в палату неотложной помощи.

Веки Тэда чуть дрожали, иногда приоткрываясь, но Тэд ничего не видел. Ни розовых штор вокруг кровати, ни медсестер, ни больных и умирающих на соседних кроватях — ничего.

Туристы сходили с «Красавицы Либерти», Кэй и Криса несло напролом по трапу. Четверо детективов в штатском всматривались в цепочку сходявших пассажиров. Крис мигом вычислил, кто они — по темным очкам, сосредоточенным лицам, позам и маленьким буграм под нагрудными карманами пиджаков.

Крис прикрыл рот и нос платком, закашлявшись. Детективы внимательно оглядывали каждого, проходящего мимо. Они стараются не выделяться, отчего еще больше бросались в глаза.

Крис похлопал по карманам.

— Ах, черт, профессор Квинн! Карту у перил выронил!

— Другую купим.

— Нет, нет! Вы идите! Я догоню!

И, развернувшись, Крис торопливо стал пробираться против людского потока.

Глаза детективов обшаривали толпу с разных концов, высматривая четверых молодых парней и привлекательную женщину. В руках у них скрывались маленькие фото Тэда Гомеза и Майка Риза.

Крис смешался с последней группкой пожилых женщин, которые с трудом, опираясь на трости, спускались по мосткам. Он помогал им. Детективы смотрели мимо него, мимо пожилых пар. Увидели — паром пуст. Крис улыбнулся, проходя мимо. К Кэй он присоединился уже на пешеходной тропинке.

— Ну как? Нашел? — осведомилась она.

— Болван же я! Преспокойно лежала у меня в кармане все время.

И Кэй с Крисом прошли к темному входу в основании Статуи Свободы.

В палате срочной помощи Бельвью доктор Айра Робард закончил слушать сердце Тэда.

— Проглотил огромную дозу фено,— заявил врач.— Но ничего, все обойдется.

На другой кровати застонал Брэдли. Сестра опять измерила ему давление. Оно улучшалось. Д-р Робард подошел к мотоциклисту у окна. Тот читал листок бумаги.

— Их имена? — спросил он у Робарда.— Санитар записал их в общежитии?

— Да. Списали из регистрационной книги.

Доктор заметил, как в глазах копа появилось беспокойство. Доктор принес медицинский поднос от одной кровати. Среди бумажных чашечек и шприцев еще в упаковке полисмен увидел тощий бумажник.

— Нашли в кармане одного из них,— сказал доктор Робард.

Полисмен взял бумажник, открыл: 45 долларов, одна кредитная карточка и самолетный билет из Лос-Анджелеса. Полисмен вынул карточку.

— Тэд Гомез, — прочитал он. — Университет Южной Калифорнии. Факультет Кино. Лос-Анджелес.

— Бедняги были туристами, — предположил доктор. — И кто-то на улице угостил их фенобарбиталом.

Карточку мотоциклист и не подумал возвращать.

— Телефон у вас тут есть? — спросил он.

— Да, на столе. В приемной.

Полисмен в высоких сапогах протопал к телефону и, наклонившись, держа карточку перед глазами, начал набирать номер.

Вертолет прыгнул на бетонную площадку Острова Свободы. Винты сбросили обороты. Вертолет застонал и сел на шасси. Сантомассимо отстегнулся и выпрыгнул на мостовую, не успели еще смолкнуть моторы.

Навстречу ему и инспектору Марксону бежали четверо детективов.

— Я лейтенант Сантомассимо. Как тут дела?

— Один паром выгрузил пассажиров, — сообщил детектив. — Но никого похожего на фото, переданные сержантом Бронте по факсу.

— А женщина?

— Группы из четверых не было.

Сантомассимо взял у детектива фото Тэда и Майка. Тэд в футболке широко улыбался, щурясь на ослепительное калифорнийское солнце. По такой фотографии узнать кого-то трудно.

Сантомассимо взглянул на гигантскую Статую. Рядом с ней все казались карликами: детективы и цепочка шагающих к ней туристов. Он вернул снимки и спросил:

— Когда спустятся обратно эти люди?

— Где-то через полчаса, — ответил детектив.

Сантомассимо с Марксоном прошли по тропинке. Детективы опять заняли посты у причала. Сантомассимо вглядывался в далекую гавань, не видно ли следующего парома. Губы его шевелились. Марксон едва слышал, но понял достаточно. Лейтенант молился.

17

В огромном полом туловище Статуи было холодно. И не понять, где находишься относительно внешней стороны. Винтовая лестница уходила высоко вверх, в полумрак. Освещалась Статуя через высокие окна, и на трубах, торчащих из стен, горели электрические лампочки. Кэй посмотрела на Крису и увидела далеко наверху металлическую площадку, в ржавых полосах, сбегаящих от тиары. Отдуваясь, туристы забирались по лестнице, их нервные смешки и кашель гулко отдавались в просторном лестничном колодце.

Головы сливались одна с другой, казались сплюснутыми с того

места, откуда смотрела Кэй. Все шагали к свету далеко наверху, туда, где светились окошки в гигантской тиаре.

— Вы в порядке, профессор Квинн? — осведомился Крис.

— Вполне. Но я не в такой хорошей форме, как мне казалось.

— Формы у вас, профессор, просто отменные. Вперед! Возьмите меня за руку! — предложил Крис.

— Спасибо.

Кэй оперлась на его руку. Теплую, сухую, крепкую.

— Всего еще один пролет, профессор Квинн, — подбадривал Крис.

— Я потихоньку.

Кэй взбиралась по ступенькам все выше, и ей вдруг показалось — она в ловушке. Люди впереди, люди позади и отвесный обрыв за металлическими перилами. Ей послышалось хлопанье крыльев сокола.

Пожилая пара остановилась перевести дыхание. Честные, порядочные люди Америки, подумала Кэй. Чуть сутулые фигуры старика и его жены, туристические бляхи, у обоих бирюзовые джемпера в тон, белые шляпы от солнца, помогают друг другу. Они двинулись дальше. Крис с Кэй последовали за ними. Все вверх и вверх по узкой металлической лестнице.

— Вперед, профессор! — весело поощрял Крис.

Он шагал впереди по сужающейся лестнице. Его точно снедало нетерпение. Он все озирался, словно прикидывал что-то, словно намеревался совершить тут некий поступок. Достиг пола секции тиары и, обернувшись, протянул руку Кэй. Кэй предложенную руку не приняла и ступила на пол самостоятельно.

И тут же едва не ахнула от панорамы, открывающейся из окна, холодный яростный ветер хлестнул ее по лицу.

Через высокие армированные окна она увидела самую просторную гавань в мире, поражающую своей бесконечностью.

— До чего изумительно... — пролепетала она.

Туристы, зачарованные, сгрудились у окон.

— Как прекрасно! Как по-настоящему мирно!

— Да, — нервно озираясь, отозвался Крис.

— У меня такое чувство, будто я могу полететь, — тихонько призналась Кэй.

— Вряд ли вам понравилось бы, — хохотнул Крис, стараясь говорить со всем своим обаянием, но в голосе у него прорывалась напряженность. — Помните? С такой высоты слетев, комар не ушибется, муха кувыркнется, птица ломает крыло, а человек разобьется в лепешку.

Кэй взглянула на него. В Крисе копилась какая-то злость и порой выплескивалась неконтролируемыми вспышками. Смутьившись, он отошел к дальнему окну и, усмиря дыхание, глядел на сверкающие блики воды внизу.

— Натурные съемки убийства тут отменны, — заметил Крис. — Правда, в фильме произошло не совсем убийство. Скорее несчастный случай. Но кончается он смертью — а это главное!

Туристы нацеливали теле-фотолинзы, фотографируя сказочную панораму под всеми возможными углами. Гид рассказывал про размеры панорамы, сколько тонн бронзы ушло на Статую, о

трудностях ее демонтажа во Франции, перевозки на Остров Свободы, сборки тут.

— Так зрелищно, так банально, — поделился Крис с Кэй. — Таков был и метод Мастера. Согласны? Такие вот пейзажи. Места, вроде горы Рашмаор, притягивающей патриотов. Забавлялся с добропорядочными людьми.

Крис нетерпеливо ждал, пока гид сведет пожилых туристов вниз по головокружительной винтовой лестнице. Сразу под ними, сложив руки на груди, стоял охранник в форме, перед дверью, ведущей в руку Статуи с факелом. Он всмотрелся в Кэй и Крису и спросил:

— А вы — учительница, которой дали особое разрешение подняться в факел?

— Да! — быстро подтвердил Крис. — Это профессор Квинн.

— Но вас как будто должно быть пятеро?

— Да, — натянуто ответила Кэй. — Правильно. Но остальные задержались.

Охранник кивнул и отпер дверь.

— Придется мне сопровождать вас. Там наверху опасно. Ветер гуляет вовсю.

В этот момент на лестнице возникло замешательство. Пожилая дама оступилась. Охранник, озабоченный, взглянул вниз.

— Ох, уж эти старики, — печально заметил он. — Кости у них, как мел! Извините, подождите тут. Я сейчас.

И заторопился вниз. Шаги его приостановились, и они услышали, как он ласково утешает пожилую даму, уговаривает попробовать осторожно наступить на ногу. Внезапно охваченная тревогой, Кэй подошла к площадке лестницы.

— Слушай, Крис, давай вернемся! Я что-то беспокоюсь за ребят!

— Нет, рано! — резко возразил он.

Удивленная его тоном, Кэй остановилась.

— Конечно, тут очень интересно, но мы же не туристы. Мы сопоставляем реальность и зрительные образы фильма. И нам еще надо успеть в особняк.

— Но я предпочел бы задержаться тут еще.

— Но, Крис, нам в самом деле пора.

И Кэй повернулась к лестнице. Крис, отскочив от окна, ухватил ее за руку.

— Профессор!..

Кэй выдернула руку. Посмотрела ему в лицо. Красивое, но в глазах пряталась затаенная напряженность.

— Ну пожалуйста! — давил он на обаяние. — Давайте хотя бы до следующего парома побудем? Это всего-то несколько минут!

— Нет, не хочется, Крис. У нас серьезный тур, несмотря на то, что три наших друга... да и они наверняка уже проснулись...

Кэй шагнула на металлическую закраину лестницы. Крис заступил ей дорогу.

— Ну какой там тур был до сих пор! Сначала морока с отелями, потом Брэдли с ребятами упились. Мне ужасно хочется хоть чуть-чуть задержаться здесь. Нам ведь разрешили еще и факел осмотреть.

— Но, Крис, как же мы можем? У других тоже есть право участвовать в туре. Они надеются посетить особняк. Уже ждут нас наверняка.

— Вряд ли.

Голоса туристов звучали все глуше, они добрались до основания Статуи и высыпали на набережную вниз. Охранник и гид сводили по лестнице пожилую даму, перешучиваясь, поднимая ей настроение. Наверху, в секции тиары, завывал вокруг металла ветер.

Крис, усмехнувшись, твердо заглянул в глаза Кэй.

— Подумайте, профессор... тут... среди воспоминаний о Присцилле Лэйн, Роберте Каммингсе и Нормане Ллойде. Разве вы не чувствуете их присутствие? Не слышите? Не видите? Несмотря на все просчеты, «Саботажник» все-таки великий фильм!

— Да. Великий.

— Так давайте воздадим почести...

Почему-то ей было ужасно неприятно признаваться себе, что она боится Криса. И себя самой. Боится, что развалится на части от нервного срыва, как тогда, на темной нью-йоркской улице.

— О'кей, Крис! — вздохнула она. — Уедем со следующим паромом.

— Спасибо, профессор! Я вам так благодарен!

Сантомассимо стоял перед «Американским орлом». Паром был битком забит туристами. На нем весело развевались красные, белые и синие флажки. Громкоговоритель выкладывал информацию об Острове Свободы. Бойскауты и пуэрториканские ребята из Бронкса шумно носились по палубам, издавая воинственные кличи.

Марксон с детективами прошли на второй причал. «Королева Гавани» вдалеке плепала к Острову Свободы. Туристы — школьные учительницы и их ученики — восхищенно ахали, увидев вблизи Статую Свободы. С десяток японских семейств в черных одеждах, улыбаясь, склонились над белыми поручнями. Солнце ярко било им в лица, они шелкали друг друга на фоне Острова Свободы.

Потянулись с трапа «Американского орла» дети и учительницы. Сантомассимо стоял прямо у них на дороге, сложив руки.

— Повезло? — спросил он Марксона, когда школьники благополучно выгрузились на набережную.

— Группы из четырех с преподавательницей нет, — покачал головой Марксон. — Мы даже паром обыскали.

— Ну а в той группе? С «Красавицы Либерти»?

— Все уже на борту. Одна пожилая дама растянула лодыжку. Вон, на скамейке.

Сантомассимо взглянул в огромное бронзовое лицо Статуи Свободы. Чуть наклонено, наполовину скрыто в тени. Окна тиары — темные. Его терзала мысль, что сейчас несколько сотен людей заполняют дорожки острова.

Ситуация выходила из-под контроля.

— У вас есть снайперы? — вдруг поинтересовался Сантомассимо.

- Уилсон. Вон тот, высокий.
- Винтовка у него имеется?
- В вертолете. Хочешь, я принесу?
- Пока не надо. Не стоит сеять панику в народе.

Сантомассимо повернулся к Нью-Йорку, прикрывая ладонью глаза. На пароме толпились пассажиры, но паромы не отвалили еще от причала. Сантомассимо опять повернулся к Марксону.

— Инспектор, вы видели фильм Алфреда Хичкока, финал которого разворачивается в Статуе Свободы?

— Старый еще? Черно-белый?

— Как будто.

— Видел как-то. Станный такой. Что-то про нацистских шпионов, верно?

— Кого-то убивают. Наверное, злодея. Так ведь всегда кончатся фильмы. Раньше кончались, — неопределенно произнес Сантомассимо и отправился к парковой скамейке посовещаться со снайпером Уилсоном.

В «Психо» Хичкок наэлектризовал публику, убив звезду Джанет Ли всего через несколько минут после начала фильма.

Какой диковинный сюжетный поворот замышляет Крис Хайндс, гадал Сантомассимо, теперь, когда нашел себе любимую актрису?

Далеко наверху, выступив из тени, Крис взглянул на набережную, под отвесным углом. Она была уже залита солнцем. Из окон тиары он заметил фигуру мужчины в старомодном темном костюме, нервно притрагивающегося рукой к бугру под нагрудным карманом.

Неужели Сантомассимо?

Хотя с такого расстояния наверняка не разглядишь. Крис невольно отшатнулся в тень. Долгие минуты хоронился в сумраке, пепельно-бледный, его познабливало. Как могло случиться, что коп еще жив?

— Как, черт подери, ему удалось уцелеть? — прошептал он.

— Что?

— Ничего, профессор. Извините. Задумался о фильме. Грохнуться с такой высоты?

И вдруг, неприятно ухмыльнувшись, он повернулся к Кэй.

— Встаньте, пожалуйста, у окошка, профессор.

В полном недоумении она взглянула на Криса.

— Но зачем?

— Тогда будем стоять в точности на тех же местах, где стояли Присцилла Лэйн и Норман Ллойд перед тем, как ворвался Роберт Каммингс с полицией забрать Ллойда.

Лицо у Криса совсем больное. Или это ей чудится? Из-за собственного тревожного состояния души?

— Крис, тебя точно заразила атмосфера тура! — заметила Кэй.

— Ну пожалуйста...

Кэй нехотя подошла к окну. Налетел вдруг порыв ветра, неся панику, оголяющую нервы. Кэй обступила темнота, закрутил в мозгу, внезапно нахлынув, уникальный эпизод фильма.

*СРЕДНИЙ ПЛАН. ПРИСЦИЛЛА ЛЭЙН. НОРМАН ЛЛОЙД.
ДЕНЬ.*

Присцилла стоит очень близко к Ллойд у окна, в тиаре Статуи Свободы.

Эпизод раскручивался, точно ей показывали фильм. Это и был фильм. «Саботажник». Эпизод из киношной реальности. Из «Саботажника». Но почему-то в фильм попала и она. Или она просто смотрит его?

— Что такое, профессор? Высота подействовала?

— Нет... Усталость, наверное...

— Да, не сомневаюсь. Семестр был для вас трудный.

В тоне Криса тоже как будто сквозил сарказм, словно бы он и галлюцинация происходили из одного источника.

— Да... наверное... мне надо присесть.

Но сесть было некуда. Кэй оперлась о подоконник. Голова качнулась, она прислонилась лбом к руке. Резкий, обжигающий холод металла помог ей прийти в себя, понять, где она. Пульс чуть поуспокоился, но все равно бился еще лихорадочно. Что это было? Чувство, будто она в фильме, рождено ее измученностью? Или заразительно подействовала одержимость Криса? Кэй заговорила, чтобы снять силу галлюцинации:

— Ты, конечно, понимаешь, Крис, что большая часть «Саботажника» снималась не тут. Почти весь фильм был отснят в тонпавильоне студии «Универсал».

— Правильно. Зато в Статуе все реальнее, верно, профессор? Мы ведь за тем сюда и приехали, чтобы почувствовать разницу между фильмом и реальностью?

И опять из-за его проклятого энтузиазма перед глазами Кэй замелькали пятнышки, зернистость киноленты, и даже Крис стал превращаться в черно-белое изображение. Кэй вцепилась в оконную раму. Видение исчезло. Но она была напугана.

— Пойду я, Крис. Пожалуйста...

— Конечно, профессор. Еще минуточку...

— Нет, никаких минуточек...

— Только всего секунду, черт побери!

Крис осторожно выглянул из окна. Сантомассимо обегал причалы, а детективы стояли вдоль стены с револьверами наготове.

— Идиот мальчишка, — прошептал Крис. — Может, даже и не понес ее никуда. Надеюсь, его размазало по всему Беверли Хиллз!

— Что ты там бормочешь, Крис?

— «Саботажник». Другой фильм. Другая сцена.

Сантомассимо вдруг обернулся, и Крис юркнул поглубже в тень. Кэй пристально наблюдала за ним. Крис, дрожа, прислонился к перилам.

У Сантомассимо кошки скребли на душе, его грыз страх, что Крис Хайндс ухитрился проскользнуть мимо охраны. Чувство вины темной тучей туманило мозг. Слишком хорошо он понимал, что сам втянул Кэй в расследование убийств «Хичкока».

— Сантомассимо!

Он обернулся. Летчик из вертолета ожесточенно махал ему, подзывая.

— Управление нью-йоркской полиции, сэр! — кричал пилот, протягивая желтые наушники.

Сантомассимо помчался на площадку. Забрался в вертолет, прижал наушники к голове.

— Лейтенант Сантомассимо слушает! — прокричал он в микрофон.

— Лейтенант, — надтреснуто зазвучал голос, — в больнице Бельвю мы обнаружили троих парней со сверхдозой феноталала. Майка Риза, Тэда Гомеза и Брэдли Бауэрса. Все из Калифорнийского университета, с факультета Кино.

— А Хайндс? — закричал Сантомассимо. — Где Крис Хайндс?

— Без понятия. Клерк в общежитии сказал, тот уехал спозаранку.

— Спозаранку?

— Да, лейтенант. До того, как обнаружили этих троих.

— Есть какие догадки — где он?

— Нет, сэр.

— Его внешность?

— Такой весь американский. Так сказал Брэдли Бауэрс. Но он еще в полубессознательном состоянии.

— О'кэй. Продолжайте опрос парней. Выясните как можно больше подробностей.

— Понял. Конец связи.

Сантомассимо оглянулся на Статую Свободы. Голова у нее сейчас была яркая, огромная, великолепная в сиянии утреннего солнца. Опять ему почудилось движение в окне тиары. И вдруг его осенило!

— Иисус! — заорал он. — Да он же там! Наверху! С ней!

Со своей верхотуры Крис увидел, как засуетились полисмены, выхватывая оружие. Один притащил винтовку с оптическим прицелом. Сантомассимо мчался к Статуе Свободы, расталкивая туристов, другие — за ним.

Крис увидел все. И догадался по бешеному галопу о причине. Это тоже входило в сценарий. Он испугался, но и переживал прилив восторга. Попятившись в тень, он наткнулся на Кэй.

— Извините...

Кэй подскочила. Она недоумевала, с чего вдруг так побледнел Крис. Проследив за его взглядом, посмотрела вниз. Далеко внизу на набережной человек — вернее, его силуэт, так хорошо знакомый ей, — бежал по бетону. Сантомассимо! Кэй не шевельнулась, ничего не сказала, но ее начала бить дрожь, в сознании замелькали кадры.

СРЕДНИЙ ПЛАН. ПРИСЦИЛЛА ЛЭЙН. НОРМАН ЛЛОЙД. ДЕНЬ.

Присцилла Лэйн, объятая ужасом, и Норман Ллойд стоят у окна тиары Статуи, наблюдая происходящее внизу.

ИХ ГЛАЗАМИ: РОБЕРТ КАММИНГС. ПОЛИЦИЯ. ДЕНЬ.

Вид сверху. Роберт Каммингс и полицейские мчатся через лужайку ко входу в Статую.

Галлюцинация медленно растаяла. Ей казалось, будто она исходит от Криса, от Статуи. Внизу бежит Сантомассимо, она не

сомневалась. И вдруг Кэй поняла абсолютно точно, кто такой Крис.

Долгие, тягуче долгие жуткие секунды она смотрела вниз, боясь взглянуть на Криса. Даже когда Сантомассимо с детективами подбежали ко входу в Статую и слабо донеслись отголоски их бегущих ног, Кэй не шевельнулась, не произнесла ни слова.

— С вами нормально, профессор? — металлически жестко спросил Крис.

— Да, спасибо. — Она едва узнавала собственный голос — бесцветный, глухой от ужаса. — Просто переоценила себя, слишком много бессонных ночей.

— У-гу. Досадно с отелями получилось.

Крис ухмыльнулся. Кэй стояла дрожа, беспомощная, как кролик, прижавшись к окну тиары прямо перед ним.

Крис увидел, как Сантомассимо и остальные скрылись в Статue. Наверное, Сантомассимо летел на самолете всю ночь, подумал Крис.

— Так-так, профессор, — наконец выговорил он. — Похоже, дружок ваш остался жив.

— О чем ты? — прошептала Кэй, не в силах смотреть на него.

Она побледнела, в горле застрял комок. Она чувствовала, как Крис надвигается на нее, осторожно, слишком осторожно, его тень падает на нее...

— Видно, бомба взорвалась раньше срока. Ладно, хоть этого тупоумного мальчишку на куски разнесло.

— Какого мальчишку? Какая бомба?

— Как в «Саботаже»... Вы что, забыли, профессор?.. Детектив спасся, а малыша убило. Затасканный ход!

Крис огибал ее сзади, отрезая путь к лестнице. Кэй повернулась, пересилив себя, взглянула на парня. Маленькие его глазки впелились в нее пронзительно, безжалостно. Как у сокола, подумалось ей.

— Как бы Хичу понравилось это, — пытливо взглянул на нее Крис.

От страха ей сковало руки, ноги. Ее жизнь в опасности, в том самом городе, куда она сбежала в поисках убежища. Заперта в ловушку в самом символе свободы.

Неожиданно загрохотали ступеньки под ботинками взбегающих по лестнице.

Крис навострил уши.

— Слушайте, профессор! — издевательски прошептал он. — «Белые каски мчатся на выручку». Точно как в «Саботажнике». Но, конечно, Норман Ллойд все равно убьет Присциллу Лэйн. Вот тут, на этом самом месте...

Рука Криса нырнула в карман. Он кинул в рот и стал жевать желтый намащенный попкорн.

— Хотя нет! Норман Ллойд не убил ее! Нельзя же убить звезду фильма! А вы теперь звезда, профессор! И в фильме он не мог убить ее, так? Ха, вот смехота! Хича, поди, тошнило всякий раз, как он вспоминал про это.

Он терпеть не мог хеппи-энды! Потому что знал — в жизни счастливых концов не бывает! Все это дурная шутка!

Кэй смотрела, как летит в рот Криса попкорн. Все быстрее, быстрее. Раньше она считала парня даже красивым: мальчишеское такое, американское лицо. Теперь оно стало отвратительным — искаженное напряжением, маниакальностью, фанатичной жестокостью.

— Я смел все барьеры! Дерьмо собачье! Потворствование заурядности. Реальные, добропорядочные люди, профессор, должны погибать. Я осуществляю подлинные, самые заветные намерения Хичкока. Создал для него в реальности то, что ему не позволялось снимать даже в кино! Воплощаю его гениальные замыслы!

— Т-ты... сумасшедший...

Лицо Криса перекошилось.

— А вот эта реплика вас недостойна! Ему бы не понравилось!

— Кто... кто ты? — запинаясь, выговорила Кэй.

— Я — режиссер, — холодно улыбнувшись, с обескураживающей искренностью ответил он.

И, несмотря на все свое отвращение и омерзение, Кэй поняла — да, на свой извращенный лад он, и правда, режиссер.

— Что ты сделал с Майком и остальными?

— Сказал же вам! — расхохотался Крис. — Они — покойники для окружающего мира!

— Кэй! — донесся снизу гулко крик Сантомассимо. — Крис!

Крис, вздрогнув, заглянул в колодезь лестницы. Далеко-далеко внизу виднелись Сантомассимо, Марксон, детективы — шесть крохотных темных фигурок, бегущих по металлическим ступеням.

— Спускайся вниз, Крис! — кричал Сантомассимо.

— Иди ты, коп, на...

Снайпер Уилсон опустил на колено, прицеливаясь, но Сантомассимо вдруг увидел, что прямо позади Криса все еще стоит Кэй.

— Погоди! Она за ним!

С поразительной скоростью Сантомассимо бросился вверх по лестнице, к Крису.

Крис, схватив Кэй за руку, потащил ее через дверь. Она отбивалась, будто ее затягивала новая галлюцинация из «Саботажника», плясали на экране темные пятна и возникал монтаж быстрой смены лиц, кадров: ноги, бегущие под нарастающий напряженный музыкальный фон.

ОБЩИЙ ПЛАН. РОБЕРТ КАММИНГС. ПОЛИЦИЯ. ДЕНЬ.

Показ сверху Роберта Каммингса, он бежит впереди полицейских по крутой винтовой лестнице.

Крис ударил ее, рванул за волосы. Она взвизгнула.

— Мы тут, наверху! — закричала Кэй.

Сантомассимо увидел, как она исчезает за полом тиары, отбываясь от Криса. Сердце у него ухнуло в страхе, он споткнулся.

Крис тащил ее по лестнице к факелу. Она упала на холодный металлический пол, в пыль.

— Вперед! Наверх! — понукал Крис. — Мы поднимаемся в факел!

— Но — з-зачем?

— Да ведь там разворачивается финальная сцена. А у нас — финал!

— Нет...

— Покажем этим засранцам подлинный финал Хичкока!

Шестидюймовое лезвие выскочило из ножа в его кулаке.

— Нет! — молила Кэй.

— Выполняйте приказания режиссера, леди!

Крис взмахнул перед ней ножом, и у Кэй перехватило дыхание, она отползла и упала на железные перила, уходящие в факел.

— Нет! — умоляла она. — Тебе не нужен такой финал!

— Почему это?

— Потому что погибает Норман Ллойд.

Крис обернулся. Сантомассимо грохотал по лестнице.

— В панику ударился Норман Ллойд! — закричала Кэй.

— Что ты болтаешь, профессор?

— Видишь? Я ж тебе сказала! — обрадовалась Кэй.

— Сказала что? — Схватив Кэй, Крис грубо втокнул ее в незапертую дверь, на железную лестницу, идущую почти вертикально.

— Присцилла Лэйн не поднималась в факел! Норман Ллойд увидел полицию и побежал туда один! — скрипуче, точно бестолковому студенту, бормотала она.

Крис замахнулся ножом, в холодном воздухе посыпались искры.

— Я ломаю устоявшиеся штампы! Я режиссирую эпизод, как хотел Хичкок! Давай, поднимайся!

Крис подталкивал ее вверх по лестнице кончиком ножа, пока не загнал на пустую площадку вокруг факела, и от набережной — в двухстах футах внизу — их отделяло низенькое, по пояс, ограждение.

— Кэй! — завопил Сантомассимо, врываясь в тиару.

На полу под солнечным светом отсверкивали желтым зернышками попкорна. Сантомассимо уставился на него — немое, недвусмысленное, издевательское — и крепче сжал револьвер.

— Дверь в фонарь закрыта, лейтенант! — крикнул Уилсон, вцепившись в винтовку.

— Но мы должны настичь его! — выкрикнул Марксон.

— Я продырявлю парню голову! — пообещал Уилсон. — Честно, сумею!

Сантомассимо быстро помчался по железной лестнице. Осторожно высунулся. Железная дверь была на несколько дюймов притворена, и в узкую щель он увидел, как Крис наклонился над Кэй у перил ограждения, рука его вцепилась ей в горло. Сверкнул в серебряном солнечном свете нож.

Сантомассимо лег животом на холодный металл, прицелился. Крис приставил кончик ножа к горлу Кэй. Они сражались, голова Кэй двигалась за головой Криса, стрелять было слишком рискованно.

Изумленный Сантомассимо разбирал в порывах налетавшего холодного ветра их спор. Старалась ли Кэй выиграть время? Или происходит нечто другое?

— Разве ты не согласна, что Хичкок предпочел бы такой финал? — орал Крис.

— Погибает убийца, Крис!

— Надуманно! Фальшиво!

— Нет, правильно! Он был шпион! Убийца! Человек без совести!

— Злодеи получают по заслугам! Влюбленные направляются к брачному ложу! Банально!

Сантомассимо подвинулся вперед. Голова Кэй откинулась, прижавшись к хрупким перилам, открывая голову Криса, но тут Крис рывком дернул ее назад и загорделился снова.

— Что плохого в счастливом конце? — прокричала Кэй.

— Дерьмо! Неестественно! В жизни конец всегда дерьмовый!

— Но если бы Кэри Грант был убит тем самолетом-опылителем, то и фильма никакого не было бы!

— Ну и что?

— Хичкок всегда снимал то, чего ждала публика!

— Хичкок дурил их, заставляя есть то, что сам ненавидел!

— Людям нужно...

— Даже по телевизору он каждый раз извинялся, когда злодей оставался безнаказанным.

— Таков был его стиль...

Вдруг Крис, в совершенстве подражая зловещему небрежному кокни Хичкока, выдал: «Но впоследствии убийцу все равно поймали. Его схватил ретивый коп, только что окончивший Полицейскую Академию...» Дешевка! И Хичкок знал это!

Они говорили на чужом языке. Их личном, тайном. Сантомассимо наотмашь саданул дверь, и Крис увидел черный револьвер, направленный ему в глаза. Пальцы Сантомассимо нетерпеливо подрагивали. Кэй отшатнулась. Один выстрел лейтенанта — он стоял всего в пятнадцати шагах от Криса — разнес бы Крису голову.

— Бросай нож! — взревел Сантомассимо.

— Сам сэр Галахад, доблестный рыцарь! Самое заскоружлое клише на свете!

— Брось нож!

— Кто написал твой сценарий, Сантомассимо? Ну и шелуха!

— Бросай к черту нож!

Крис увидел дуло, твердо упертое прямо между его глаз.

Подняв взгляд выше, увидел бешеные глаза Сантомассимо. Копы, которым подсылают бомбы, на чьих любовниц нападают соколы, начисто утрачивают чувство юмора.

Крис улыбнулся ангельской улыбкой. Какого черта, подумал он. Надо импровизировать. Он отступил и бросил нож на площадку. Разок подпрыгнув, нож откатился к ногам Сантомассимо.

— Ладно, мистер полисмен, — ухмыльнулся Крис. — Бросил!

Кэй сжалась у металлической ограды, ураганный ветер захлестывал ей волосами лицо. Кэй наблюдала за Сантомассимо, он увидел мрачность в ее глазах, и его переполнили угрызения совести.

— Руки за голову и шагай сюда! Медленно! — приказал Сантомассимо.

— Ничего, неплохо, — отозвался Крис. — Но, может, попробуем еще разок? Попробуй говорить от диафрагмы, не то у тебя получается слишком гнусаво.

Сантомассимо подошел ближе. Он кипел от ярости. Дуло револьвера по-прежнему уперто в переносицу Криса. Но боковым зрением лейтенант все поглядывал на Кэй. Такую напряженную, натянутую как струна. С глазами, потемневшими от гнева и неопишуемого ужаса. Освобожденная, она не кинулась бежать. Не подскочила к нему. Она отступала, казалось, наблюдая события как разворачивающийся фильм.

— О Господи... — пробормотал он. — Кэй...

Но Кэй все отступала. Она даже не видела его. В уме у нее крутилась своя кинолента.

СРЕДНИЙ ПЛАН. НОРМАН ЛЛОЙД. ДЕНЬ.

Норман Ллойд сваливается через перила, визги.

— Падай! — скомандовала она. — Сейчас же!

Крис ошеломленно развернулся к ней. На лице замешательство, гримаса страха.

— Ч-что? — жалко пролепетал он.

— Так погибает нацист! — сердито закричала Кэй и кинулась на него.

В панике Крис отшатнулся к перилам, потерял равновесие и опрокинулся через них, повиснув боком. Все случилось так молниеносно, что Сантомассимо не успел схватить Криса: тот вывалился за ограду и полетел вниз, тщетно пытаясь ухватиться за любой выступ, визжа, пролетая мимо площадки факела. Наконец Крису удалось ухватиться за руку Статуи, между большим пальцем и указательным, и он повис, крепко вцепившись в эту причудливую опору.

Сумасшедшего самого швырнули в ночной кошмар. Он висел в нескольких сотнях футов над бетоном и лужайкой. Внизу по толпе туристов пробежал гул, руки указывали на крохотную кукольную фигурку, свисающую с пальцев Леди, высоко над их головами.

— П-п-профессор... Помогите! — едва слышно донесся жалобный крик Криса на штормовом ветру.

— Не могу, — грустно возразила Кэй. — Таков сценарий!

— Нет! Пожалуйста!.. Измените финал!

Сантомассимо, заткнув револьвер за пояс, полез за ограду за Крисом, лицо того стало сейчас белым как мел. Бред Кэй перелдался обоим.

— П-помогите! Профессор!.. — кричал Крис.

— В сценарии такого нет! — отрубил Кэй.

— Отойди от перил! — заорал Сантомассимо на Кэй.

Кэй озадаченно перевела взгляд на Сантомассимо, сбита с толку. На площадку ворвались Марксон и детективы и побежали к ограде. Встали рядом с Кэй. В изумлении они смотрели, как раскачивается Крис на руке над пропастью, а Сантомассимо перегибается все дальше и дальше, через ограду, стараясь дотянуться до парня.

А Крис смотрел на Кэй. Он знал, какие кадры разыгрываются у нее в мозгу.

СРЕДНИЙ ПЛАН. ПРИСЦИЛЛА ЛЭЙН. ПОЛИЦИЯ. ДЕНЬ.

Присцилла Лэйн и полиция. Застыв, они смотрят за перила на Каммингса и Ллойда.

Кэй режиссировала финал «Саботажника».

Внезапно смертельный ужас на лице Криса сменился покорностью судьбе и пониманием. Он взглянул на искаженное лицо Кэй.

— Режиссируешь, да, профессор? — удивленно спросил он. — Теперь ты поняла меня?

— Оставь ее в покое, Крис! — прикрикнул Сантомассимо.

— О, нет! — захохотал Крис, уверенный, что теперь знает. — Она видит. Чувствует. Она поняла, что это такое — режиссировать.

Кэй отступила, помотала головой, отчаянно стараясь вырваться из цепких лап иллюзий, которые затягивали ее в пропасть.

— Ну же, профессор! Признайся, признайся! — монотонно, как заклинание, скандировал Крис. — Ты видишь это?! Чувствуешь! Ты понимаешь! Понимаешь! Понима-а-ешь!..

— Я... я... — слабо лепетала Кэй, балансируя на гребне фантазии и реальности. — Я... да... да... я вижу... вижу. Помогите мне, Боже! Я чувствую! Понимаю...

— Кэй! — закричал Сантомассимо и обратился к детективам: — Уведите ее отсюда! Скорее!

Но Кэй выскользнула из их рук и побежала по площадке. Их действия только подстегнули ее иллюзии. Она бежала к месту, где полагалось стоять Присцилле Лэйн, наблюдая и реагируя на гибель Нормана Ллойда. Опять закрутился «Саботажник». Побежали кадры. Ход фильма зафиксирован, запечатлен раз и навсегда. Никто не может переиначить фильм, раз уж тот начался. И она видела:

КРУПНЫЙ ПЛАН. РОБЕРТ КАММИНГС. НОРМАН ЛЛОЙД. ДЕНЬ.

Роберт Каммингс хватается Нормана Ллойда за рукав.

Мощная рука Сантомассимо уцепилась за рукав Криса. Белое лицо Криса.

— Пожалуйста... не отпускай! — вырвалось у Криса придушенно.

Сантомассимо напряг плечо. Хватаясь за перила и рукав, он изо всех сил старался подтянуть Криса к перилам. Но парень был тяжел как покойник. В плече Сантомассимо опять польхнула боль. Он застонал, стиснув зубы.

— Сейчас вызову вертолет! — закричал Марксон.

— Забудь! — прокричал в ответ Сантомассимо. — Воздушная струя снесет нас обоих! Тащи веревку!

Марксон слетел вниз по лестнице.

Сантомассимо крепче ухватил за рукав Криса. Лицо парня превратилось в маску ужаса.

— Держи! Держи же! — проверещал Крис. — У меня рукав не оторвется, как у того!

Кэй перегнулась через низкие перила, в ожидании неотвратимого.

КРУПНЫЙ ПЛАН. РУКАВ НОРМАНА ЛЛОЙДА. ДЕНЬ.

Мало-помалу, сначала медленно, рукав Нормана Ллойда начинает расползаться, отрываясь.

— Так, так! — выдохнула Кэй, прижав ладонь ко рту.

КРУПНЫЙ ПЛАН. РУКАВ НОРМАНА ЛЛОЙДА. ДЕНЬ.

Рукав отрывается, медленно ползет с плеча Нормана Ллойда.

Кэй наблюдала, затаив дыхание, но рукав Криса не рвался. Ее охватило разочарование. Сбит ритм. Рукав должен расползаться! Сейчас же! Кэй прокричала это Сантомассимо, но тот едва — за свистом ветра — разобрал слова.

— Пусть рвется! Должен оторваться!

Она режиссер, на съемочной площадке распоряжается она. И когда Сантомассимо понял это, его пробрал холодок.

— Тащите скорее эту чертову веревку! — рявкнул он.

Но ее голос возник снова — пронзительный, монотонный в завываниях ветра.

— Пусть у него порвется рукав! — настаивала она. — Так надо! Он — предатель! Шпион!

Оскалясь безумной ухмылкой, Крис взглянул вверх, на Кэй.

Сантомассимо перевел взгляд с измученного лица Кэй на Криса — оба спаяны воедино, нераздельно заперты в одной галлюцинации. Детектив держал Кэй сзади.

— Так, так, профессор! — поощрил Крис, крепко цепляясь за пальцы Статуи. — Срежиссируй эту чертову кульминацию правильно!

Кэй смотрела на него, точно издалека, во власти отчаянной решимости.

— Я стараюсь! — жалобно произнесла она. — Но я — не Хичкок!

— Профессор, он и то не смог бы срежиссировать лучше! — одобрил Крис. — Извини, что плохо помогаю. Похоже, мой рукав все-таки выдержит! — И тут же огонек изумления зажегся у него в глазах. К нему пришло решение. — Вот он! Твой последний эпизод, профессор! Режиссер!..

СРЕДНИЙ ПЛАН. НОРМАН ЛЛОЙД. ДЕНЬ.

Норман Ллойд срывается, визжит и падает навстречу смерти в пропасть.

Крис выпустил руку Статуи.

— Я все равно и родиться-то не хотел! Никогда!

— Ты, сумасшедший! Держись! — рявкнул Сантомассимо.

Но Крис Хайндс ускользнул из рук Сантомассимо. Его тело переворачивалось снова и снова, летели по ветру волосы, развевалась куртка, бился галстук, вырвавшийся из кармана. Крис кувыркался, выпрямлялся и, наконец, грохнулся на бетон: брызнули кровь, осколки костей, тела, долетев даже до парковых скамеек...

Туристы с воплями бросились врассыпную. Марксон, мчавшийся от вертолета с веревкой, перекинутой через плечо, остановился как вкопанный.

Туристам очень хотелось поглазеть, но, когда увидели, что осталось от некогда красивого лица, они отвели глаза.

— Назад, пожалуйста! — автоматически покрикивал ошарашенный полисмен. — Пожалуйста, назад!

Рядом со сломанным запястьем легли веером зернышки намащенного попкорна, желто отсверкивая на солнце.

Сантомассимо, привалившись к металлу Статуи, прикрыл глаза. Он был напуган. Не падением Криса. В реальном мире его не пугало ничего. Боялся он за Кэй. Сантомассимо ужаснулся тому, что натворил с ней.

Кэй долго смотрела вниз. Губы ее выговаривали «снято!». Почувствовав на себе взгляд Сантомассимо, она повернулась к нему со слабой улыбкой.

— Ну как тебе, Великий Святой? Желаеть завершить финал поцелуем в камеру? — С губ у нее сорвался нервный смешок. И перерос в бурный истерический смех. — Давай же, глупый! Фильм окончен! Тебе полагается поцеловать героиню-звезду! Ты что, никогда раньше не бывал на съемочной площадке?

Фрэд трудно сглотнул. Детективы, боясь, что Кэй тоже сиганет вниз, схватили девушку.

— Отпустите меня, сволочи!

Кэй старалась ударить их в лицо, кусала запястья, метила в глаза. Те увертывались и держали ее еще крепче. Наконец Сантомассимо сам спустился на площадку и схватил Кэй.

— Кэй, прости меня! — Он обнял ее. — Прощу тебя, родная, прости! Теперь все кончено. Кончено... Кончено...

— Он и должен был сорваться. Он и сам прекрасно знал это. И я знала. Как же ты не понимаешь, это ведь так просто, глупый, итальянский коп!

— Не будет больше фильмов, Кэй. Поверь мне... поверь мне...

— Ты и раньше это говорил.

Сантомассимо все сильнее прижимал Кэй к себе.

— Я люблю тебя, Кэй. Больше всех на свете! Поверь мне, теперь все кончено!

— Ты плачешь, Великий Святой! Копам не положено плакать в последнем кадре...

— У нас не фильм, Кэй.

Кэй попыталась улыбнуться, но неожиданно разразилась слезами и обмякла в объятиях Сантомассимо.

— Мне приснилось... Сон такой... будто я стала Хичкоком и снимала «Саботажника»... Была вынуждена смотреть съемку фильма, участвовать в фильме, режиссировать его...

— Я знаю, милая, знаю...

— О Боже! — Теперь она рыдала взахлеб. — Я побывала в аду...

— Все кончено. Кончено. Позади...

— Обними меня... держи меня... — плакала Кэй. — Скажи, что со мной все в порядке, Великий Святой... Скажи, что я жива!

— Ты жива, Кэй! С тобой все прекрасно! И все уже закончилось!

Детективы наблюдали, как Сантомассимо крепко обнимает Кэй. Казалось, прошло больше часа, прежде чем они стали спускаться по длинной внутренней лестнице Статуи Свободы. Но даже тогда ни один из них не чувствовал, что освободился от кошмара Хичкока.

Щелк...

— Помню одно Рождество в Небраске, мне было почти семь.

Шел я в магазин Гринбаума. Мои родители не смогли придумать, что подарить мне на Рождество. Сунули 5 долларов в конверте и сказали, что я могу купить себе, что захочется, у Гринбаума.

Воспитывали меня в большой строгости. Религиозные люди, я уже говорил вам. Мы живем на земле не ради удовольствия, всякое такое... Они хотели, чтобы я выбрал себе что-нибудь стоящее, полезное. Книги, галстук. Такую чепуховину... Практичное. А мне требовалась игра — праздник. Я хотел жить, развлекаться, да, черт подери, Рождество все-таки! Но они желали, чтоб я бросил всякие дурацкие затеи.

Сейчас Рождество, а я — как сирота и всегда буду таким. У Гринбаума в подвале был благотворительный отдел. Сюда приходили бедняки и почти задарма покупали всякие поношенные тряпки, утварь, сломанные игрушки. Среди отверженных я чувствовал себя своим. В этом отделе я разыскал кое-что. Восьми-миллиметровую кинокамеру «Белл и Хауэлл».

С этого дня я вытянул себя из ничего. Я жил фильмами. Существовал только в кино. Жизнь мне представлялась дурно сделанным, дурно смонтированным фильмом. Так она создана. Я столкнулся с Хичкоком, и он стал единственным, самым влиятельным авторитетом в моей жизни.

Щелк... Шум глухих ударов — похоже, упаковывали вещи... что-то свалилось... Лента крутилась, проигрывая записанное.

— Хичкок научил меня слышать страшный хохот смерти и безумия за повседневным течением жизни заурядных людей.

И свою жизнь, и весь ее смысл я посвятил Алфреду Хичкоку.

Щелк... щелк... Голос опять напрягся, точно старался прорваться к людям, установить контакт...

— Фантазии Хича донимали меня, не давали покоя. Я превратил их в реальность. Дал им вечность. Священники понимают этот принцип жизни, служение великому. Дань почтения.

Сантомассимо выключил магнитофон.

Они с Кэй находились в Кинг-каньоне, высоко в Сьеррах. Сантомассимо снял коттедж, топил камин, готовил обеды в микроволновой печи, привез вина. Сейчас они сидели на полу перед камином. Высота над уровнем моря больше шести тысяч футов.

На Кэй были просторный джемпер и коричневые брюки. Ноги босые, а волосы только что вымыты пахучим шампунем. Сантомассимо рубил дрова, и на нем были тяжелые хлопковые брюки и толстый свитер под горло. Не очень-то хороший из него получался сельский житель, но он был рад, что они выбрались из города.

— Может, зря привез сюда магнитофон, — заметил он. — Нашел его в квартире Криса, было надписано «ДЛЯ ПРОФЕССОРА КВИНН. В случае провала». Решил, ты имеешь право послушать запись.

— Спасибо.

— А теперь я сожгу ее. Бессмысленно слушать ленту дальше.

Фрэд потянулся было за кассетой, но она удержала его руку.

Он снова сел на ковер. Потрескивая, ярко горели поленья, по магнитофону пробежали огоньки.

— Я больше не боюсь Криса, — сказала Кэй. Фрэд поглаживал ей шею. — И бессмысленно пытаться убежать от случившегося.

Но Сантомассимо все еще испытывал чувство вины. И боялся, не будет ли для Кэй губительных последствий.

— Бедняга Крис, — продолжала Кэй. — Парень был действительно очень талантлив. На свой вывернутый лад. Блестяще знал предмет. Ему следовало бы присудить ученую степень.

— Ты серьезно?

— Почему бы и нет? Я видела, как степени давали за меньшее. Кто больше Криса Хайндса знал о Хичкоке?

Кэй улыбнулась. Сантомассимо обрадовался, увидев искорки юмора в ее глазах.

— Да, от такого финала Хичкок пришел бы в восторг, — согласился он. И вдруг неуклюже попытался сымитировать напевный хичкоковский говор — кокни — ленивый, зловещий, изобразив даже затрудненное дыхание.

— Крис Хайнде доказал свою компетентность во враждебном мире, и ему присуждается степень доктора киноведения в высоко уважаемом университете Калифорнии, но, к нашему прискорбию, диплом придется отослать посмертно его дяде в крупный зерноводческий штат Мидвеста, где он будет поставлен на каменную плиту.

Сантомассимо с Кэй засмеялись, но смех Кэй звучал слабо, неуверенно. Сантомассимо потрепал ее по руке:

— Это было страшное событие, оно едва не убило тебя.

— В кадрах из фильма была такая подавляющая мощь.

— Безумие заразительно.

— Раздели со мной мое бремя, Великий Святой. Фильм — это манипуляция над душами людей. Крис был прав. Кино управляет сознанием. Руководит чувствами людей, их желаниями, идеями посредством визуальных образов, о которых публика и не подозревает.

— Ты пытаешься уверить меня, что Стива Саффрана убил Хичкок? И Хичкок же убил Хасбрука тем ранним утром на пляже?

— Так я считаю, — медленно кивнула Кэй.

Сантомассимо поспешно допил вино, налил еще.

— Это все равно, что винить биттлов за то, что чудится психопатам в их песнях.

— Люди, у которых сломан защитный механизм, способны на все. А это и пытается сделать любой фильм — сломать механизм.

— Заставить убивать? Не смогу согласиться с тобой, Кэй.

— Обнажают души своих персонажей. Подвергают их ужасающим гротескным испытаниям, ставя в ужасающие и гротескные ситуации. Используя все тайные страшные трюки кино и искусства вообще...

— Кэй, это называется театр, он длится уже столетия. Сегодня люди платят шесть-семь долларов за полтора часа развлечений. Они испытывают острые ощущения, вот и все.

— Правда? Тогда почему меня затянул в ловушку старый фильм? Я не могла выбраться из него. Мною управлял Хичкок,

дергая ниточки, точно я марионетка, марионетка в его похоронном марше. И я тоже была способна на убийство. Пойми, мне требовалось увидеть, чтоб человек упал! Так и случилось, и я не могла остановиться.

— Кэй...

— Там наверху, в этом факеле, меня мало что отличало от Криса. И от остальных — сколько их там — безумцев, находящихся что-то свое в фильмах, требующих слишком многого от кино.

— Ладно, пусть так. Ты заразилась. Это ведь точно болезнь подхватить. Но нарыв вскрыт.

Кэй всматривалась в него, стараясь определить, понял ли он. А Фрэд наблюдал за ней: очаровательная, прелестная фигурка, темная на фоне пламени, похожая на ласкового котенка.

— Я не вернусь больше в университет, — заявила наконец Кэй.

Фрэд поднял брови.

— Получила предложение из другого университета, получше?

— Нет.

— А чем же будешь заниматься?

— Я могу писать. Может быть, роман. Но фильмам учить я больше не буду.

— Кэй, не надо так. Проверь себя.

— Я уже проверила. Уверена на сто процентов. Фильмы очень коварны. Незаметно околдовывают, затягивают. Слишком большую власть они имеют над людьми. Я не хочу больше заниматься ими.

Сантомассимо решил не спорить. Оставался еще один вопрос.

— Кэй! — мягко окликнул он. Притянул к себе, заглянул в глаза. — Я люблю тебя, Кэй. Ты нужна мне.

И наклонившись, медленно поцеловал ее. Она отозвалась, теплые губы ее были влажны, податливы. Потом Кэй медленно отодвинулась.

— Мне... Мне нужно время, Фрэд. Себя бы сохранить целой, а не лепить целое из двоих. — И, не удержавшись, заплакала.

Фрэд обнял ее.

— Лепить буду я, Кэй. Без тебя... я... я.

— Можно я буду называть тебя Амадео?

— Зови как желаешь.

— Амадео, Амадео, Амадео... — скандировала она, и плача, и смеясь. — Я все еще вижу его во сне... Снится сокол... Статуя... Крис... Его падение... и смерть...

— Кэй, фильм окончен! — Фрэд ласково погладил ее. — Зрители разошлись по домам...

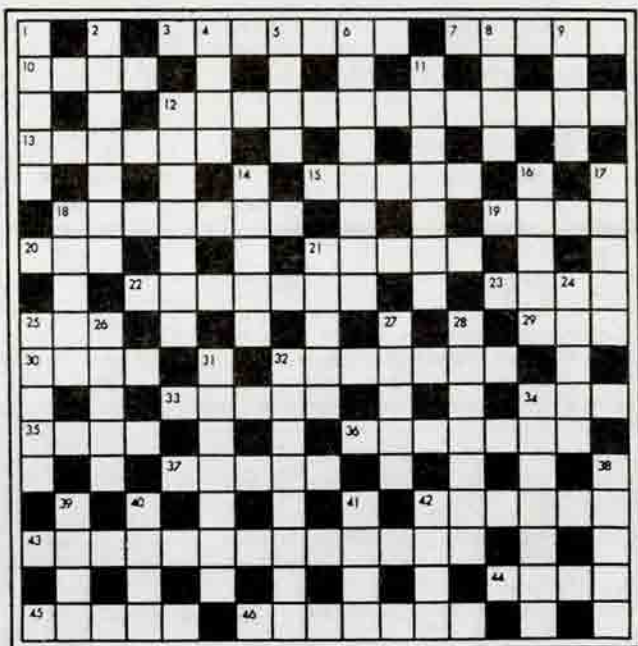
— Думаешь? Но разве смерть человека, того же Криса, когда-то кончается?

— Если начинается новая жизнь — да.

— Да, если новая... Мне нужно это... Обними меня, Амадео.

— Я никогда не отпущу тебя. Никогда! Плачь, Кэй, плачь! — нашептывал Фрэд. — Такие прекрасные, такие красивые звуки...

И Сантомассимо, и Кэй знали: для них новый фильм только начинается!



3. Основа экономики древних государств. 7. Летун, о котором любопытный малыш спрашивал у мамы: «Это муж пчелы?» 10. Продукт мышления или наития. 12. Село, где С. Есенин провел лето в 1918 году. 13. «Великая ...» — либретто, по которому И. Стравинский написал «Весну священную». 15. Историческая святыня Франции. 18. Поэт. Сюжет его «Последней исповеди» И. Репин использовал в картине «Отказ от исповеди перед казнью». 19. «Дефлогистонированная соляная кислота» шведского химика К. Шееле. 20. «Начальник гномов» у малороссиян» (по Н. Гоголю). 21. Французский писатель и философ, считавший, что по одной лишь ступне ног Венеры Медицейской можно было бы восстановить всю статую. 22. Химическая реакция, которую часто видит каждый. 23. Личное судно французского художника П. Синьяка. 25. Гораций сказал: «Пленная Греция взяла в плен своего дикого победителя» («победитель»). 29. Судно, на котором по Рейну возили вина. 30. Охотничье хозяйство с избушкой (на Дальнем Востоке). 32. Моментальное соединение деталей. 33. Граф, известный охотник, выведенный под именем Атукаева в «Записках мелкотравчатого» Е. Дриянского. 34. Предмет, который Фемистокл в сражении у Саламина приказал поднять на мачту как сигнал атаки на персов. 35. Птица, символ Новой Зеландии. 36. Святая мученица католической церкви. Ее считают изобретательницей органа. 37. Минерал в составе боксатных красок. 42. Мод-

ная актриса в России на рубеже XIX—XX веков, выступавшая в легких жанрах. 43. Свойство, даваемое человеку, по учению астрологов, планетой Венера. 44. Золотое плато Аляски. 45. Английская золотая монета, впервые чеканенная Эдуардом III в память о морской победе над французами. 46. «... на траве» — картина Э. Мане, восходящая к Рафаэлю.

По вертикали.

1. Островное государство, где полицейские ходят в белых юбках с зубчатым низом. 2. Имя, какое носил в крещении Ярослав Мудрый. 4. Самый маленький из быков. 5. В написанном в 1920 году стихотворении «Северовосток» М. Волошин говорит, что на Руси все одно и то же: «Спертый дух и одичалый мозг, ... и кухня Тайных канцелярий». 6. Основное движение в вальсе. 8. Магуа как индеец в устах героев романа Ф. Купера «Последний из могикиан». 9. Дерево, «роняющее» листья в суп. 11. Японский живописец, изображавший текучей линией утонченных красавиц. 12. Должностное лицо парламента в западных странах, ведающее административно-хозяйственной частью. 14. Американский кибернетик, писавший романы. 16. Черная родственница белой березы. 17. Русская ручная мельница. 18. Русский фельдмаршал, не жалевший солдат. 21. Зал для собраний на Востоке. 24. Одна из трех харит. 25. ... чучел — занятие офицеров в «Поединке» А. Куприна. 26. Рыба, какую эскимосы Гренландии сушат и едят вместо хлеба. 27. Один из основных овощей Древнего Египта. 28. Бесы, водяные, домовые, лешие и прочие. 31. Русская поэтесса, поразившая А. Гумбольдта познаниями и стихами на немецком и французском языках. 32. Ружье на вооружении русской армии с 1870-го до 1891 года. 34. Машина, дравшая шерсть или тряпье в бумагоделании. 38. Человек не просыхающий. 39. Один из двух крупнейших каскадов самого мощного шведского водопада Тролльхеттан. 40. Животное, на котором первый русский патриарх Иов выехал в свой первый крестный ход. 41. Сахарская впадина, после дождя становится соленым озером. 42. Европейский вулкан с Башней философа.

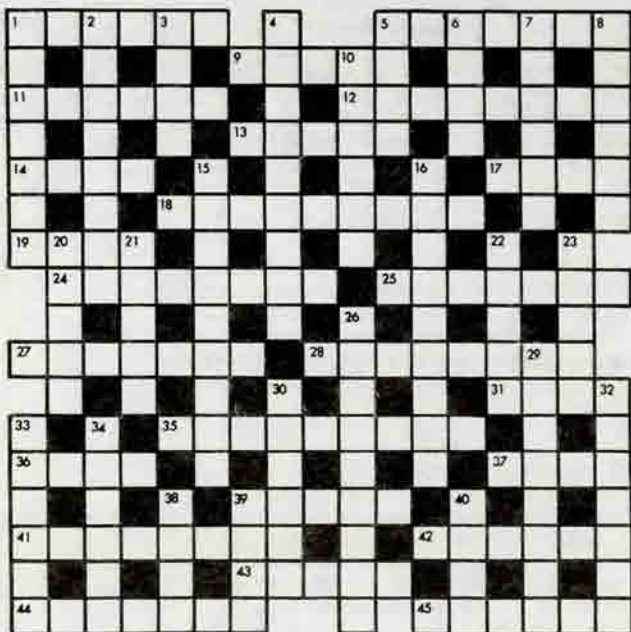
ОТВЕТЫ НА «ЗРУДИТ», НАПЕЧАТАННЫЙ В № 4

По горизонтали.

1. Эмба. 5. Фенхель. 9. Зубец. 11. Федр. 13. Модистка. 14. Жаворонок. 16. Шафран. 17. Пикша. 19. Неф. 20. «Донат». 21. Штрипс. 22. Парни. 25. Азлам. 26. Хармс. 32. Атлас. 33. Реверс. 34. Котаб. 35. Юнг. 36. Ойрат. 37. Сатана. 40. Травертин. 43. Владимир. 44. Цепь. 45. Иртыш... 46. Галабея. 47. Лаук.

По вертикали.

1. Эдфу. 2. Бадж. 3. Чулок. 4. Щенок. 6. Едок. 7. Хризантема. 8. Летаргия. 10. Баянист. 12. Раншина. 13. Мотет. 15. Лихач. 18. Топаз. 19. Най. 23. Избранница. 24. Калан. 27. Стейниц. 28. Завал. 29. Урусова. 30. «Светлана». 31. Рог. 34. Кнорр. 38. Шварт. 39. Ярлык. 40. Тире. 41. Нева. 42. Дьяк.



КРОССВОРД
Составила
Т. КУЙДИНА,
Азов
Ростовской
области

По горизонтали.

1. Тип гетр. 5. Российский актер-юморист. 9. Символ веры в католической церкви. 11. Библейский изгнанник, чьи сыновья стали родоначальниками двенадцати арабских племен. 12. Клиент адвоката в суде. 13. Старинная казачья лодка с парусом и двумя-тремя пушками. 14. «Дьявольский» химический элемент. 17. Бобовая культура, годная как на зерно, так и на корм скоту. 18. Прозвище юной Козетты в «Отверженных» В. Гюго. 19. Наборный стол-шкаф в типографии. 24. «... муз не терпит суеты; прекрасное должно быть величаво» (А. Пушкин. «19 октября»). 25. Русич по отношению к вере до принятия христианства. 27. Способ ловли рыбы руками. 28. Корабль капитана Немо. 31. Гороскопное растение Весов. 35. Чередование повышений и понижений голоса. 36. Верховный бог в скандинавской мифологии. 37. Растение, из волокна которого в Азии делают кровельный материал. 39. Римский писатель, обладавший обширными медицинскими познаниями. 41. Название препаратов для борьбы с болезнями растений. 42. Деревянный молоток. 43. Горы в Молдавии. 44. Знаменитый голландский художник. 45. Подвижная часть башенного крана.

По вертикали.

1. Судно, бегущее по волнам. 2. Архитектурное сооружение-памятник. 3. Главнокомандующий русскими войсками во время взятия Петром Первым турецкой крепо-

сти Азак в 1696 году. 4. Приморский район в Донецкой и Ростовской областях. 5. Испанский танец, связанный со святой покровительницей Арагона. 6. Воздушная игрушка. 7. Слабый светильник. 8. Здание для пассажиров. 10. Врач. 15. Трава; настой из нее обладает успокаивающим действием. 16. Любитель псовой охоты верхом на лошадах. 20. Казачий офицерский чин. 21. Римский писатель, племянник Сенеки. 22. Насекомое, какое рисовали перед именем фараона. 23. Роман П. Лукницкого. 26. Испанский дворянский титул. 29. Соборное законодательство в Древней Руси. 30. Знаменитый город, который в средние века называли «Короной Испании и светом всего мира». 32. Вид сценического искусства. 33. Причина свечения собаки Баскервилей у А. Конан Дойла. 34. Самый известный американский мультипликатор. 38. Электронная лампа. 39. Группа лекций по одному вопросу. 40. перевязочный материал.

**ОТВЕТЫ
НА
КРОССВОРД,
НАПЕЧАТАННЫЙ
В № 4**

По горизонтали.

3. Бабеш. 8. Пехота. 9. Еловец. 10. Сатир. 11. Алкуин. 12. Журнал. 13. Осень. 16. Фальк. 19. Эсхил. 22. Реактор. 24. Умбра. 25. Рон. 26. Мороз. 27. Жерлица. 28. Рикша. 31. Нюанс. 34. «Ангар». 37. Цербер. 38. Тришка. 39. Актау. 40. Киборг. 41. Трепач. 42. Опись.

По вертикали.

1. Веялка. 2. Голубь. 3. Басня. 4. Бытие. 5. Ферзь. 6. Допрос. 7. Пекари. 14. Скаррон. 15. Нотница. 16. Флуер. 17. Лубок. 18. «Кража». 19. Эрман. 20. Хурма. 21. Лизис. 23. Кол. 29. Имение. 30. Шаблон. 32. Юпитер. 33. Наклад. 34. Араго. 35. «Четки». 36. Ртуть.

Шахматная эпиграмма



Под редакцией
международного гроссмейстера

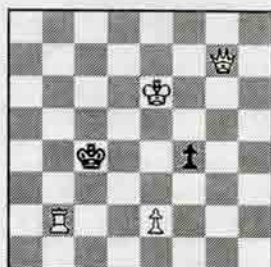
ВИКТОРА ЧЕПИЖНОГО

Продолжаем публикацию оригинальных композиций V международного конкурса составления шахматных задач-миниатюр «Смены», а также ответы на задачи, опубликованные в журналах №№ 9—12, 1995 г. Наиболее точные ответы прислали: **Ю. Босых** (пос. Утта, Калмыкия), **З. Гареев** (г. Заинск, Татарстан), **М. Дерябин** (Калуга), **Ю. Карташов** (Санкт-Петербург), **В. Кожакин** (Магадан), **К. Костюкович** (Могилев, Беларусь).

ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

49. В. ЖЕЛТОНОЖКО

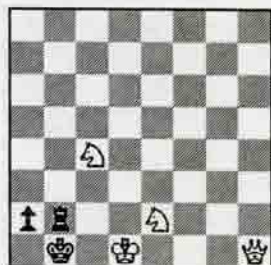
Екатеринбург



Мат в 2 хода

50. В. КЛИПАЧЕВ

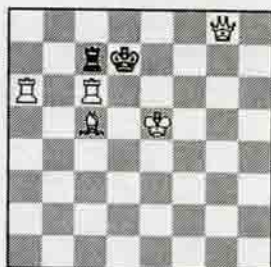
Приморско-Ахтарск



Мат в 2 хода

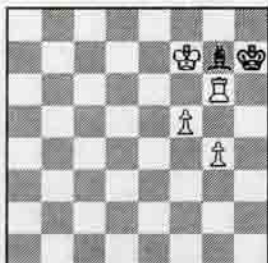
51. В. МАРКОВЦИЙ

пос. Ильница, Украина



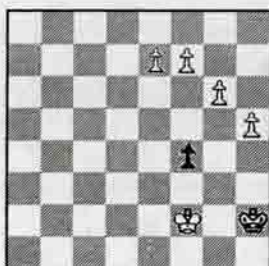
Мат в 2 хода

52. А. ДАШКОВСКИЙ
Черкассы, Украина



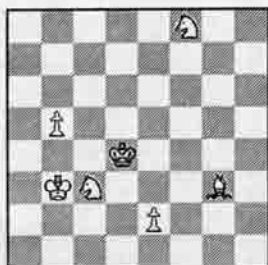
Мат в 3 хода

53. Е. ФОМИЧЕВ
г. Шатки
Новгородской обл.



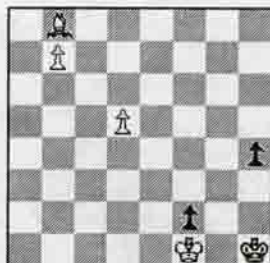
Мат в 3 хода

54. В. ИВАНОВ и Ю. СИДОРОВИЧ
Карелия



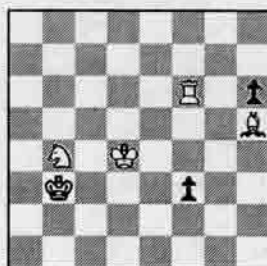
Мат в 3 хода

55. Ан. КУЗНЕЦОВ
г. Реутов Московской обл.



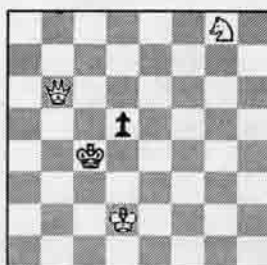
Мат в 4 хода

56. Ю. ГОРДИАН
Одесса, Украина



Мат в 4 хода

57. Ю. СУШКОВ
Санкт-Петербург



Мат в 5 ходов

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

«Смена» №№ 9—12, 1995 г.

88. Ан. Кузнецов. а) 1. 0—0. б) 1. Крf1
89. В. Клипачев. 1. Фd8. 1. Фf2? Kh5!
90. Д. Гижко: 1. Крг2!
91. В. Марковций. 1. Фс6. 1. Фе6? f4!
92. С. Радченко. 1. g6 fg 2. a8Ф
93. В. Коваленко. 1. Крг8 (2. f8Ф) Фе8 2.
feЛl. 1... Крг6 2. f8К. 1... Фd5 2. Лd5
94. В. Антипов. 1. Kh5! ~ 2. Фf6 Кре8 3.
Kg7x. 2... Крг8 3. Фg7x. 1... Крг6 2.
Фf6 Крh5 3. Фg5x. 1... Кре6 2. Фh7 e3 3.
Фd7x
95. С. Демидюк. 1. Фf4 Крд3 2. Фf2. 1...
Кре1 2. Сс3. 1... Крд1 2. Фе3
96. В. Кожакин и О. Сакс. 1. Фс8 Кра2 2.
Фс2. 1... Крb2 2. Фс1. 1... Крb4 2. Фс4. 1.
Фе6? Крb2!. 1. Фf1? Кра2!
97. М. Чернушко. 1. Фb1 Кре6 2. Фb7. 1...
d3 2. Фb4. 1... Крс5 2. Фb3. 1... Крс4 2.
Лс6
98. В. Антипов. 1. Лg6! Кf7 2. Лg4 Кg5 3.
Лh4 Kh3 4. Лh3x. 1... Kf5 2. Лg8 Крh2 3.
Лh8 Kh6 (Kh4) 4. Лh6 (Лh4)x. 2... Кg3 3.
Лh8 Kh5 4. Лh5x
99. С. Демидюк. 1. Фf8 Кg6 2. Крf6 Кf8 3.
fgЛ. 2... Крh6 3. Фh8
100. В. Коваленко. 1. g6! Кра4 2. g7
Кра3 3. g8Ф Кра4 4. Фа2x. 1... Кра6 2. g7
Кра7 3. g8Ф Кра6 4. Фа2x. 1. с6? Кра6!
с7 Кра7 3. с8Ф — пат! 1. e6? Кра4! 2. e7
Кра3 3. e8Ф — пат!
101. К. Цунке. 1. Фf5 Крг8 2. Са2 Крh8
3. Фе5 ~ 4. Фе8 Лg8 (Крh7) 5. Фg8
(Фh5)x
102. Б. Коцдон. 1. Фс6 Кb4 2. Фе4 Фd5 3.
Се3 Фе4 4. Ле4. 1. Фе4? Кс3!
103. М. Власов. 1. Фd5
104. Н. Нептаев. 1. Фс5! 1. Фа3? Крf2!
105. В. Коваленко. 1. Лf4 Крf2 2. Кd4.
1...g1Ф 2. Ke1. 1...g1К 2. Лg8
106. С. Ткаченко. 1. Фg3 Крh6 2. f4 Лh8 3.
Фg5 Крh7 4. f5. 1... Крh5 2. Фg4 Крh6 3.
f4 Лg7 4. Фh4
107. Б. Коцдон. 1. Крf2 g4 2. Фb1 g3 3.
Крг3 Крг1 4. Фb6 Крh1 5. Фf2. 1...Кd3
2. Крг3 Ke1 3. Фb2 Крг1 4. Фf2
108. А. Куппини. 1. d7 g1Ф 2. d8Ф Крh7 3.
Фd7 Крг8 4. Фf7 Крh8 5. Кре7 Фа1 6.
Крf8 Фf1 7. Фf1 Крh7 8. Фf6. *Побочное
решение:* 5. Се5!
109. Р. Линкольн. 1. Фа4. 1. Фb1? Кb3! 1.
Фf2? Кс6! 1. Фс3? Кb7!
110. В. Коваленко. 1. Са2! 1. Сg6? e1Ф! 1.
Ch7? e1К!
111. Ю. Овчинников. 1. Фе6 Са6 2. Фс8.
1...Сс6 2. Фа2. 1. Фс8? Сс6! 1. Фf3? Са6!
112. Р. Шопф. 1. Са6 d5 2. Лb3 Крс5 3.
Кре5
113. Н. Кралин. а) 1. Cf1 Крh5 2. Крf5
Крh4 3. Ch6 Крh5 4. Cf4 Крh4 5. Сg5
Крh5 6. Се2x. б) 1. Kg1 Крh5 2. Крf5
Крh4 3. Крг6 Крh5 4. Сb4 Крh4 5. Се1
Крг4 6. f3x
114. М. Хофман. а) 1. Кс7! Кра1 2. Ка6!
Кра2 (2...h5? 3. Кс5! Кра2 4. Кd3 Кра1 5.
Кс1) 3. Кb4 Кра1 4. Крс1 h5 5. Кс2 Кра2 6.
Кd4 Кра1 7. Крс2 Кра2 8. Ke2 Кра1 9. Кс1
a2 10. Кb3x б) 1. Kf2! Кра1! 2. Кd3! Кра2
(2...h5? 3. Кс1. 2...h6? 3. Кb4) 3. Кb4
Кра1 4. Крс1 h5 5. Кс2 Кра2 6. Кd4
Кра1 7. Крс2 Кра2 8. Ke2 Кра1 9. Кс1 a2
10. Кb3x в) 1. Ke7! Кра1! 2. Кс6! Кра2
(2...h5 3. Кd4! Кра2 4. Ke2) 3. Кb4 Кра1 4.
Крс1 h5 5. Кс2 Кра2 6. Кd4 Кра1 7. Крс2
Кра2 9. Кс1 a2 10. Кb3x
115. В. Желтоножко. 1. Ch3. 1. Фd4?
Крс8!
116. Р. Гашич. 1. Фf2
117. Р. Линкольн. 1. Лb6. 1. Лd6? Лb1!
118. В. Марковций. 1. Фе4
119. Н. Чистяков. 1. Фb6
120. А. Кузовков. 1. Крг6! 1. Сd2? Крд6!
121. В. Шильников. 1. Ch6 Кре5 2. Сg7. 1.
Сb2? Кре5!
122. М. Чернушко. 1. a8Л! Крд6 2. Лс8
Кре6 3. Лс6x. 1...Крf6 2. Лd8 Кре6 3. Лg6x.
123. Ж. Роше. 1...Кре6 2. Лg5. 1. Ch4 Кре6
2. Лg6
124. В. Кожакин. а) 1. Фе2 Крд4 2. Се6.
1...Крд6 2. Фе6. б) 1. Фg3 Крд4 2. Се6
125. С. Радченко. 1. Ch3 f5 2. Cf2
126. Д. Басаев. 1. Фb1! Крд6 2. Фg6 Крс7
3. Кd5x. 1...Кре7 2. Кре5 (2. Фg6 —
дуаль)
127. М. Марандюк. 1. Кре6 Крf3 2. Крf5.
1...Крг5 2. Cf5. 1...h5 2. Фg2. 1...h6 2.
Кg6 Крf3 (Крг5, h5) 3. Ke5 (Фh4, Фg2)x.
1. Кре5? h6! 2. Кg6 Крf3 3. Ke5?
128. С. Демидюк. 1. Кd7 Крд7 2. Фе5.
1...Крf7 2. Крс6. 1...Крд5 2. Фg6. 1...Крf5
2. Крс6
129. В. Желтоножко. 1. Ke2 Крд6 2. Кd4
Крс5 3. Ла6 e2 4. Лс6x. 1...Крf6 2. Кf4
Крг5 3. Ла6 e2 4. Лg6x. 1. Кd3? e2 2.
Ke5 Крf6 (Крд6) 3. Ch4 (Сb4) Кре6 4.
Лабx. 1...Крд6!
130. У. Хаммерстрем. 1. Сd5 Крд7 2. Лс4
Кре7 3. Се6 Кре8 4. Крf6 1. Лg4 Крf7 2.
Сd5 Кре7 3. Се6 Кре8 4. Крд6. 1...Крд7 2.
Лg7 Крд8 (Кре8) 3. Крд6 (Кре6) Кре8
(Крд8) 4. Сd5 (Сb7)
131. В. Антипов. 1...Кра1 2. Крс2. 1. Ла2!
Кра2 2. Крс2 d1Ф 3. Лd1 d3 4. Лd3 Кра1 5.
Лa3x. 3...Кра3 4. Лd4 Кра2 5. Ла4x
132. Н. Кралин. 1. Фg2 Лb7 2. Кра3 a4 3.
Кра2 a3 4. Кра1 a2 5. Сс7 Кра7 6. Фа2x

Елена МАЛИКОВА



— **В** этом мире меня привлекает не ускользающая и переменчивая красота, а внутреннее состояние души, которое невидимо сопутствует всем проявлениям жизни, — говорит московская художница Елена Маликова.

Действительно, за плотной и тяжелой материальностью предметов она пытается увидеть и раскрыть их идеальную, хрупкую сущность. Может быть, именно поэтому ее холсты так молчаливы и смиренны, жизнь в них как бы замерла и утихла...

Среди полотен Елены Маликовой почти отсутствуют, за редким исключением, картины радостные, звонкие и жизнеутверждающие. В ее творчестве заметно преобладают настроения печали, созерцательности и некоторой погруженности в себя, а потому и излюбленный колорит Елены — пепельно-серый, мглистый, окутывающий в легкую дымку дома и людей, как, например, в картине «Частная жизнь».

Это огромное полотно решено необычно: все — словно стоп-кадры. На каждом из них — эпизод из частной жизни. Как будто фотограф ходил со скрытой камерой по квартирам большого дома.

— Не люблю расхожего оптимизма, — продолжает Елена. — И хотя в жизни я человек скорее веселый, чем грустный, в искусстве мне нравится погружаться в жизненные драмы...

Стремление Елены Маликовой к философским обобщениям привело ее к созданию целой серии картин на мифологические темы. В какой-то момент возможности традиционных живописных жанров: городского и сельского пейзажа, портрета и даже жанровой картины, показались Елене слишком тесными и ограниченными, и ей понадобился античный миф как универсальная модель человеческих отношений, чтобы разглядеть в сегодняшнем и сиюминутном черты непреходящего и вечного.

«Рождение Венеры» лишь в форме пересказ старинного греческого мифа о рождении богини любви и красоты Афродиты из пены морской, по сути же эта притча лишь повод для раздумья о взаимоотношениях людей в XX столетии.

...Елена Маликова росла в семье, где не было художников, ее родители были решительно настроены против занятий дочери искусством, очевидно, полагая, что жизнь художника слишком неустойчива и ненадежна. Поэтому с ранних лет она привыкла самостоятельно разбираться в своих симпатиях. В старших классах школы открыла для себя Третьяковку, покупала абонементы на лекции по истории русского и советского искусства и с превеликим удовольствием ездила на эти лекции, безбожно прогуливая уроки. Потом поступила в Строгановку...

— Откровенно говоря, качество обучения в этом институте меня не совсем устраивало. Хотелось больше заниматься станковой живописью, а на нашем факультете этому виду искусства уделяли не слишком большое внимание. Приходилось брать частные уроки, заниматься дополнительно в мастерских уже состоявшихся художников. А самое главное, я хотела ра-

зобраться в том, что происходило тогда в искусстве, как-то определиться. И вот через несколько лет после окончания института поступила в Московский университет на отделение искусствоведения. У нас были чудесные преподаватели. Они водили студентов по мастерским художников и скульпторов. Думаю, что это живое, непосредственное общение с профессионалами стало лучшей школой и во многом определило мое духовное становление.

В январе этого года прошла первая персональная выставка Елены Маликовой в Центральном доме художника. Для каждого мастера его персональная выставка всегда событие, некое подведение итогов. Московская публика имела возможность познакомиться с творчеством Маликовой в полном объеме, увидеть и оценить работы, написанные за последние 15 лет и побывавшие на многих московских и республиканских выставках в прежние годы. Здесь были представлены все жанры и все стороны дарования Елены: московские пейзажи с неуютными пустынными переулками, сельские виды, портреты близких людей, большие жанровые композиции, натюрморты.

В известной поэме Блока есть такая строчка: «Познай, где свет, — поймешь, где тьма». Елена Маликова начала с познания тьмы, — она очевиднее! — чтобы постепенно прорываться к свету. И не предсказать, что мы увидим на ее полотнах завтра...

ЛИЛИЯ БАЙРАМОВА

«СМЕНА»-96

Это детективные, фантастические, мистические или просто остроюжетные романы, повести, рассказы лучших отечественных и зарубежных писателей, очерки о малоизвестных эпизодах нашей истории, шедеврах мирового искусства и еще очень много интересного. И все это — в каждом номере.

Ф. СП-I

„СОЮЗПЕЧАТЬ“

АБОНЕМЕНТ на _____ журнал **70820**
(индекс издания)

«СМЕНА»

Количество комплектов **1**

на 1996 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Куда _____
(почтовый индекс) (адрес)

Кому _____
(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

ПВ	место	ли-тер	на _____ журнал	70820								
<small>(индекс издания)</small>												

«СМЕНА»

Стои-мость	подписки пере-адресовки	руб.	коп.	Количество комплек-тов
		руб.	коп.	

на 1996 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Куда _____
(почтовый индекс) (адрес)

Кому _____
(фамилия, инициалы)

«СМЕНА»-96

Это — 7900 рублей за один номер, 23 700 — за три, полугодовая подписка — 47 400 рублей (цены указаны по каталогу без стоимости доставки).

Подписка принимается без ограничений всеми отделениями связи.

Проверьте правильность оформления абонемента!

На абонементе должен быть поставлен оттиск кассовой машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины на абонементе проставляется оттиск календарного штампа отделения связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки).

.....

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресовки издания бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах Роспечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки «ПВ-МЕСТО» производится работниками предприятий связи и Роспечати.

ЕЛЕНА МАЛИКОВА. Последняя тумбочка.



Рождение Венеры.



Салют.



веселый мандолинист

Франс Халс